

О критике и семиотике

Игорь Силантьев

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Юрий Шатин

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Андрей Дерябин

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Какой смысл вкладывается в название журнала

Слово «критика», открывающее название журнала, имеет здесь наименьшее отношение к традиционной для российской словесности литературной критике - той, которая бытует на страницах «толстых журналов» и специализируется в разборе и оценке творчества писателей. Под критикой создатели журнала понимают значительно более широкую и свободную творческую интенцию, а именно - живое, заинтересованное интеллектуальное отношение индивида к окружающей его действительности - миру его сознания и его социума, его истории и его будущего.

Говоря о критике, мы имеем в виду прежде всего философию, понимаемую как глобальная критика языка. Согласно Людвигу Витгенштейну, «философия есть битва против околдования нашего разума средствами нашего языка. <...> Результат философии - это обнаружение тех или иных проявлений простой бессмыслицы и ссадин, которые мы получаем в процессе понимания, наталкиваясь на границы языка. Именно ссадины убеждают нас в важности сделанных открытий»¹.

Критике жизни таким образом должна предшествовать критика культуры, критике культуры - критика текста, а критике текста - критика языка, на котором создаются эти тексты.

¹ Л. Витгенштейн. Философские исследования // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. М., 1985. С. 124-125.

Критика, понятая в такой трактовке, может быть различной по своим подходам. Наш журнал - научный, и научность критики жизни призван обеспечить семиотический подход. Выбор научной методологии носит вполне целенаправленный характер. Семиотика как наука о смысловых следах деятельности человека сопряжена с самой действительностью жизни во всей ее полноте. Если критика есть универсальный принцип отношения к жизни, то семиотика есть универсальный принцип уяснения жизни. Поэтому подходы критики и семиотики равновелики и соразмеримы, поэтому же возможно их творческое соединение.

При этом не только семиотика поддерживает критику. Обратное влияние не менее продуктивно, поскольку критика способствует оживлению, актуализации семиотики, включению ее в актуальный план современности. Критика преодолевает известную отвлеченность кабинетной семиотики. Семиотика в союзе с критикой выходит из кабинета на улицу - навстречу самой жизни.

Глубинной основой соединения критики и семиотики является двусторонность использования нашего языка - как инструмента знакового освоения действительности, и как конечного коммуникативного продукта такого освоения. Сценарии, разворачивающиеся на границе внешней и внутренней речи, одновременно выступают как объекты критики и семиотики. Семиотика - это критика минус коммуникация. Коммуникация - это критика минус семиотика. Критика и семиотика - это принципиально новый конструкт, создаваемый на страницах нашего журнала.

Таким образом, кредо нашего журнала - это критически заинтересованное отношение к жизни с позиции семиотического анализа.

Зачем нужен такой журнал

Определяя позицию нашего журнала, мы постулируем ее как деидеологизованную и социальную. Вслед за Роланом Бартом мы полагаем, что «идеологизация и ее противоположность ... представляет собой все те же магические типы, вызванные слепым страхом, замороженностью перед лицом разорванного социального мира. И тем не менее мы должны добиваться примирения реальности и человека, описания и объяснения, предмета и знания о нем»². Деидеологизация журнала мыслится нами прежде всего как освобождение от пут «суггестивного» языка, мистифицирующего реальность, а социальная позиция основывается на том, что «разоблачение, совершаемое мифологом, является политическим актом: утверждая идею ответственности языка, он тем самым постулирует его свободу»³.

Интеллектуальное пространство современной России представляет собой поле битвы различных идеологий, каждая из которых стремится занять доминирующую позицию, заручиться массовым кредитом доверия и одновременно снизить доверие к альтернативным идеологическим конструкциям. Немалую роль в этом играют средства массовой информации, опосредующие социальные отношения, но сами по себе пронизанные политическими, экономическими и социальными противоречиями.

² Р. Барт. Миф сегодня // Р. Барт. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. С.130.

³ Там же. С. 127.

Что делать человеку в этой ситуации? Принять какую-то одну идеологию значит неизбежно упростить реальное положение вещей и реальную сложность мира, теряя при этом свою личностную свободу и воспроизводя затем эту упрощенность в обыденной жизни - идеологизируя свой микро-социум - быт, семью, близких и детей. Отвергнуть все идеологии – невозможно, поскольку это означало бы изолировать себя от той коллективной символической среды, которая и делает возможной коммуникацию и социальную жизнь.

По мнению авторов нашего журнала, выход заключается в том, чтобы занять по отношению к идеологии рефлексивную позицию семиотической критики, которая позволит человеку рационально сопротивляться агональной риторике той или иной идеологической системы и выдерживать самостоятельную позицию в сети социальных и властных отношений.

В этом и состоит задача журнала.

Здесь нужно сказать, что всякая идеология – как сложной политической доктрины, и в простейшего рекламного призыва – панически боится семиотики, поскольку последняя выявляет ту семантическую подоплеку, те подлинные смыслы и интенции, которые любая идеология, используя специфические риторические приемы, стремится незаметно протащить в сознание своего адресата.

Дистанцируясь от разного рода идеологий, наш журнал тем не менее не останавливается на позиции тотального скептицизма. Скептицизм необходим для преодоления идеологии, но он явно недостаточен для этой благородной задачи. Преодоление идеологической позиции возможно, на наш взгляд, лишь путем выработки собственного метаязыка, по отношению к которому язык любой идеологии выступал бы как язык-объект. Создание метаязыка, освобождающего дискурс от власти языка-объекта - не только одна из задач журнала, в действительности это один из основных узлов, связывающих критику и семиотику.

Цель журнала, в связи с его задачей, - помочь читающим и думающим людям стать свободнее от чужого слова, не принимая на веру то, к чему нужно относиться только с критическим интересом.

Заметим при этом, что критика идеологии не означает сужения свободы слова. Напротив, освобождение сознания от наростов идеологии и есть подлинная стратегия свободы слова, ведущая к свободе мышления.

Тематика журнала

Из всего сказанного совсем не следует, что журнал в тематическом плане будет политизированным чтением, пусть и разоблачительного семиотического характера. Это только одна из возможных ключевых тем. В целом же тематика журнала предельно широка. Всякое жизненное явление, которое интересует семиотически ориентированную критику, может стать предметом изучения и темой публикации в журнале.

Особенно интересен для нашего журнала критико-семиотический анализ агональных дискурсов, в силовом поле которых человек вынужден находиться постоянно - с утра до вечера на протяжении каждого дня, от рождения до смерти на протяжении всей жизни. В этой связи в равной степени интересной для дискурсного анализа становится речь лидера парламентской фракции - и речь торговца арбузами на рынке. Первого со вторым связывает общее поле риторики и общие приемы агонального воздействия на адресата. Внимание к

дискурсивному анализу роднит «Критику и семиотику» с журналом «Дискурс», с которым редколлегию и ведущих авторов нового журнала связывают глубокие творческие отношения.

Авторы и читатели журнала

Передовая гуманитарная мысль на протяжении всего XX столетия постепенно и непросто преодолевала один из главных и неоднозначных итогов эпохи научного позитивизма - дифференциацию отраслей гуманитарного знания, приведшую к фактически полному их обособлению, взаимной нестыковке и непониманию. Особенно впечатляют печальные итоги этого процесса в филологии - некогда целостном и во многих отношениях универсальном знании, в XIX веке распавшимся на чуждые друг другу языкознание и литературоведение, которые в свою очередь разделились на ряды окончательно обособленных дисциплин. Ученым XX века пришлось заново наводить мосты навстречу друг другу - лингвистам через поэтику и прагматику, литературоведам через семиотику и риторику - чтобы встретиться в конце столетия в новом междисциплинарном пространстве гуманитарного взаимопонимания.

Авторы нашего журнала - это гуманитарии, которые оказались способными перешагнуть границы узкой специализации и достичь междисциплинарного синтеза в сфере гуманитарного знания. Таким авторам в нашем журнале дан зеленый свет, потому что только на пути синтеза различных гуманитарных методологий и подходов можно прийти к глубокому и эффективному критическому анализу семиотизированных и идеологизированных явлений и сторон современности.

В начале третьего тысячелетия считаем необходимым декларировать стремление к консолидированному мышлению. XX век, ознаменовавшийся колоссальными достижениями в области науки, искусства, политических технологий и т.д., вместе с тем выявил опасные разрывы между научным, художественным, политическим и обыденным типами мышления. Семиотических базис как инструмент преодоления таких разрывов открывает возможность содержательного присоединения к журналу специалистов различного профиля и различных научных ориентаций, а также непосредственных производителей всех типов художественных дискурсов.

Как следует из программы журнала, его авторы - это еще и не безразличные к современности люди. Это ученые, взявшие на себя ответственность критического взгляда и обнаружившие смелость взглянуть на жизнь критично - без защитной скорлупы какой-либо идеологии и каких-либо стереотипов.

Читатели нашего журнала - это интеллектуалы, которые исповедуют заинтересованное критическое отношение к окружающей их действительности и не желают быть объектами чьих-либо риторических воздействий.

Не следует при этом думать, что круг читателей журнала окажется узким и маргинальным. Свободно мыслящий интеллектуал в нашей стране - пока еще не маргинал, а сама Россия - все еще образованная и читающая страна. Поэтому наличие даже одного экземпляра «Критики и семиотики» в библиотеке того или иного вуза или города сделает свое дело. Кроме того, вскоре после выхода первого журнального номера появится его электронная версия в сети Интернет, что во многом компенсирует вынужденную малочисленность тиража журнала.

Т Р Е Т Ь Е MILLENNIUM Т Ы С Я Ч Е Л Е Т И Е

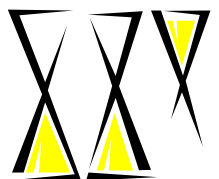
Комитет по встрече Третьего тысячелетия

Комитет по встрече Третьего тысячелетия (Комитет-2000) создан как общественная организация, поддерживающая общественные инициативы, направленные на интеграцию России в международный культурный контекст в преддверии встречи Третьего тысячелетия. Подобные организации уже несколько лет действуют в США, Великобритании, Австралии, Японии и других странах.

Комитет-2000 работает в тесном взаимодействии с государственными федеральными и региональными органами власти, с Российским оргкомитетом по подготовке к встрече Третьего тысячелетия и празднованию 200-летия христианства, созданным Указом Президента в декабре 1998 года, а также с национальными комитетами и фондами других стран, ООН, ЮНЕСКО и другими международными организациями.

В российский национальный Комитет-2000 вошли известные общественные деятели, политологи, ученые, философы, деятели СМИ, издатели, предприниматели, кинематографисты. Председатель Комитета-2000 Александр Ослон, директор фонда «Общественное мнение».

Комитет-2000 поддерживает создание и осуществление самостоятельных региональных программ встречи Третьего тысячелетия, инициативы общественных, коммерческих и других организаций и частных лиц, направленные на укрепление российского федерализма, интеграцию России в глобальный культурный, информационный, экологический и гуманитарный контекст.



III ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ

Сибирский Региональный комитет по встрече Третьего тысячелетия

e-mail: sib2000@newmail.ru

Тел./факс (3832) 397488, тел. (3832) 227040.

Почтовый адрес: 630099 Новосибирск,

ул. Чаплыгина 92, оф. 7.

"Третье тысячелетие"

www.millennium.siberia.net

www.sib2000.newmail.ru

Семиотика автостопа: язык, коммуникация, ритуал

Денис Поляков*

ТАЛЛИННСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ЭСТОНИЯ

Любовь, война, морское путешествие и охота имеют свой язык - как и все опасные занятия, поскольку это важно для их успеха...

*Х. Вайнрих. Лингвистика лжи*¹

Цель данной работы выявить и описать структуру языка автостопа. Далее меня будут интересовать конкретные примеры коммуникации на этом языке и их анализ, позволяющий отнести их к определённым типам дискурсов, которые в свою очередь имеют отношение к практике бытового и ритуального поведения - с одной стороны, и к созданию реальных и гипотетических текстов - с другой. Интерпретация и предсказание последних (например, в устном фольклоре, в письменной литературе - в том числе и на уровне типологий с текстами, не имеющими прямого отношения к автостопу, а также в рекламных текстах) - всё это видится возможными горизонтами исследования.

Трудность в описании неизвестного языка заключается чаще всего в проблеме дешифровки текстов, его запечатлевших. В нашем случае проблемой как раз является очевидность (мнимая) описываемых структур, которые традиционно воспринимаются либо как структуры уже известных языков, либо как случайный, т.е. неструктурный набор элементов.

Определение автостопа на языке "допредикативных очевидностей" таково: автостоп суть способ бесплатного передвижения на автомобиле, используемый теми лицами (автостопщиками, вариант: стопщиками), у которых в данный момент нет своего авто. В процессе автостопа стопщик останавливает машину (в которой находится водитель и факультативные пассажиры) с по-

* E-mail: pjatin@ut.ee

¹ Вайнрих Х. Лингвистика лжи // Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987. С.84.

мощью особого жеста голосования и/или других средств, чтобы доехать до нужного ему места (хотя возможны и такие варианты, когда у автостопщика нет определённого места назначения).

Теперь, исходя из понимания языка как набора элементов и правил их функционирования в структуре целого, мы можем определить систему автостопа как язык, ядерная структура которого состоит из двух элементов-слов: жеста голосования и жеста остановившегося автомобиля (понимаемого как тело водителя). Прежде чем говорить о правилах функционирования слов в этом языке, сделаем небольшое уточнение, касающееся природы описываемых языковых единиц.

Пользуясь термином "жест", я условно вывожу систему жестикуляции (не являющуюся самостоятельным языком) из системы *body language*, которая, по определению Е.Н. Зарецкой, суть знаковая система бессознательного в отличие от естественного языка, находящегося, как правило, в поле нашего сознания². Я делаю это по той причине, что если в процессе обыденной речи жесты как бы "подстраиваются под естественный язык" (там же), выступая в качестве переводимых невербальных эквивалентов вербальных единиц, то в системе автостопа жесты являются собственно языковыми единицами новой знаковой системы, отражающей в первую очередь сознательные процессы речевой деятельности участников семиозиса. И если с точки зрения тотальной системы *body language* оба интересующих нас жеста (тело, прерывающее своё движение и рука, перпендикулярная вектору движущегося тела) суть иконические знаки (автомобиль здесь выступает как эквивалент собственного изображения, подобно рекламной картинке, а рука - некая аналогия шлагбаума), то с точки зрения собственно языка автостопа оба элемента суть индексальные знаки, указывающие друг на друга, на саму вероятность вопроса и ответа на него. Наконец, оба знака могут рассматриваться и как символы, но уже с точки зрения "языка" глубинных структур сознания, манифестацией которого можно считать не столько сами эти жесты, сколько всю систему знакового поведения в процессе автостопа. К этому я вернусь позже, рассматривая автостоп как ритуал.

Теперь о правилах функционирования языковых единиц. Они фиксируются, как известно, в трёх сферах: синтактики, семантики и прагматики.

Синтактическое правило (важное и с точки зрения прагматики): в ответ на поднятую руку неизбежно останавливается автомобиль. Такова идеальная схема. Реально необходимо ввести фактор времени, который играет на дороге особую роль. То есть всё держится на убеждении, что рано или поздно тебя кто-нибудь заметит и возьмет. Несовпадение идеальной и реальной схем объясняется тем, что не все потенциальные носители языка автостопа могут или хотят говорить на нём.

Семантическое правило: однозначность смысла вопроса и последующего ответа. Такова идеальная схема. В реальности возможны как дополнительные коннотации, так и случаи неправильного понимания смысла высказываний.

Прагматическое правило: оно аналогично "правилу кооперации" Грайса. Прагматичный стопщик хочет преодолеть пространство, а альтруистичный водитель жаждет ему в этом помочь. Такова идеальная схема, которая реализуется в виде разнообразных (и не всегда приятных) вариантов.

² Зарецкая Е.Н. Риторика: теория и практика речевой коммуникации. М., 1998. С. 437.

Нарушение этих правил не отменяет идеальных схем языка, но лишь демонстрирует механизм их реализации в процессе коммуникации между стопщиком - адресантом и водителем автомобиля - адресатом. Привычный пример нарушения синтаксиса автостопа со стороны адресата: отказ водителя от остановки своего автомобиля. Такие же нарушения коммуникации как отказ водителя от первоначального намерения взять стопщика и, напротив, отказ стопщика сесть в остановившийся автомобиль выходят за рамки собственно синтактики автостопа и являются, скорее, нарушениями прагматических правил автостопа, реализация которых лежит в области пересечения с другими языками и с другими типами коммуникации. Коммуникация на языке автостопа в узком смысле его понимания с точки зрения синтактики завершается в салоне автомобиля, тогда как с точки зрения прагматики знаковая система автостопа актуализируется в виде особого рода ритуальных диалогов между водителем и стопщиком (приветствие, сообщение о месте назначения, возможные уточнения места высадки, разговор о дороге или на смежные темы и т.п. - дальнейшая типология подобных типов коммуникации лежит в области исследований по общей прагматике), в некоторых случаях речь может идти о формировании особого "автостопного" типа поведения участников диалога. Возвращаясь к нарушениям синтактики автостопа, можно отметить своеобразные примеры инверсии, когда автомобиль останавливается, несмотря на отсутствие жеста голосования (например, в случае если на обочине стоит девушка или т.н. "панковский" автостоп, когда стопщик идет по белой полосе, не поднимая руки). Однако в этих примерах более релевантными мне представляются семантические аспекты автостопа, а именно - явление синонимии в его системе: отсутствие жеста голосования интерпретируется водителями как минус-знак с тем же значением, что и традиционный жест голосования, но с дополнительными коннотациями (вызывающее молчание - в ситуации "панковского" стопа; общение с противоположным полом - в ситуации "девушка на дороге")³, т.е. как синоним. Видоизменение жеста голосования (поднятый вверх большой палец, махание рукой, голосование в сторону, противоположную дороге и т.п.) я рассматриваю не как синонимы, а как отдельные словоформы, экспрессемы, варианты основного инвариантного жеста голосования. Аналогичным образом в системе жестикуляции вообще, и в системе автостопа в частности, можно говорить об омонимии (в отношении жеста остановки такси или жеста полицейского, останавливающего автомобиль), паронимии (указующий жест рукой) и антонимии (жест, означающий: *проезжай мимо).

Два примера нарушения семантических правил со стороны участников автостопа. После жеста голосования стопщика останавливается фура, из которой выходит водитель и спрашивает нужду. Выясняется, что совершенно слу-

³ Более "чистым" примером инверсии высказываний является случай из личной практики, когда стопщик (я), увидев, что приближающаяся машина - такси, не поднимает руку (исходя из такого признака автостопа как принципиальная "бесплатность" проезда) и, более того, старается как бы "исчезнуть" с дороги, чтобы таксист, не дай Бог, не принял его за потенциального клиента; таксист же, несмотря на все старания автостопщика, останавливается и подвозит последнего совершенно бесплатно. Собственно таксист в этой ситуации перестаёт быть таксистом, а принимает роль некоего небывалого альтруиста, дарующего тем, кто даже его об этом не просит. Небывалость в данном случае двойная: с точки зрения бытового, нормального поведения таксист должен брать плату за проезд, с точки зрения языка автостопа ответ не должен упреждать вопрос.

чайно стопщик голосовал в том месте, где водители тяжелых грузовиков делали это регулярно.⁴ Только следующий, остановившийся по своей надобности, водитель согласился взять стопщика. Другой случай произошел на глухой проселочной дороге недалеко от города Цесис в Латвии. Остановившийся на жест стопщика водитель был очень удивлен, когда узнал, что от него требуется кого-то подвезти. Выяснилось, что он интерпретировал жест голосования как омонимичный ему жест просьбы оказать некую гипотетическую помощь (например, дать денег или дернуть вывихнутую ногу.) Когда водитель понял, что никакой помощи, кроме как взять пассажира, от него не требуется, он тут же уехал, так и не пустив никого в салон своего автомобиля. Естественные условия, в которых имел место последний случай, допускают и другую его интерпретацию (в терминах теории речевых актов): деревенский водитель просто не владел языком автостопа и воспринял ритуальное высказывание "подвези" как прямой речевой акт "помоги". Вместо того, чтобы на вопрос "Как дела?" ответить кратко: "Как сажа бела", адресат начинает пространное повествование о том, как у него дела. Впрочем, это лучше, чем обычное для автостопа игнорирование вопроса.

Говоря о языке автостопа, я проводил аналогии с естественным языком, но есть и различия. В первую очередь, это сравнительно небольшое количество элементов языка автостопа, которые при этом не стремятся к полисемии, что, с одной стороны, сближает автостоп с искусственными языками и, с другой стороны, связано с его узкой прагматикой: выполнение/невыполнение программы "преодоление пространства", относительно которой коммуникация на языке автостопа и расценивается как успешная или неуспешная. Изначальная телеологичность и неонтологичность суть принципиальное отличие искусственных языков от языков естественных, что, впрочем, не отменяет приобретение ими противоположных качеств в процессе становления в текстах.

Другой особенностью автостопа является принципиальная диалогичность коммуникации в пределах этого языка, а точнее - затрудненность ведения монологического дискурса на нем. При всем относительно разнообразии экстралингвистических факторов⁵, которые отчасти компенсируют ограниченность ядерной системы языка, суть автостопа сводится к одной лишь бесконечно повторяющейся паре высказываний, которую, вслед за Ю.М. Лотманом, можно было бы обозначить как "коммуникативную систему «Я-ОН»", обеспечивающую передачу некоторого константного объема информации в противоположность системе «Я-Я», в которой происходит информационная трансформация, приводящая к перестройке самого этого «Я»⁶.

⁴ К слову говоря, это ритуальное место находится рядом с монументальной табличкой "Tartu maakond" (Тартуский уезд - *эст.*) на трассе Таллинн-Тарту в Эстонии.

⁵ Я позволю себе сослаться на собственную статью: Семиотика автостопа // Русская филология. Тарту, 1995. Вып.7. С.255-264 - большая часть которой как раз и посвящена анализу явлений, маргинальных по отношению к ядерной системе автостопа. Я это делаю с той оговоркой, что ныне мною пересмотрены некоторые положения указанной студенческой работы.

⁶ Ю.М. Лотман. О двух моделях коммуникации в системе культуры // Труды по знаковым системам - 6. Уч. зап. ТГУ. Вып.308. Тарту,1973. С.229.

С последним тезисом о трансформации «Я» коммуникантов, в частности, связан и тот факт, что нередко водители, берущие стопщиков, в прошлом сами ездили автостопом. Это на мой взгляд можно интерпретировать и как возможный результат монологизации языка автостопа для некоторых его носителей. Аналогичным образом я толкую известный параллелизм между реальным и ментальным путешествиями в фольклоре хиппи⁷. Система «Я-Я» начинает работать, когда извне включаются добавочные коды, меняющие контекстную ситуацию - пишет Ю.М. Лотман. В наших примерах в первом случае - это появление у стопщика своего автомобиля, нового тела со своим *body language*, во втором - доза ЛСД, открывающая реципиенту коды бессознательного. Ю.М. Лотман в качестве примеров приводит воздействие на внутренний монолог человека мерных звуков (стук колёс, мерная музыка). В нашем контексте ритм является одним из сущностных признаков семантики пути, пространство и время которого заведомо отличаются от пространственно-временного континуума города или леса. В этом смысле центральный диалог автостопа до известной степени помещается в точку совпадения ритма его участников, который создаёт необходимый *фон* для успешной коммуникации. Для стопщика - слабый ритм машин, проезжающих мимо, из сферы индексальности в ничто, и сильный ритм машин останавливающихся, индексов, трансформирующихся в символы, а затем - в вещи с другого полюса реальности. Для водителя - это ритм сменяющихся ландшафтов, других автомобилей, возможных остановок и, где-то на периферии, ритмичная музыка.

Мы уже достаточно сказали о языке автостопа. Теперь нам важно понять, как он реализуется. Это происходит в виде упорядоченного символического поведения, которое по всей видимости имеет ритуальную природу. Априори можно сказать так, что автостоп является ритуалом хотя бы потому, что у водителей чаще всего нет видимой необходимости брать автостопщиков. С другой стороны, цели последних вполне очевидны - именно с их точки зрения автостоп расценивается как успешный или неуспешный коммуникативный акт (хотя возможны своеобразные варианты подобной оценки и со стороны водителя). Однако, если бы автостопщики знали заведомо, что их никто не подвезет, зачем бы они стали голосовать? Следовательно существует определенная договоренность между обеими сторонами диалога и, несмотря на некоторую асимметрию отношений, обе стороны обычно удовлетворены результатами этого договора. Ведь только этим можно объяснить достаточно широкое и достаточно единообразное распространение ритуала автостопа в мире. (К сожалению, какая-либо информация о культурных различиях в системе автостопа мне пока мало доступна). В качестве гипотезы я попытаюсь реконструировать договор, лежащий в основе автостопа. Очевидно, что этимологически он восходит к архаическим структурам сознания, поскольку чаще всего не осознается коммуникантами. Более того, этот договор до некоторой степени противоречит современной норме поведения, исходя из которой автостоп воспринимается как нечто маргинальное и факультативное (в некоторых странах - даже незаконное). Суть договора - в обмене символическими дарами (в терминологи-

⁷ Этой темы я касался в неопубликованном докладе "По следам одной телеги", прочитанном на Международной конференции "Связь и транспорт в быту, в культуре / языке / искусстве / литературе" (Польша, Siedlce, 12-14 дек. 1996).

гии Марселя Мосса⁸). И если дар водителя - это нечто, позволяющее преодолеть пространство, то в чем же заключается дар автостопщика? Этот вопрос, по-видимому, заставляет некоторых водителей требовать дополнительного и более явного дара: денег или же определенного рода услуг. Последнее, кстати говоря, уже сформировало устойчивый стереотип "женщины на дороге", крайняя степень которого такое поведенческое амплуа (я бы даже сказал *habitus*) как "дальнобойщица", "плечевая". С другой стороны, этот стереотип выражается в расхожем (и чаще всего в небезосновательном) мнении о том, что женщин автостопом берут лучше, чем мужчин⁹. Здесь же, конечно, и соображения безопасности, которыми руководствуются водители. Но это - опять-таки экстралингвистические факторы. Большинство же водителей берут попутчиков, чтобы убить время дороги. Выражение "время дороги" здесь не метонимия. Можно сказать, что для участников автостопа амбивалентный характер дороги очевиден. Для шофера - это, в первую очередь, время (поскольку с пространством соотносится его второе тело - автомобиль); для стопщика - это, конечно, пространство (поскольку на период путешествия он как бы отказывается от времени). Время дороги для водителя непрерывно (за исключением значимой остановки для взятия попутчика); для стопщика пространство дороги прерывается и предстает в виде точек или отрезков пути. Было бы полезно проанализировать функцию фигуры попутчика в архаических текстах и, таким образом, подтвердить, уточнить или опровергнуть представленную здесь интерпретацию договора, лежащего в основе ритуала автостопа.

Так или иначе, рассматривая язык автостопа как символический договор, я полагаю возможным говорить и о вторичных моделирующих системах, не сводимых только к этому языку. Реализацией этих систем является в том числе и система игрового поведения, состоящая из идиолектов, развертывающихся в основном в пределах атрибутики, пространственных жестов, звуковых сигналов. При этом происходит процесс перехода от низших единиц знакового поведения (жест и поступок) к высшим (стиль и жанр поведения), выработка конкретных амплуа (в терминологии Ю.М. Лотмана¹⁰) или поведенческих дискурсов (в терминологии Новосибирских летних школ).

Примеры амплуа автостопщиков: усталый человек, весельчак, панк, хиппи, плечевая и др. Пример амплуа водителя. Некий человек всегда подвозит стопщиков, но предпочитает брать хиппи. Причина - он украшает свой автомобиль хипповскими «фенечками», которые берет у стопщиков в качестве символической платы за проезд. В этом случае «фенечка» для хиппи приобретает дополнительные коннотации специфического "автостопского" атрибута.

В качестве элементарной классификации поведенческих амплуа участников автостопа можно привести приводимое психологом В. Шаниным разделение тактики голосования на пассивную и активную. Что же касается во-

⁸ См.: М. Мосс. Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии. М., 1996. (Этнографическая библиотека).

⁹ Приведу текст польской песенки, поющей от лица водителя: *Autostop, autostop // Ne zaberu, jezli hlor*. Здесь же, однако, необходимо отметить и тех водителей, которые, исходя из того же самого стереотипа, принципиально не берут женщин (я не имею в виду гомосексуалистов), невольно выступая тем самым в роли "архаистов" языка автостопа.

¹⁰ См.: Ю.М. Лотман. Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория) // Ю. М. Лотман. Избранные статьи: В трех томах. Таллинн, 1992. Т.1. С.296-336.

дителей, то среди них тоже есть свои предпочтения: "одни подвозят только тех, кто скромно себя ведет на дороге, другие, наоборот, их не замечают и реагируют только на более активных хитч-хайкеров".¹¹

Здесь будет уместно привести еще один пример специфического поведения водителя, демонстрирующего глубокое владение языком автостопа, а именно в той его сфере, которую можно обозначить как проксемику автостопа: очередность, порядок расположения голосующих автостопщиков на пространстве дороги. В этой сфере нередко возникает парадоксальная ситуация - стопщик, выходящий на трассу позже своих коллег, имеет все шансы уехать раньше них по той причине, что он первым попадает в поле зрения водителя. Очевидно, с этим "несправедливым" положением дел была связана следующая особенность поведения одного водителя - своеобразная автостопская привычка: он всегда брал только тех автостопщиков, которые стояли последними в очереди себе подобных, не обращая внимания на тех, кто хотел уехать раньше других.

Далее можно говорить о некотором сюжетном восприятии автостопа (вспомним хотя бы приводимые выше примеры), причем совокупность таких сюжетов складывается в своеобразную мифологию (например, фольклор хиппи). И, хотя анализ и систематизация сюжетов об автостопах с точки зрения их поэтики не входят в мою задачу, можно обозначить основные моменты, структурирующие подобные сюжеты.

Во-первых, все, что касается семантики пути, а именно: преобладание горизонтального пространства; линейность и направленность движения; наличие причины и цели путешествия; возникновение преград и опасностей и их преодоление и т.п. Здесь же мифологизация самого пространства пути (понятие трассы у хиппи) и даже мифологизация конкретных трасс (популярная в прошлом трасса Питер-Таллин-Рига-Вильнюс).

Во-вторых, ограниченный набор персонажей, имеющих при этом однозначную характеристику, зависящую от того, способствует ли данный персонаж передвижению героя по его пути или нет: стопщик - всегда центральный и положительный герой, чаще всего он же - рассказчик; водитель - антагонист героя; третья фигура (например, милиционер). Последние два типа персонажей могут расцениваться диаметрально противоположным образом в зависимости от указанного выше условия.

Так, полицейские иногда даже помогают автостопщикам. Приведем рассказ одного американского хитч-хайкера: "Однажды ночью в Иллинойсе я никак не мог найти, где бы переночевать, и постучал в дом к местному шерифу. Он устроил меня на ночь в камере, а утром открыл и выпустил"¹².

В заключение еще один пример с положительной третьей фигурой, описывающий ситуацию непосредственно на дороге. Милиционер помогает своей властью автостопщику-хиппи остановить машину. Затем автостопщик смотрит из отъезжающей машины назад и видит, как милиционер в знак прощания снимает фуражку, из-под которой падают длинные волосы (на сленге хиппи - "хаер"). Таким образом, здесь традиционно отрицательному для хиппи персонажу (милиционеру) приписывается собственно хипповский атрибут, чем еще раз подчеркивается отнесенность данного персонажа к позитивному полюсу мира стопщика и одновременно отмечается мифологический характер самого сюжета. Кроме этого, милиционер здесь выступает в роли носителя

¹¹ В. Шанин. Хитч-хайкинг: автостопом по США и Европе. М., 1994. С.45-46.

¹² К. Allsop. Hard Travelling: The Hobo and His History. N.Y., 1967. P.404.

особого амплуа - "милиционер-хиппи", то есть подразумевается, что данный персонаж всегда помогает автостопщикам подобным или иным образом, а, следовательно, подразумевается и некоторое множество возможных сюжетов, подобных или в чем-то близких приведенному, что, в конечном счете, характерно именно для системы мифологических текстов.

Дневник Поколения-2015

*Они выбегали из будущего
И, крикнув: "Неправда!",
убегали обратно...*

Иосиф Бродский

На рубеже веков человечество сталкивается с проблемой устаревания мыслительных, социальных и политических средств, организующих жизнь людей целой эпохи. То есть возникает проблема видения будущего как предстоящего, нового способа жизни.

Именно поэтому первый в 2000 г. номер культурологического альманаха "Архэ", изданного Алтайской краевой детско-юношеской организацией "Призвание" при поддержке Регионального комитета по встрече Третьего тысячелетия, посвящен **проблеме осмысления будущего** (отдельного человека, страны, мира, мировоззренческих концепций). Материалы этого **специального футурологического выпуска** представлены не в форме прогнозов, а в форме **уже реализованного будущего** - в виде дневника поколения, которое относится к 2015 году. В этом номере освещены антропологические, мировоззренческие, культурные и социальные аспекты проблемы, так остро стоящей в 2000 году перед молодым поколением.

Материалы данного номера подготовлены старшеклассниками и студентами, обучающимися в Сибирской школе-лаборатории гуманитарного образования.

Архэ. Молодежный культурологический альманах. №2. - Барнаул: "Призвание", 2000.

Редакция альманаха: тел. (3852) 778374,
e-mail: ic884amv@ic.dcn-asu.ru

(Александра Винокурова, гл. редактор и менеджер)

Сибирская школа-лаборатория гуманитарного образования. 656002 г. Барнаул, ул. Пионеров 2. Тел.

(3852) 342099, факс (3852) 774462 (для

Александры Блок), e-mail: a_blok@mail.ru.

Директор - Александр Попов, e-mail: aktor@mail.ru.

«Я» в дискурсе виртуальности

Ирина Шевченко*

ТАТАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ, КАЗАНЬ

Павел Высеков

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Вторжение виртуальности практически во все сферы современной культуры очевидно является характерным признаком времени. В трактовке виртуальности воспользуемся следующим определением: это «нечто невозможное, или поле несуществующих в реальности объектов, которое тем не менее может быть конституировано, скажем, на экране компьютера, и в таком случае оно становится реально воспринимаемым» (Делез, 1998. С. 97). Далеко не последнюю роль в успехе экспансии виртуальных реальностей сыграли феноменальные темпы развития компьютерных технологий, в частности, Интернета.

Появившись в 60-е годы как одна из вспомогательных систем связи и хранения информации в оборонном комплексе, международная «сеть» или «паутина» (англ. – net) распространяет свое влияние в геометрической прогрессии, опутывая все пределы человеческого существования. Стихийность и неуправляемость мировой сети, а также глобальный объем информационной базы и скорость доступа к ней создали предпосылки к образованию в массовом сознании особого рода мифов. Сегодня Интернет – символ наступающей информационной эпохи (в противовес уходящей индустриальной), некий фетиш, причастность к которому повышает статус «посвященных», переводит их в более привилегированное положение по сравнению с «профанами». Стоит при этом отметить, что мифообразование в связи с Интернетом движется по замкнутому кругу, поскольку миф об особой значимости сети в жизни современного общества активно эксплуатируется заинтересованными лицами и структурами (провайдерами, производителями баннерной рекламы и т.д.), что, естественно, вызывает его регулярную регенерацию.

* E-mail: irina.shevchenko@ksu.ru

Своеобразная информационная агрессия, по меткому выражению У. Эко, устремляет потоки информации к нулю. Иными словами, пользователь нередко оказывается фрустрирован избыточностью информации (эффект информационного шума).

Гипертекстуальная природа сети позволяет говорить о ней как о знаке, симптоме отмирания «гутенберговой цивилизации» и смене ее «цивилизацией образа» (image-oriented). Ветвящаяся структура сети растворяет жесткую фиксированность текста, что, в свою очередь, делает невозможной какую-либо однозначную интерпретацию, прогнозирование возможных рецептивных версий текста. Множественность ходов, нелинейность и дисперсность структуры сети позволяют, как нам представляется, провести параллель с понятием ризомы, введенным в культурологический оборот Ж. Делезом и Ф. Гваттари (Ильин, 1996. С.99). Метафора ризомы – корневище с чрезвычайно запутанной корневой системой, «волоски которой, регулярно отмирая и заново отрастая, находятся в состоянии постоянного обмена с окружающей средой», что приводит к поглощению различий «недифференцированной целостностью», утрате ими «четкого маркированного характера и, как следствие, потере своего онтологического значения» (там же). Природа сети может быть обозначена как ризоматическая. В свою очередь, выделяемый Делезом-Гваттари особый тип ризоматического мышления свидетельствует о возможном наличии у его носителя «комплекса дисперсии».

Ризоматичность мышления поддерживается особой структурой/формой текстов, с которыми работает пользователь/субъект. Интернет, если трактовать его в терминах Р. Барта, наиболее продвинулся на пути «от произведения к тексту», поскольку не поддается включению в жанровую иерархию, ему присуща множественность восприятий, у него нет Автора, так как допуск к созданию новых текстов в Интернете не ограничен и не подвержен внешнему контролю. Он представляет собой структуру с отсутствующим центром, что делает предельно открытой эту структуру. По выражению того же Барта, «коль скоро Автор устранен, то совершенно напрасными становятся и всякие притязания на «расшифровку» текста» (Барт, 1989. С.389).

Как следствие подобной нестабильности – страх непредсказуемых и, возможно, негативных последствий влияния Интернета на массовое сознание, страх, рожденный неизвестностью. Реплики подобного рода подогревают мифогенный потенциал сети, порождающий о себе очередную серию мифов, связанных с негативной аттракцией Интернета. Не случайны столь бурные обсуждения вопросов Интернет-зависимости (хотя никому не приходит в голову говорить, к примеру, о зависимости от телевидения, книг или желтой прессы) и «информационной безопасности» (А. Е. Войскунский), защиты сознания пользователей, особенно детей и подростков, от информационной агрессии и инфляции морали посредством Интернета. «В наши дни виртуальное решительно берет верх над актуальным. <...> Мы пребываем уже не в логике перехода возможного в действительное, но в гиперреалистической логике запугивания себя самой возможностью реального» (Делез, 1998. С.98).

Объектом предлагаемой работы является взгляд на Интернет как на продукт современной культуры. В качестве предмета мы предлагаем рассмотрение присутствия субъекта/пользователя в коммуникативном пространстве Интернета как широком поле социо-культурного взаимодействия.

Возможность говорить об Интернет-пространстве как особом коммуникативном поле обусловлена некоторыми специфическими и недоступными в актуальной реальности условиями общения, как то:

1) *добровольность и желательность контактов*. Пользователь добровольно завязывает контакты или уходит от них, а также может прервать их в любой момент времени;

2) *неограниченное количество выборов* среди потенциальных коммуникантов, возможность одновременного общения с несколькими адресатами;

3) *взаимодействие различных культурных слоев*, приводящее к латентному снятию культурных границ;

4) *отсутствие паралингвистических компонентов речи*.

Очевидно, что в случае Интернет-общения объем невербальных компонентов речи практически равен нулю. Отсутствие жеста, мимики, проксемики, eye-контакта, интонирования и т.д., снимает фиксированные смысловые точки высказывания, расплывая смыслы и иницируя (нередко понуждая) адресата к варьированию интерпретаций. Можно, пожалуй, сказать, что невербальные/паралингвистические составляющие речи выступают в общении в качестве своеобразной пунктуации, отсутствие которой «является источником двусмысленности» (Лакан, 1995. С.83). По словам Е. П. Зарецкой, body-language есть «семиотика бессознательного, она реализует те мотивы, которые находятся в бессознательном. Зона бессознательного в известной мере противоречит зоне сознания», т.е. знаковой системе языка (Зарецкая, 1998. С. 437). При Интернет-общении коммуниканты остаются в зоне знаковой системы сознательного, конституируя себя в языке текста. Наличествующее в живой коммуникации противоречие между семиотикой осознанного и бессознательного – важнейший резерв воздействующего общения, соответственно в Интернете следует ожидать сокращения меры воздействия. Отмечаемые особенности приводят к закономерной затрудненности эмоционального контакта. В то же время обнаруживается стойкое стремление к эмоциональному наполнению текста, которое выражается в создании специальных знаков, симулирующих обозначение эмоций.

1) *Снятие жестких социальных конвенций*. Отсутствием непосредственного восприятия собеседника стирается влияние процессов стереотипизации, то есть «приписывание познаваемой личности целых «наборов» определенных качеств на основе отнесения ее по отдельным качествам к какому-то «классу» лиц» (Бодалев, 1982. С.129). По словам А. А. Бодалева, «явление стереотипизации развертывается после того, как познающий другого человека субъект установит его принадлежность к какой-то социальной общности, определит его социальную роль, статус и т.д.» (Там же. С.132). С этой точки зрения общение в Интернете гарантирует свободу от строго конвенциональных стереотипов, поскольку специфика анализируемой коммуникации сопротивляется, препятствует образованию и, тем более, фиксации, более или менее жесткому очерчиванию стереотипных представлений. Условия нестрогой соотнесенности коммуникантов с той или иной возрастной, половой, социальной и т.д. группой способствует расшатыванию самой основы для кристаллизации тех или иных стереотипных представлений. В не меньшей степени этому способствует, быть может, самое важное условие Интернет-общения, а именно:

2) *Анонимность*. Несмотря на то, что иногда пользователь имеет возможность получить некоторую информацию анкетного характера и даже фо-

тографию собеседника, эти данные, тем не менее, не только недостаточны для более или менее адекватного восприятия адресата, но, более того, вообще не могут быть восприняты как обладающие той или иной мерой истинности, т.к. зачастую наблюдается сокрытие или презентация ложных сведений. В качестве фильтра выступает категория маски, активно используемая участниками коммуникации. «Маска – это не я, – пишет И.С. Кон, – а нечто, не имеющее ко мне отношения. Маску надевают, чтобы скрыться, обрести анонимность, присвоить себе чужое, не свое обличье. Маска освобождает от соображений престижа, социальных условностей и обязанностей соответствовать ожиданиям окружающих» (Кон, 1986. С.138). Субъект автокарнавализации получает широкие возможности к осуществлению социально легитимированного антиповедения в пространстве Интернета. Понижение психологического и социального риска в связи с отсутствием внешних оценок приводит субъекта к аффективной раскрепощенности, ненормативности (вплоть до безответственности) в общении.

Отдельную тему для исследования представляют языковые реверсии в Интернете, также способные быть рассмотренными в рамках уже языкового антиповедения. Дело в том, что отправление дискурса в сети нередко выходит на рубежи, за которыми осуществляется (более или менее отрефлексировано) покушение на нормативность языка. Можно сказать, что деструктивные по отношению к языку акции пользователей содержат латентные выпады против онтологического статуса слова. Мы хотим сказать, что, с определенной точки зрения, целостность слова обладает качествами телесности, о чем недвусмысленно сообщает наличие в языке словообразовательных моделей, позволяющих осуществлять трансплантацию членов от одного слова-донора к другому слову-пациенту. Этим объясняется наличие и регулярное обновление банка неологизмов. Фигурально выражаясь, всякий языковой неологизм есть такое же проявление в языке синдрома Франкенштейна, каким в культуре вообще выступает понятие цитатного (читай: лоскутного) сознания. Неоднократно обсуждавшаяся проблема дробности (ср.: ФРАНкенштейн – ФРАГмент) современного сознания удачно иллюстрируется фигурой данного литературного персонажа. Деструкция языка в Интернете охватывает орфографию, производит редукцию лексем, синтаксических конструкций и т.д. Впечатлению «гула языка» способствует смешение естественных (русский, английский и т.п.), научных, профессиональных и т.д. языков. Как известно, в некоторых случаях уже визуальное восприятие текста суггестирует идею дисперсии текстового тела за счет наращивания прерванных, испещренных многоточиями конструкций.

Пожалуй, наиболее интересные языковые события совершаются в момент обращения от корпоральности языка вообще к корпоральности имени. Анонимность субъектов высказывания в Интернете во многом конституируется за счет активного использования псевдонимов, криптонимов и т.д. Наблюдения за словообразовательными моделями фиктивных/виртуальных имен могут выступить предметом отдельного междисциплинарного исследования. Здесь же, пользуясь случаем и ограничиваясь объемом работы, приведем один пример – «Screagle». Слово образовано путем контаминации двух слов:

screw + eagle = screagle
винт + орел = винторел

Модель подобного рода, стоит заметить, является одной из самых распространенных в «шизофатическом стиле» (Я. Мытарский) клинического шизофреника. Расщепление нормативного языка психически неадекватным субъектом на выходе дает огромное многообразие образцов. Э. Блейлер в «Руководстве по психиатрии» приводит следующий пример:

traurig + grausam = trauram
 грустный + жестокий = грустокий

Конечно, не место сейчас погружаться в сугубо психиатрические аспекты подобных языковых обращений. Заметим только, что культуре двадцатого века свойственно пристальное внимание к категории *shizis'a*. Вышеизложенные рассуждения по поводу ризоматической природы мышления современного человека, как мы видим, находят свой материал в непосредственной языковой практике. В случае переименования происходят некие сдвиги в структуре образа «Я». Добавляя к этому склонность Интернет-коммуникантов выстраивать целую серию псевдонимов, мы можем вслед за М. Фуко сказать, что «наше Я – различие масок» (Фуко, 1996. С.132), различие сюжетов, использующих фиктивные имена в качестве архива кодов. В свое время П. Флоренский произнес мысль, что имя является «нежнейшей плотью нашей личности» (Флоренский, 1994. С.32). При таком допущении манипуляции с именами, псевдонимами и т.д. способствуют расщеплению личности, т.е. тому, что мы склонны называть дисперсией субъекта или, что в контексте данной работы то же самое, виртуализацией «Я». Отметим так же и то, что в некоторых случаях субъектам Интернет-коммуникации оказывается доступной некая доля авторефлексии по поводу психических процессов, совершающихся с ними в пространстве сети.

Итак, с одной стороны, мы имеем склонность Интернет-коммуниканта к реализации (часто одновременной) нескольких дискурсов/сюжетов, а с другой – обнаруживаем, что едва ли не единственным средством автоманифестации в сети для него выступает язык, лишенный коннотативной сферы, при других условиях проявляющейся в паралингвистических слоях речи. В множественности дискурсов субъект оказывается отчужден от самого себя, расщеплен на «Я» субъекта (I) и «Я» его дискурса (Me). Говоря словами Ж. Лакана, «чтобы преодолеть отчуждение субъекта, смысл его дискурса следует искать во взаимоотношениях «собственного я» субъекта и «я» его дискурса» (Лакан, 1995. С.73), то есть постараться подвергнуть анализу интенциональное наполнение речи субъекта.

В нашей работе рассматриваются две основные автокоммуникативные интенции:

- 1) выстраивание парадигмы нереализованных сценариев,
- 2) автопсихоанализ с психотерапевтическим эффектом.

Широкие возможности Интернет-пространства предоставляют субъекту право на реализацию ролей, переживание эмоций, по тем или иным причинам фрустрированных в реальной жизни. В известном смысле субъект конституирует себя через продукцию рассказов о самом себе и, как ни парадоксально, направляет их себе же. С этой позиции природа Интернет-коммуникации открывается своей перформансной гранью. Субъект дискурса оказывается способным отчуждаться от себя через автообъективацию в рассказе, изменении

имени и т. д., а в итоге – утверждать себя в зоне адресата. Мы хотим сказать, что в процессе потребления собственной дискурсивной продукции субъект виртуальной дискурсии попадает в поле ролевой конъюнкции, обеспечивая и утверждая автокоммуникативное пространство. С точки зрения языковой корпоральности выстраивание серийно воспроизводимых дискурсов в поле неограниченных коммуникативных валентностей выводит субъекта в ситуацию, при которой он всякий раз протестически перестраивает, деконструирует свое речевое тело, обретая себя в цепи метаморфоз. Семиотически подобная ситуация может быть описана как запуск серии означающих при сомнительности означаемого, растворяющегося в этой свободной игре означающих. Речь субъекта становится опустошенной, то есть «он производит впечатление говорящего о ком-то другом, кто похож на него до неузнаваемости, но решительно не способен усвоить себе его желание» (Там же. С.41).

Автокоммуникация в пространстве пустой эгоцентрической речи усиливает «кризис идентичности» и, тем не менее, обладает высокой степенью аттракции. Виртуальный коммуникант, созерцая себя в сети зеркал (в качестве которых он выстраивает своих адресатов), оказывается похищенным своим собственным Другим, потому что «виртуальный образ, - как пишет Ж. Делез, - не перестает становиться актуальным, как в зеркале, которое завладевает личностью, поглощает ее и в свою очередь не оставляет ей ничего, кроме виртуальности (...) Виртуальный образ поглощает всякую актуальность личности» (Делез, 1998. С.93).

Отражаясь от актуальных в сети адресатов, субъект переводит первичный инфантильный нарциссизм в нарциссизм вторичный, по определению З. Фрейда, «извлеченный из отношения к объектам» (Лапланш, Понталис, 1996. С.245). «После нарциссических объятий, тщаясь вдохнуть в него жизнь», субъект способен признать, «что «существо» всегда было всего-навсего его собственным созданием в сфере воображения» (Лакан, 1995. С.20) и тогда «объектом эротизации может стать и весь дискурс в целом» (Там же. С.71).

Метод, носящий имя психоанализа, представляет собой операцию, при которой имеет место «усвоение субъектом своей истории в том виде, в котором она воссоздана адресованной к другому речью» (Там же. С.27). При допущении, что не всегда пользователи сети повествуют квазиистории о самих себе, можно, по-видимому, высказать следующее предположение: в условиях анонимности субъект высказывания манифестирует себя пациентом и конституирует собеседника в качестве некоего свидетеля/аналитика, который при этом может и не подозревать о навязанной ему роли. Иными словами, процесс общения со стороны субъекта трансформируется в некий автопсихоаналитический сеанс, призванный снять фрустрирующее напряжение, спровоцированное переживанием своей эксцентричности. (Психотерапевтический эффект в немалой степени обусловлен атмосферой сетевого общения (принципиальная доброжелательность, анонимность и т.д.), напоминающего по ряду параметров атмосферу психотерапевтических сеансов.)

С другой стороны, наращивание, серийная рекреация своих виртуальных квази «Я», симулякризация субъектности может быть рассмотрена именно как попытка снятия эксцентрического/дисперсного состояния.

Таким образом, Интернет в современной ситуации представляется весьма комфортным, безопасным, более или менее свободным пространством для апробации разнообразных стратегий межличностного или автокоммуникативного поведения. Это создает возможность реструктурирования более гиб-

кой концепции «Я» как набора ситуативно актуализируемых дискурсов, модусов «Я», ни один из которых не стремится к узурпации привилегированного положения. Так как в нашем актуальном социо-культурном пространстве наблюдается размывание границ жестко очерченных институтов (семьи и т.д.), стереотипов и конвенций, то при удачном - для субъекта - стечении обстоятельств возможно предположить, что подобные способы ориентации найдут адекватное применение в актуальном жизненном пространстве.

Литература

- Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989.
Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком. М., 1982.
Делез Ж. Актуальное и виртуальное // Цифровой жук. № 2. 1998.
Зарецкая Е. Н. Риторика: теория и практика речевой коммуникации. М., 1998.
Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
Кон И. С. В поисках себя. М., 1986.
Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М., 1995.
Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу. М., 1996.
Флоренский П. Имена. Кострома, 1994.
Фуко М. Археология знания. Киев, 1996.

Виртуальный дискурс в культуре постмодерна

Дмитрий Галкин*

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Развитие компьютерных и телекоммуникационных систем, набирающая силу конвергенция вычислительной техники, средств связи и коммуникаций радикально меняет дискурсивный ландшафт культуры. Как Интернет и телевидение влияют на дискурсивные практики? Что в связи с этим происходит с дискурсивными функциями в культуре? Что представляет из себя возникающая специфическая дискурсивная среда? Ответы на эти вопросы в диалогическом аспекте междисциплинарного анализа социальных и идеологических контекстов современных коммуникативных стратегий мы хотели бы попытаться разрабатывать в культуролого-дискурсивном анализе принципиально *нового типа символического существования человека в культуре*. Для осмысления последнего мы вводим новый термин - "виртуальный дискурс" (ВД).

В качестве рабочего определения понятия дискурса используем дефиницию Т.А. ван Дейка, успешно применявшего ее в интересующей нас сфере (анализ новостей в СМИ): дискурс - это "коммуникативное событие ... сложное коммуникативное явление, которое включает в себя социальный контекст, дающий представление как об участниках коммуникации (и их характеристиках - общедоступные значения, знания языка, знания мира), так и о процессах производства и восприятия сообщения" (Ван Дейк, 1989. С. 122) По определению нетрудно будет отследить все "параметры" виртуального дискурса.

Итак, рабочей гипотезой является предположение, что в постсовременной культуре возникает новый тип дискурса - виртуальный. Он становится *самостоятельной дискурсивной практикой*, которая ассимилирует иные дискурсы и оказывается основным посредником для доступа к ним; является дискурсорождающей инстанцией с особым механизмом знакопорождения; формирует особый тип виртуальной идентичности, через которую формиру-

* E-mail: gdv_t@mail.ru

ются иные типы культурной идентичности; имеет сложное, многослойное полидискурсивное строение.

В целях эффективной понимающей работы важно и можно представлять себе ВД как объект, как существо, как "матрицу-разум". Важно стараться понять, что виртуальный дискурс имеет собственную определенность.

Мы предпримем попытку анализа виртуального *дискурса* в пространствах "культуры", которую Ж.-Ф. Лиотар охарактеризовал как состояние постмодерна. Принципиально значимой чертой *la condition postmodern* является информационно-коммуникативная (экстенсивная и интенсивная) природа знания (дискурсов): мы имеем дело с новой культурой-состоянием (а также социальной структурой, функционально-технологическим укладом, хозяйственной системой), основанной на информации, коммуникациях и коммуникативной ассимиляции различных социальных и культурных практик (малых нарративах). Ж.-Ф. Лиотар пишет: "При таком всеобщем изменении природа знания не может оставаться неизменной. Знание может проходить по другим каналам и оставаться операциональным только при условии его перевода в некие количества информации. Следовательно, мы можем предвидеть, что все непереводимое в установленном знании, будет отброшено, а направления новых исследований будут подчиняться условию переводимости возможных результатов на язык машин." (Лиотар, 1998. С.17) Французский мыслитель акцентирует внимание на научном дискурсе, критикуя легитимность его привилегированного положения по отношению к другим "рассказам". Мы же хотели бы сделать акцент на самих информационно-коммуникативных процессах, т.е. на виртуальном дискурсе.

На наш взгляд, дискурсивные практики концентрируются в виртуальной среде универсальных электронных посредников - электронных масс-медиа и гипермедиа (*hypermedia*), как называют их специалисты Британского *Hypermedia Research Center*¹, подчеркивая их отличие от масс-медиа в смысле ориентации на индивидуальное и избирательное использование информации, а не массовое. Прежде всего, здесь идет речь о телесистемах и компьютерных сетях (особенно об Интернете, которому здесь будет уделено основное внимание). Таким образом, культурное поле дискурсов концентрируется в виртуальных коммуникативных пространствах, трансформируясь в ВД.

Само слово "виртуальный" все более широко и активно используется в различных языках - философском, научном, политическом, быденном. Популярна, к примеру, тема виртуальной реальности и ее социо-культурного потенциала эмансипации, известная в самом модном и разработанном виде "калифорнийской идеологии". Далее мы будем использовать термин виртуальный, относя к его значению:

1) все, что связано с использованием компьютерной техники (от «спец-эффектов» в кино, виртуальной музыки, ведения бухгалтерии и управления производством, деловой документации и корреспонденции, обучения, дизайна до общения, игр и развлечений в Интернете, технологий виртуальной реальности), а также телевидением (особенно в плане его конвергенции с компьютерными системами);

2) амбивалентный буквальный смысл этого слова - названное виртуальным происходит или существует не на самом деле, является "не реальным", "не актуальным", существует "как бы"; однако буквально виртуальный означает "фактический", "действительный", происходящий на самом деле.

¹ См. web-сайт HRC по адресу <http://www.hrc.wmin.ac.uk>

Виртуальные модели дизайнеров и виртуальное общение в Интернете, эффект присутствия и сопричастности зрителя в выпусках теленовостей, рядоположенное и последовательно реализуемое в одном телепространстве множество разнотипных по месту, времени и сути событий существуют только в рамках сложноорганизованных коммуникаций, или дискурсов (в смысле ван Дейка), и именно это придает им статус фактического и реального. Но опосредованность коммуникативным производством одновременно делает их виртуальными - реально не присутствующими, поскольку непосредственный контакт с ними в реальности упразднил бы коммуникативную медиацию (хотя, разумеется, реализация-актуализация виртуального в его модусе фактического происходит неизбежно). Представляется, что виртуальность - наиболее адекватная характеристика состояния постмодерна как неуверенности в границах и определенностях реального, смыслового, культурного; как острое осознание их необязательности, призрачности и необходимости постоянно пересматривать эти границы (метафизически, прагматически, эстетически).

Полидискурсивность

Начнем с того, что в виртуальном пространстве одновременно и особым образом представлены самые различные дискурсы, - политические, бытовые, литературные, научные и т.д. - привычно распределяемые нами в повседневности на главные и второстепенные (подобно схеме гештальта "фигура-фон"). Перечислять и типологизировать их не имеет смысла (для этого достаточно внимательно - но несколько внешним взглядом - посмотреть телепрограмму на неделю, либо отправиться в недельное путешествие по Интернету). *Для нас важен сам коммуникативный принцип полидискурсивности виртуального коммуникативного пространства.* Например, для Интернета, где это выражено особенно ярко, характерна виртуальная "связь" - именно связь (connection) дискурсов (потенциально или актуально) - отсылками, цитациями, переходами и указателями (причем взаимными - что не всегда явно, но обязательно по самой коммуникативной схеме).

Внутри виртуальной дискурсии Интернета один дискурс может ссылаться на другой через указатель слово-термин или имя, или адрес сайта, или тематический список адресатов. Однако есть и обобщающая среда отсылок - среда поиска (поисковые машины типа Rambler или Yahoo), организующая гибкую систему отсылок на основе тематических и языковых (фразы и слова) вариантов. Стратегия поиска предполагает необходимость как можно более детального указания искомого информационного объекта, однако если сделать поиск более простым и менее конкретным (по слову «виртуальный», к примеру), то легко увидеть, как одно слово или фраза актуализируют тысячи самых разнообразных дискурсивных фрагментов из самых разнообразных дискурсов.

Важно подчеркнуть, что любая ссылка содержит адрес и квази-команду для непосредственного перехода к другому дискурсу *в той же коммуникативной среде.* Собственно, это и есть виртуальный дискурс как гипертекст. Его существенной особенностью (что свойственно не только Интернету, но и телевидению) является открытая среда композиционирования и редактирования текстов-документов - как в плане подвижности и возвратности-обратимости текстопорождения, интеграции в документе различных типов текстов (визу-

альных, аудиальных, интерактивных), так и в плане совершенно иного подхода к качеству знака. По сути дела, виртуальный дискурс основан на небывалом ранее механизме генерирования знаков и их качественных характеристик, в сумме с коммуникативной концентрацией гипертекста принципиально отличающим его от цитатно плетущейся паутины интертекста. (Попробуйте сравнить восприятие работы со знаком в Интернете и при чтении книги или этого журнального текста).

Таким образом, ВД становится основой, возможностью существования иных дискурсов как таковых в виртуальной дискурсивной среде, где они ведут самостоятельное существование лишь в достаточно условной мере. Условной становится их привычная дифференциация, поскольку различные дискурсы находятся в среде коммуникативной отсылки-рассеивания и композирования в отношении других дискурсов. При этом возникает новая форма манифестации, которая «заковычивает» экспрессивное начало «Я» в операциональной экспрессии гипер-средственности ВД.

Следовательно, виртуальный дискурс становится полем дискурсопорождения, источником самых разнообразных дискурсивных образований, отличающихся огромной коммуникативной интенсивностью (занимательным был бы, скажем, анализ дискурса, возникающего в ситуации, когда студент работает с научной статьей на каком-нибудь сервере, и одновременно "бродит" на порно-сайте, слушая при этом брэйк-бит с другого сервера). ВД действует круглосуточно, продуцируемые им дискурсы готовы к вызову в любое время, транслируют невероятное количество сообщений, "преследуют и облучают" нас практически везде. Тем самым ВД предопределяет и организует возможности манифестации и любые артикулирующие усилия Я - будь то выражение или перцепция. Сам таким образом продуцируемый знак всегда может сказать больше, чем мы хотели сказать.

Виртуальный дискурс как бы бросает вызов любому другому дискурсу (например, дискурсам национального и социального позиционирования) и одновременно создает среду полидискурсивного диалога и взаимодействия. Однако, будучи виртуальным, сам ВД ведет существование призрака, всегда стремящегося спрятаться за своими продуктами.

Полидискурсивность задается в виртуальном дискурсе на нескольких специфичных для него коммуникативных слоях: а) функционально-технологическом; б) социо-функциональном; в) интерактивном.

Это деление отражает, с одной стороны, то, что виртуальная дискурсия (на 1-ом и 2-ом слое), вне всяких сомнений, есть "голос" техники и технологии, голос "hardware" и многоголосья в сети каналов коммуникаций. Я имею в виду как некоторый самостоятельный дискурсивный модус техники и "вокруг" техники, так и собственно "физический" - виртуальный слой циркуляции и передачи информации (ясно различаемый и слышимый нередко в виде шума и помех), а также особый тип кодов, который У. Эко называл кодами передачи, определяющими "первоначальные условия восприятия, необходимые для последующего восприятия образов", - зернистость и разрешение монитора, частота строк на экране телевизора (Эко, 1998. С.157).

Можно пока лишь предположить в этой связи, что обретая коммуникативную функцию в культуре, виртуальная техника выходит на совершенно иной, гуманитарно-технологический (термин П. Щедровицкого)² и глубоко

² См. лекции П. Щедровицкого «Гуманитарно-технологическая перспектива или эпоха культурной политики», URL <http://millennium.ru/2001/biblio/schedr1.htm>

мифологический уровень понятий о существовании техники в ее отношении к человеку. Замечу лишь, что в этом плане выводы Д. Белла о технологической доминанте развития постиндустриального общества (Белл, 1999) могут получить весьма интересное развитие.

С другой стороны, виртуальный дискурс разворачивается на уровне (3-й слой) различного типа общения людей (просмотр телепрограмм, общение в чате или по электронной почте), а также создания и использования информационных ресурсов (выпусков новостей, информационных серверов). Хотелось бы подчеркнуть, что коммуникация машин и человека с машиной принципиально выносится в отдельный дискурсивный слой, отличный от общения людей в виртуальной среде. В этой связи нелишним будет снова указать на предмет нашего исследования - на ВД как самостоятельный тип дискурсивной практики, манифестирующей себя и созидающей новый тип символического существования человека.

Виртуальный функциональный дискурс

Итак, специфическим слоем виртуальной дискурсии, создающей полидискурсивную среду, является то, что можно назвать дискурсом виртуального функционирования или виртуальным функциональным дискурсом (ВФД). Прежде всего, здесь имеются ввиду языковое моделирование компьютерных функций и погруженность в виртуальную среду осуществления самых разнообразных социо-культурно значимых функций - ведение бухгалтерии, составление документов, инженерные разработки или обучение, исследовательское моделирование и т.д. Виртуальный дискурс проникает в функциональные основы любой сферы практики, даже столь ответственной, как управление (самолетом, военными действиями, предприятием и т.д.).

В основе такой функциональной модели лежит дискурс "идеальной операции", дискурс магической точности-скорости-производительности или дискурс языка команд и машинных кодов (программ), дискурс универсальной коммутативности (подключения к различным коммуникативным линиям каналам - телефонным, телевизионным и видео). Команды (операторы) - своего рода парадигматика этого дискурса, а сами программы и их функционал являются, по сути, высказываниями и даже, в некотором смысле, произведениями. Телевизионным высказыванием также является программа (телепрограмма), представляющая различные типы дискурсов. При этом дискурс телевизионных программ в виде пропаганды, например, становится программированием в социально-политическом и экономическом поле, а также в мире частной жизни - программируются индивидуальные предпочтения-поведения в моде, вкусах и т.п.

Этот функциональный слой виртуальной дискурсии обеспечивает, прежде всего, общение машин (между собой и людьми). Это дискурс программ и операционных систем, языковая среда профессионального существования программистов, операторов и пользователей. Это дискурс, подобранный к языку через цифры (digits), открывший в них метадискурсивные возможности. Все, что приобретает виртуальное существование, зиждется на цифрах и их безапелляционной дискретности (непрерывный мир пра-виртуальных аналоговых волн-сигналов стремительно уходит в прошлое). На функциональном уровне виртуальный дискурс как бы подменил природу коммуникации - бук-

вы и слова, звуки и образы, тела и вещи заменены цифрами, и поэтому они виртуальны, и поэтому они обретают столь специфические возможности.

Виртуальный функциональный дискурс - воплощение гиперсредственности и перформативности текста, магии действия только словом-командой (цифрой). Именно этому подчинена виртуальная манифестация, а проблема понимания оказывается здесь лишь "проблемой" правильного использования слов-команд и правильного грамматического построения фраз программы. При этом виртуальный дискурс способен создавать и хранить внутри себя собственные референции (события, объекты, документы, персоны), обращая вовнутрь собственные объективирующие манифестации, продукты которых вне ВД существовать не могут. *Собственно, такой статус референта и есть базовая виртуальность как действительность в модусе "как бы".* Это "как бы" отсылает к несоответствию (несоизмеримости) реальному миру и к креативной установке виртуального дискурса на конструирование своей реальности в собственной среде, известной под именем киберпространство (cyberspace).

Постоянно "облучая" реальность, фиксируя и удерживая ее в своем поле - настигая нас везде и превращая нас в зрителей и пользователей - поглощая ее симулякрами *гиперреальности* (агрессией знака, головокружительной детализацией, затевающими с нами полную эротического дурмана игру совращения, игру обещания и давания больше, всегда больше - см. (Бодрийяр, 1994. С.324-354)), ВД реконструирует внутри себя "реальное": возникают виртуальные магазины, банки, секретари, системы голосования на выборах, концерты, виртуальные сообщества (пресловутая "мировая деревня") и т.д. - (см. уже упоминавшиеся исследования на НРС). Следуя парадоксальной логике виртуальности, объекты ВД становятся не менее и даже более реальными и действительными, чем сама реальность. Возьмите хотя бы для примера гигантскую виртуальную экономику финансовых спекуляций, экспансия которой в привычный экономический уклад фирмы или потребителя формирует реальности как бы с позиций высшей инстанции-реальности. Сверхперформативность позволяет одновременно совершать интервенцию в реальный мир - иной вектор самоманифестации ВД - и заниматься фантазматическим дизайном элементов виртуального киберпространства. Возникающая при этом редукция смысла - "капитуляция" смысла перед магией операции - создает, на наш взгляд, смысловой вакуум и "черные дыры", о которых Ж. Делез говорил как об источниках действительного события-эффекта, возможностях смыслопроизводства, называя их сингулярностями - анонимными, нейтральными, всегда активными событийными энергиями, в которые и трансформируется идентичность (Делез, 1995. С. 96-97). Это возвращает нас к тезису об уникальной дискурсопорождающей мощи ВД и его потенциале смыслопроизводства. Его зависимость от *techné* ВФД заставляет вновь задуматься о фатальной заданности возможного смысла дискурсом техники (в частности, риторической техники или техники письма).

Одной из ключевых функций виртуального функционального дискурса является мнемоническая - запоминание и хранение информации как полуфабриката для использования его в коммуникации. Известно, что сам принцип памяти заложен в основу структуры компьютера и его функционирования. Именно сверхэффективность компьютерной и теле-видео мнемоники позволяют столь точно реализовывать коммуникативные функции. Выражаясь метафорически, виртуальный дискурс - это дискурс гигантской памяти, настан-

вающей на своем голосе уже только благодаря объемам и разнообразию хранимого в ней. Память - основа речевого использования языка в общении. Именно от мнемоники виртуального дискурса мы должны перейти к теме общения (3 слой) и пониманию виртуального дискурса в целом как способа символического существования человека.

Виртуальная среда языкового существования

На наш взгляд, описанию виртуального дискурсивного пространства в совокупности различных дискурсов наиболее адекватно соответствует концепция языкового существования, предложенная Б. Гаспаровым. С этой точки зрения, виртуальный дискурс складывается из коммуникативных фрагментов (КФ - они хранятся в памяти как заготовки, которые затем "сшиваются" в актах коммуникации), а сама виртуальная среда подобна мнемонической среде человеческого сознания, хранящего и оперирующего огромным массивом очень подвижных и пластичных коммуникативных фрагментов. Данную гипотезу выдвинул сам Б. Гаспаров: "Представление о коммуникативном процессе как о некоей линии языковой связи, "проложенной" между адресантом и адресатом сообщения, - линии, возможности которой определены централизованными правилами языкового кода, - было выработано в первой половине этого столетия, в эпоху, когда телефонная связь сделалась не переменным атрибутом повседневного общения. Соответственно, предлагаемая здесь модель общения на основе открытого множества коммуникативных фрагментов, выступающих в виде совокупного поля, не сведенного в централизованную построенную систему, представляется мне в некоторых отношениях сходной с принципом, на котором построена электронная связь - эта все более укореняющаяся в нашей повседневной практике способ общения, характерный для конца нашего века" (Гаспаров, 1996. С.164)

Важным и принципиальным моментом в модели Б. Гаспарова представляется возможность не редуцировать виртуальную дискурсивную среду к формально-текстовому элементу, но рассматривать виртуальный дискурс как "живое", подвижное языковое образование, как среду языкового существования человека, где модусы индивидуальных существований несоизмеримы.

Виртуальная идентичность

Последний вывод позволяет понять и осмыслить захваченность огромного числа людей общением в Интернете или их привязанность к постоянно включенному телевизору: как видим, виртуальный дискурс великолепно "симулирует" естественное языковое существование человека. Поэтому возникает необходимость рассмотреть ВД в ином культурном аспекте: с точки зрения его влияния на формирование социальной и культурной идентичности человека.

Функциональный виртуальный дискурс *коммуникации* неизбежно встречается с дискурсом *свободного общения*, открытого эмоционального контакта. Привязанность к телевидению и компьютеру продиктована, видимо, как замороженностью магией функционирования, так и захваченностью свободой общения в естественной среде языкового существования (интеракции, игры),

недостаточной или даже крайне дефицитной (свободы) в повседневной жизни. Таким образом, виртуальный дискурс симулирует идентичность привязанности и неоставленности, незаброшенности и "наполненности бытия", т.е. ничто иное как фундаментальный культурно-экзистенциальный модус-дискурс человеческого существования. Нам представляется, что такая идентичность является собственно виртуальной.

Относительно нее хотелось бы отметить ряд важных черт виртуального дискурса. Нас, очевидно, не смущает постоянное присутствие включенного телевизора на кухне или открытость всему миру через Интернет в домашнем компьютере. Нас не беспокоит открытость собственного частного взгляда публичным взглядам из виртуального мира. Дело здесь в том, что виртуальный дискурс нивелировал рамки-границы частного и публичного. Он предоставляет возможность спрятаться за анонимностью телезрителя или Ника. Более того, виртуальный симулякр (образ без подобия, копия копии, возможность и авантюра иного существования того же самого, фантазматический эффект - одновременно и не репрезентация, не модель, не иллюзия и видимость (см. Делез, 1998. С.229-239) полноты бытия позволяет быть кем угодно (не в воображении, а в действии-симуляции), - бесполом или полигендерным существом, монстром, строителем цивилизаций, шпионом, подсматривающим за частной жизнью других (обратите внимание на телепрограммы о судьбе личностей в масках, семейных дразгах, набирающее популярность прямое телеподглядывание - в криминальных хрониках, например). Технологии виртуальной реальности позволяют сделать такое перевоплощение-симуляцию "телесным", входя в виртуальные тела - так называемые аватары. Полидискурсивное пространство создает возможность полиидентичности, провоцирующую освобождение от реальной самотождественности и создающую запутанные и сложные гетерогенные серии идентичности.

Указанная тенденция нивелирования границ частного и публичного наглядно - ибо в крайне гипертрофированном виде - иллюстрируется в истории с импичментом американского президента, где частный сюжет государственного служащего стал с помощью СМИ в деталях известен всему миру. Причем получилось так, как будто все это произошло прямо у нас на глазах, как будто все всё видели, все успели подглядеть и (или вполне легально) рассмотреть. Симуляция в ВД взрывообразно пропитывает событием-смыслом все дискурсы, поля частного и публичного, усиливая свой эффект за счет стратегических возможностей, предоставляемых модусом виртуального: прячась за интригующие маски-серии "как бы", симулякр оборачивается и возникает как неумолимая фактичность. Это главная и одновременно всегда ускользающая игра симуляции ВД в гиперреальность. Что это значит? Просто уже едва ли возможно встретить гражданина и индивида (личность) - нам попадутся лишь призраки, поскольку сферы частного и публичного упразднены виртуальным дискурсом.

Однако, с другой стороны, за нами непрестанно водит взглядом око функционального виртуального дискурса - с дисплеев, мониторов, телеэкранов. "Машина" держит под контролем функционирование и то, как мы его отправляем в каждом нажатии клавиши, в каждом "дыхании" знака. *Techné* следит за дисциплиной-эмансипацией вынашивания смысла, организует манифестации и перцепции.

Еще одной существенной чертой виртуальной идентичности является то, что разрешение и преодоление экзистенциальной проблемы заброшенности,

конечности и оставленности выводит-забрасывает на новый уровень существования - игровой, или агональный. Это отметил в своей работе М. Хайм (Heim, 1991). Виртуальный дискурс становится агональным раем, где игровые возможности практически беспредельно широки. Это триумф и ликование homo ludens.

В дальнейших исследованиях виртуального дискурса необходимо, на наш взгляд, исследовательская разработка следующих сюжетов:

1. Работа механизмов манифестации (и вполне вероятно - прагматики) ВД, о которых вкратце мы уже вели речь выше: гиперреальность и "облучение".

2. Идеологический слой ВД - неолиберальный проект виртуальной эмансипации в 60-70 годах, стремительно расширяющая свое влияние современная калифорнийская идеология.

Сюда же тесно примыкает следующий сюжет:

3. Критический анализ социо-экономических и психологических разработок: теория информационного общества, дискурсивные модели «Я» в психологии, психоанализ ВД. Здесь хотелось бы наметить и пути междисциплинарного диалога.

4. Симуляции тела в ВД (дискурсивное виртуальное моделирование телесности - аватары, цифровая телесность, сексуальность в киберпространстве).

5. Особенности социо-функциональных дискурсов и связанных с ними идентичностей (профессиональных).

Литература

- Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М., 1999.
- Бодрийяр Ж. О соvrращении // AdMarginem`93, Ежегодник лаборатории пост-классических исследований ИФ РАН. М., 1994.
- Ван Дейк Т. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.
- Гаспаров Б. Язык. Память. Образ. М., 1996.
- Делез Ж. Логика смысла М., 1995.
- Делез Ж. Платон и симулякр // Интенциональность и текстуальность. Философская мысль Франции 20 века. Томск, 1998.
- Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна М.; СПб., 1998.
- Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. М., 1998.
- Heim M. The Metaphysics of Virtual Reality // Virtual Reality: Theory, Practice and Promise. London, 1991.

Логическая форма и практическая логика

Деян Деянов*

ПЛОВДИВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, БОЛГАРИЯ

Внимание как физический факт руководствуется биологическими соображениями: частные объекты могут быть съедобными или способными убить нас и, следовательно, полезно обращать на них внимание; но логические формы не являются ни съедобными, ни враждебными, и внимание к ним не представляет причины для долголетия. Это объясняет достаточно хорошо, почему появляется лишь несколько эксцентричных личностей, чье внимание склоняется к таким незначительным объектам.

Бертран Рассел, Рукопись 1913 г.

Для того чтобы быть в состоянии представить себе логическую форму, мы должны были бы быть в состоянии поставить себя вместе с пропозициями вне логики, а это значит - вне мира. Пропозиции не могут представлять логическую форму; она отражается в них. <...> Пропозиция показывает логическую форму действительности. <...> То, что может быть показано, не может быть сказано. <...> О чем нельзя говорить, о том следует молчать.

Людвиг Витгенштейн, "Логико-философский трактат"

Где-то между 1941 и 1943 г. Витгенштейн перечитывает "Трактат" и ему приходит в голову опубликовать свои новые мысли, отражая их в зеркале старых таким образом, чтобы они получили свое правильное освещение (Витгенштейн, 1988а. С.138). Я думаю, что такое правильное освещение получит и

* E-mail: kx_ch@cserv.mgu.bg

сам "Трактат", если в свою очередь он будет отображен на рукопись Рассела 1913 г.¹ Не будет преувеличением сказать, что до сих пор комментаторы больше говорили о травмирующем влиянии критики Витгенштейна на философские интересы Рассела (и в этом есть определенная логика), чем о влиянии этой рукописи Рассела на философскую биографию самого Витгенштейна. Меня будет интересовать именно это влияние - как на "Трактат", так и, через него, на "Философские исследования", притом не как влияние вообще, а как влияние, проникающее сквозь способы постановки (и решения) проблемы логической формы философской логикой с начала века по пятидесятые годы. По моему мнению - несмотря на то, что в "Философских исследованиях" нигде прямо не говорится о практической логике - этот труд Витгенштейна на самом деле являются первым (и пока непревзойденным) тематизированием этой рукописи Рассела.²

Еще в 1901 г. Рассел характеризует поле философской логики следующим образом: "Обсуждение неопределимых, которое составляет главную задачу философской логики, есть усилие увидеть ясно и заставить других увидеть ясно сущности (entities), о которых идет речь, так, чтобы сознанию приобрести такое знакомство (acquaintance) с ними, какое у него есть с красной или вкусом ананаса" (Russell, 1903. V). Легче узнать, добавляет Рассел, что такие сущности как неопределимые (напр. импликация, дизъюнкция, смысл отношения и т. д.) должны существовать, чем воспринять их: мы стоим перед процессом, аналогичным открытию Нептуна, с той разницей, что "его последняя стадия - поиск выведенной сущности - является труднейшей частью предприятия" (Russell, 1903. Там же). В Рукописи 1913 г. философская логика не только не проблематизируется, она даже не упоминается: рукопись Рассела является эпистемологической; однако все проблемы, блокирующие его мысль, являются логическими, и притом логика, которая может прояснить и, возможно, решить их, есть логика философская. Причина этих проблем, по мнению самого Рассела, - "хаотическое состояние нашего знания о первичных идеях в логике" (Рассел, 1997. С.186)³. Поэтому Рассел посвящает одну главу (как, впрочем, и немало отступлений в остальных) проблеме данных логики, т. е. нашего знакомства с логическими объектами (кванторами, логическими константами и т. д.) - все они мыслятся, хотя и с множеством оговорок, как логические формы. Знакомство с этими логическими формами, как мы увидим далее, "предполагается не только эксплицитным знанием о логике" (Рас-

¹ Рукопись 1913 года (изданная посмертно в 1984 г. под редакционным заглавием "Теория познания") - одна из немногих, которые сам Рассел отказался публиковать. Он как бы сам желал, парализованный беспощадной, по его собственному признанию, критикой Витгенштейна, забыть ее, вытеснить из творческого сознания. Поэтому такой интерес для историка логики представляют отрывки его лекций 1914 и 1918 г., в которых вытесненное возвращается (ср. (Деянов, 1997. С.7-20)).

² «Философские исследования» не только придают импульс занятиям Бурдые и Фейерабенда практической логикой, но и являются почвой, на которой вырастают "логика обыденного языка" Стросона (ср., например, (Strawson, 1977. С.231-233)) и анализ Остина "как словами делать вещи" (ср. (Остин, 1996)), чей перевод на язык теории практической логики будет несомненно продуктивным.

³ Нетрудно видеть, что то, что в Рукописи 1913 г. называется "первичными идеями", является смысловым наследником "неопределимых" 1903 г.

сел, 1997. С.166)⁴, а их эксплицирование, как видно из его Лоуэловых лекций 1914 г., - новая задача философской логики (ср. (Russell, 1926. С.53).

1. Проблематизирование логической формы: Рассел и молодой Витгенштейн

В Рукописи 1913 г. Рассел заявляет, что логическая форма не есть составляющая комплекса или пропозиции, чьей формой она является, а есть способ, которым сочетаются ее составляющие (Рассел, 1997. С.161). Она не может быть новой составляющей, добавляет он, воспроизводя довод своего неогегельянского критика Брэдли, "ибо если бы она была, должен был существовать новый способ связывания между (ней) и... (остальными) составляющими, и если мы опять примем и этот способ как составляющую, мы окажемся вовлечены в бесконечный регресс" (Рассел, 1997. С.161). Если прояснить все это на языке противоположности между формой и материей, можно сказать: составляющие определенного комплекса, если их мыслить в противоположность его форме, являются его материей. Поэтому Рассел различает материальный анализ, посредством которого открываются составляющие комплекса, и формальный, посредством которого открывается способ их сочетания (ср. (Рассел, 1997. С.181). К этому следует добавить, что он склонен предполагать, что между логическими объектами, с которыми у нас есть непосредственное знакомство, есть такие, о которых очевидно, что они не являются составляющими пропозиций, но есть и такие логические константы, "которые как будто суть сущности, встречающиеся в логических пропозициях", но "на самом деле относятся к логической форме и в действительности не являются составляющими пропозиций, в чьем словесном выражении являются их имена" (Рассел, 1997. С.161).

Проблема логической формы на самом деле появляется в рукописи еще при обсуждении нашего знакомства с отношениями как проблемы логической формы комплекса и позиций в ней (Рассел, 1997. С.144), так же и как проблемы способа, каким составляющие занимают позиции в зависимости от своего типа. Рассел неоднократно сдвигает значение выражения "позиция составляющих" (Рассел, 1997. С.144-151) - она является то позицией в комплексе, то позицией в связи с соотносящим отношением в нем и т. д.; так он забывает, что проблема позиции, прежде чем быть проблемой позиции в комплексе, является проблемой позиции в его форме. Так или иначе, здесь есть нечто более существенное, что Рассел не успевает сформулировать ясно: когда он говорит, например, что - если даны составляющие *a* и *b* и отношение предшествования - комплекс не определяется своими составляющими и своей формой,⁵ он на

⁴ Именно поэтому стало возможно, чтобы Дональд Мертц сказал, что Галилей подменил логику, принадлежащую предшествующей науке, логикой отношений задолго до того, как она была эксплицитно развита в конце прошлого века. Проблему, которую упускают и Мертц, и Рассел, можно сформулировать следующим образом: каковы логические последствия данной экспликации? Формулирование этой проблемы даст возможность, как я уже говорил, связать занятия философских логиков начала века с проблемным полем практической логики.

⁵ Рассел здесь имеет в виду, что, например, «"А предшествует В" и "В предшествует А" имеют одну и ту же форму, как и одни и те же составляющие, они от-

самом деле хочет сказать нечто более общее, нечто относящееся к любому x и любому y , способным занять одну из двух возможных для их логического типа позиций в логической форме определенного двухместного комплекса,⁶ как и к любому R , способному занять место соотносящего отношения (и асимметричному). Рассел не успевает сформулировать это ясно, ибо ему недостает языка: чтобы высказать это, нужны переменные двух существенно различных типов - переменные для неопределенных, но индивидуализированных составляющих (ср. (Рассел, 1903. С.93)); и для позиций в логической форме (также индивидуализированных), в которых составляющие могут стоять в зависимости от своего логического типа (более подробное обсуждение проблемы см. в (Деянов, 1997. С.12;16). Бросается в глаза, что эти пропозиции, не будучи аналитическими истинами формальной логики, в то же время относятся к соотношению материи и формы вообще (абстрагируются от конкретных составляющих конкретных комплексов) и, как таковые, не могут не быть априорными.⁷

Математический логик, который интересуется только дедуктивными возможностями, заложенными в логической форме, пользуется переменными для неопределенных составляющих, которые показывают⁸ (как сказал бы Витгенштейн) свою позицию в логической форме; то, что они занимают данную позицию, не может быть сказано; это так, потому что при формализации математического логика логическую форму нельзя изолировать, она только, так сказать, выступает на передний план (ср. (Деянов, 1997. С.16). Таким образом, проблема философского логика состоит в следующем: как по методу формального анализа изолировать логическую форму, чтобы сказать то, что при математическом анализе можно только показать? Переменные для позиций в логической форме дают именно такую возможность изоляции и потому именно они придают характерную физиономию философской логике. У Рассела таких переменных нет по той причине, что он не успевает освободить в себе философского логика от математического. Так открытие проблемы логической формы (которая не есть одна из составляющих, а способ их связыва-

ются между собой только "позицией" своих составляющих» (Рассел, 1997. С.144; ср. С.149).

⁶ Имеются в виду позиции референта и релятума.

⁷ Здесь остается только сделать заключение, что эти пропозиции а priori синтетически (хотя и не в смысле Канта) и что философская логика состоит из таких пропозиций, поскольку она не только эксплицирует логическую форму, но мыслит ее по отношению к предельно обобщенной (т. е. неопределенной) материи. Рассел, как мы увидим далее, не доходит до такого вывода.

⁸ Для Витгенштейна показывание является следствием того, что - в противоположность Расселу - логическая форма не есть нечто вне составляющих, которое сочетает их, а является заложенной в них самих как возможность присутствовать в состояниях вещей (ср. (Витгенштейн, 1988а. С.41)). Далее Витгенштейн проясняет смысл показывания следующим образом: "...пропозиция "fa" показывает, что в ее смысле присутствует объект а; пропозиции же "fa" и "ga" - что в них идет речь об одном и том же объекте" (Витгенштейн, 1988а. С.73) и именно здесь добавляет, что "то, что может быть показано, не может быть сказано" (Витгенштейн, 1988а. С.74). Нас здесь прежде всего интересует то, что "переменное имя "x" есть собственно знак псевдопонятия объекта" (Витгенштейн, 1988а. С.76), и что формальные понятия, такие как комплекс, свойство, отношение и т. д., означаются переменными, которые показывают то, что не может быть сказано, - способом своего присутствия в пропозициональных функциях.

ния) замутняется; так интерес математического логика задает границу, до которой формальный анализ в состоянии углубиться; так остается непроясненной логическая форма пропозиций философской логики самого Рассела.

Чтобы отобразить характерную для Витгенштейна противоположность между сказанным и показанным на теорию логической формы Рассела, я должен здесь ввести еще одну противоположность, которую Рассел упускает (хотя она и требуется его теорией): между собственным и наложенным логическим типом (ср. (Деянов, 1997. С.18)). Она состоит в следующем: в "а предшествует b" предшествование мыслится как соотносящее отношение, т. е. согласно его собственному типу, тогда как в "предшествование обратное следованию" оно мыслится как нечто, имеющее свойства, то есть согласно наложенному ему логическому типу. Различение при формальном анализе собственного от наложенного логического типа даст возможность философскому логика различить форму как форму от формы, которой наложен какой-либо тип (напр. тип вещи, когда логик эксплицировал ее, чтобы исследовать ее свойства)⁹; так, асимметричность предшествования в "а предшествует b" принадлежит самой форме пропозиции, тогда как в "предшествование обратное следованию" она мыслится как формальное свойство. Когда Рассел указывает на наше знакомство с логической формой еще "до того, как начинается эксплицитное мышление о логике" (Рассел, 1997. С.162), он не замечает одного существенного следствия из своих слов: при самом эксплицировании логической формы ей наложен некоторый тип и это изменяет ее логически; форма как форма, как уже было сказано, имплицитна.

Итак, я могу обобщить: для Витгенштейна, как и для Рассела, переменные служат для неопределенных составляющих, которые только показывают свои позиции в логической форме; вместе с тем Витгенштейн вообще отказывается от всяких наложенных типов (отсюда и методологический императив молчания); тем самым логическая форма у Витгенштейна остается имплицитной, даже когда все составляющие заменены переменными. Если все это так, то не стоит удивляться, что Витгенштейн не хочет, чтобы его книга была озаглавлена "Философская логика": "Не существует такой вещи, как философская логика. (Кроме как если кто-то скажет, что когда вся книга бессмысленна, то и заглавие должно быть бессмысленным)" (Wittgenstein, 1973. С.20). Вместе с тем, однако, если принять противоположность между собственными и наложенными типами, не было бы натяжкой сказать, что пропозиции "Трактата" - это пропозиции философской логики, в которых - посредством афоризмов о том, чего нельзя сказать, а всего лишь показать - как раз это и высказано. Отсюда как бы следует, что я принимаю иронию Рассела: после того как Витгенштейн сказал слишком много о том, о чем нельзя говорить, об этом,

⁹ Из этого следует, что когда Рассел, вслед за Лейбницем, утверждает, что логические пропозиции истинны только в силу своей формы, он не различает форму как форму от формы формального логика, который исследует ее свойства и потому мыслит ее как вещь. Поэтому пропозиция «(x)(y) если xRy, то не-yRx» (в том случае, если R - асимметричное отношение) истинна не в силу своей формы, а в силу формы всех тех пропозиций, из которых эксплицировано то, что Рассел мыслит как эксплицированную форму. По своей собственной форме эта логическая пропозиция субъектно-предикатна, хотя ее субъект и предикат весьма необычны: она сообщает нам, что вещь если xRy, то не-yRx имеет свойство быть истинной при всех значениях x и y (в том случае, если R - асимметричное отношение).

очевидно, становится возможным говорить. Но это не совсем так: нельзя забывать, что при высказывании логической формы теряется форма как форма, показанность показанного; теряется кардинальное в том, что Витгенштейн называет "кардинальной проблемой в философии" (ср. (Wittgenstein, 1979)¹⁰.

Возможность все-таки высказать показанное, очевидно, ставит нас перед двумя проблемами, которые не стояли перед Витгенштейном: а) каковы условия этой возможности? и б) что случается с показанным, когда мы вынуждены высказать его? Я обращусь к ним в обратном порядке. Принуждение высказывания взрывает, как это мы уже видели, саму показанность показанного: форма мыслится как вещь, как свойство и т. д.; и это имеет место не только в математической, но и в философской логике (например, "реляционные пропозиции не сводимы к субъектно-предикатным"). При этом условия, при которых возможно высказывание того, что можно только показать, совсем различны. В математической логике это нечто вроде изоморфизма, при котором логические формы безразличны к определенности определенных составляющих¹¹, к особенности материи; если же обратиться к условиям, при которых философскому логике возможно высказать то, что можно только показать, то очевидно, что столкновение между двумя несоизмеримыми мирами придает показанному биполярность (каковой оно не имело как показанное), так что по отношению к одному из миров его пропозиции а р1о1г1 истинны, а по отношению к несоизмеримым с ним миром - а р1о1г1 неистинны¹². Как мы увидим, именно то, что Витгенштейн пришел к проблеме несоизмеримости - хотя и поставленной не на этом языке, - заставит его в период "Философских исследований" переосмыслить "Трактат" и прежде всего - противоположность между сказанным и показанным.

¹⁰ Таким образом, я принимаю заявление Витгенштейна, что тезис о радикальной противоположности между сказанным и показанным - хотя и в ослабленном виде - неопровержимо и окончательно истинен (ср. (Витгенштейн, 1988а. С.51)). Здесь я забегаю вперед и скажу, что, хотя этот тезис нигде не воспроизводится буквально в его "Философских исследованиях", он остается и там невыявленным методологическим императивом мышления Витгенштейна.

¹¹ Что является очевидным условием введения переменных для неопределенных составляющих, посредством которых, как мы видели, осуществляется методологическая процедура, обозначенная формальными логиками как "формализация".

¹² В период "Трактата" Витгенштейн обозначает словом "биполярность" то, что всякая имеющая смысл пропозиция может быть как истинна, так и неистинна. Отсюда следует, что, поскольку они не могут быть неистинны, такие пропозиции как "отношения не суть свойства" или "тождество не есть отношение" не говорят ничего, они не имеют смысла (в техническом смысле слова) - они хотят высказать то, что может быть только показано. Столкновение между двумя логически несоизмеримыми мирами дает возможность таким пропозициям приобрести биполярность, если они неистинны по отношению к одному из этих двух миров. Лишь это столкновение дает возможность - посредством введения переменных для позиций в логической форме - изолировать ее.

2. Логическая форма практической логики в окуляре ментального микроскопа: через Рассела

Аллюзия в этом заглавии с телескопом расселовского философского логика, ищущего на логическом небе неопределимые, вполне ясна. То, что скорее подлежит прояснению, это замена телескопа Рассела микроскопом: она происходит оттого, что исследователю практической логики приходится отказываться от возвышенного чувства к небесным далям ради чувствительности к мелкой детали. Эта чувствительность к мелкой детали, остающейся незамеченной для невооруженного глаза, нужна потому, что предмет исследования локализован в зоне имплицитного, неявного (как сказал бы Полани) знания - в трех из его наложенных друг на друга слоев. Я имею в виду слой имплицитности (как я уже сказал) самой логической формы, как и слою имплицитности составляющих пропозиции и имплицитных предположений в логическом выводе. Прежде чем перейти к двум слоям, которые я не рассмотрел до сих пор, я вернусь к тезису, что логическая форма как форма по самой своей сущности имплицитна и что при эксплицировании она изменяется логически, - для того чтобы положить ее в контексте того, что далее - после структурного перевертывания притчи Платона - я назову "притчей о философской пещере".

Здесь, видимо, нужно анализировать глубокую амфиболию, проходящую - с оговорками - от Платона¹³ до начала нашего века: когда говорят "сама форма" (или же "само отношение" и т. д.), не различают две вещи: "чистую форму", т. е. "форму саму по себе" от формы как таковой, т. е. как формы; или "чистое отношение", т. е. расселовское "отношение в себе", от того, что он называет "соотносящим отношением" (ср., например, (Рассел, 1997. С.151-152)). Освободившись от этой амфиболии, мы можем проследить генеалогию этих "чистых форм", "чистых отношений", и установить, что: форма¹⁴ или отношение мыслятся согласно наложенному на них типу вещи; что только плохо сработанная - вследствие неразличения собственного от наложенного типа - абстракция дает нам возможность извлечь то, что является инвариантным для "чистой формы" (или для "чистого отношения"); и что постановка этих чистых форм и отношений как исходных - всего лишь эффект перевернутой точки зрения философа, эффект его, как сказал бы Бурдье, *illusio* (ср. (Deyanov, 1999. С.232)). Именно эта перевернутость точки зрения философа, на которую по-своему обратили внимание еще Маркс и Ницше, будет далее обсуждена посредством притчи о философской пещере.

¹³ У Платона Сократ говорит Симию: "Значит, необходимо, чтобы мы знали само одинаковое до того времени, когда мы в первый раз увидим одинаковые вещи и заключим, что все они стремятся стать такими, как одинаковое, но все не успевают." ("Федон". 74e). Здесь проблема не в том, принять ли ответ Платона или нет, а в том, что европейские философы приняли отвечать на вопрос Платона о "самом одинаковом".

¹⁴ Говорить без оговорок о собственном типе логической формы - поскольку она, как я сказал, не составляющая, а способ сочетания составляющих, которые в собственном смысле слова принадлежат к какому-нибудь типу, - было бы неуместно. Не требует сомнения, однако, что аналогия, благодаря которой мы говорим о собственном типе логической формы, законна: если то, на что мы налагаем наложенный тип, есть тип собственный, то и форма как форма есть собственный тип логической формы.

Здесь нам нужно вернуться к расселовской проблеме позиций в логической форме (ср. (Рассел, 1997. С.144))¹⁵, например, позиций референта, отношения, релятума в двухместной реляционной пропозиции, и к проблеме того, что не всякая составляющая может занимать любую позицию. Тогда, когда составляющая займет позицию, которую она не может занимать, сама логическая форма пропозиции оказывается неистинной¹⁶, а пропозиция - алогичной (напр. "Больше - больше этого стула"); но, как мы знаем, неклассическая трансцендентальная логика призвана исследовать не только практическую логичность, но и алогизмы практической жизни.¹⁷ Поскольку же логическая форма не есть составляющая пропозиции, чьей формой она является, у нее нет позиции; но в пропозиции, где на нее наложен тип и она является составляющей, она должна занять позицию для составляющих такого типа. В практической логике (например, в логике перформативов Остина, таких как обещание, клятва, проклятие и т. д. - ср. (Остин, 1996. С.13-23; Петков, 1999)), как мы увидим далее, проблема позиций в логической форме приобретет новую смысловую плотность.

Эта проблема, однако, оказывается более многомерной, когда мы дадим себе отчет в том, что в комплексе есть составляющие, которые по самой своей сущности имплицитны (в комплексе, мыслимом через пропозицию "чаша более блестяща, чем тарелка", такой составляющей является не только лампа, которая бросает свой свет на них, но и само отношение освещения); и что, следовательно, в логической форме, которая сама имплицитна, имеются позиции для имплицитных составляющих, т. е. пропозиции по своей сущности эллиптичны¹⁸. Легко можно увидеть, что в расселовской теории суждения как

¹⁵ На самом деле еще Аристотель, не обсуждая этого подробно (из-за того, что в своей силлогистике он не мыслит через исследованную в "Метафизике" противоположность между формой и материей), замечает проблему позиций в логической форме тогда, когда он различает среднее (т. е. средний термин) "по природе" и среднее "по положению" - ср. (Луканин, 1984. С.101-102). Это различие, хотя и проведенное не на этом языке, далее оказывается неопределимым для полужабытой, но доказавшей свою продуктивность в критике Марксом политической экономии, силлогистики Гегеля.

¹⁶ Логике, для которого истинной или неистинной может быть пропозиция, говорить об истинности логической формы было бы неуместно, если не нелепо. Здесь нужно иметь в виду, что само отношение между формой и материей, т. е. между формой комплекса и составляющими, которые занимают позиции в этой форме, принадлежит к логической форме (хотя оно и не представляет интереса для формального логика, интересующегося только ее дедуктивными возможностями). Если это так, то проблема того, занимают ли составляющие позиции, адекватные их логической форме, является проблемой истинности логической формы; тогда "больше - больше этого стула" имеет неистинную логическую форму (это можно рассматривать как философско-логический анализ понятия бессмысленности).

¹⁷ О неклассической трансцендентальной логике и о методах, посредством которых она может исследовать алогизмы практической жизни, см. (Деянов, 1999).

¹⁸ Это замечает и Витгенштейн периода «Философских исследований»: «Предложение является эллиптическим не потому, что в нем пропущено нечто, которое мы мыслим, когда произносим его, а потому, что оно сокращено - в сравнении с определенным образцом нашей грамматики» (Витгенштейн, 1988б. С.149).

многоместного отношения¹⁹ субъект и отношение понимания (суждения, сомнения и т. д.) должны занимать позиции имплицитных составляющих. Если обратиться к логике остиновских перформативов, мы увидим аналогичное: когда некто, разбивая бутылку, дает имя кораблю, то он и все те, кто приглашен присутствовать на церемонии (и даже бутылка), занимают позиции в логической форме перформатива; если они встанут в позицию, которую они не могут занимать, то перформатив окажется неуспешным, а его логическая форма (т. е. всеобщая и общезначимая для данного мира допредикатная очевидность - см. (Деянов, 1999б); ср. (Деянов, 1998) - неистинной. Остин пропустил заметить, что хотя сам перформатив не может быть истинным или неистинным²⁰, но истинной или неистинной может быть его логическая форма; и что внимательный анализ показывает, что неуспешность перформатива вызывается в немалой степени неистинностью этой формы, т. е. дефекту в практической логике.

Следующий слой - слой энтимем как логических выводов, у которых есть посылки, которые по своей сути имплицитны (т. е. допредикатные очевидности): когда мы думаем, что "греки - люди и, следовательно, смертны", мы мыслим людей как смертных; и только если эта безвопросная очевидность будет поставлена под вопрос при столкновении с миром, несоизмеримым с нашим, с миром, в котором мыслят людей как бессмертных, мы эксплицируем посредством предикирования: "люди смертны"; таким образом, не энтимемы оказываются сокращенными силлогизмами, а как раз наоборот - силлогизмы оказываются расширенными энтимемами (ср. (Деянов, 1984. С.34))²¹. Здесь мы могли бы обобщить сказанное и рассматривать таким образом интерпретированную энтимему как метонимию всякого логического вывода с имплицитными посылками (несмотря на то, силлогистически или асил-

¹⁹ Расселовская теория суждения как многоместного отношения мотивирована его отказом рассматривать пропозицию как единый объект акта суждения, объект, который имел бы свойство истинности или неистинности (так же, как розы имеют свойство быть белыми или красными, иронизирует Рассел); если пропозиции - единые объекты, заключает Рассел, то и неистинные пропозиции имеют онтологический статус, несмотря на то, что факты, в силу которых они неистинны, не существуют. Согласно теории суждения как многоместного отношения (в версии, предложенной в Рукописи 1913 г.) - теории, избегающей эти ненужные допущения - суждение представляет собой отношение между субъектом, составляющими мысленного в пропозиции комплекса, и логической формой.

²⁰ "В начале я обратил ваше внимание на несколько примеров простых высказываний типа, называемого... перформативным. На первый взгляд они имеют внешний вид или по крайней мере грамматический грим "утверждений", но вопреки тому при более внимательном рассмотрении оказывается, что это просто не есть высказывания, которые могут быть "истинными" или "неистинными". А "истинность" или "неистинность" является по традиции характерным признаком утверждения" (Остин, 1996. С.23). Еще Хайдеггер в своей критике логики в "Бытии и времени" противопоставляет этой традиции истину как открытость, "существование Dasein в истине" как "исходный феномен истины" (ср. (Хайдеггер, 1997. С.220-222). Фуко же говорит: "Мендель говорил истину, но не был в "истинном" биологического дискурса своего времени" (Фуко, 1992. С.17). Не впускаясь в запутанные философские обсуждения, скажу только, что "не-быть-в-истине" (и у Хайдеггера, и у Фуко) можно анализировать как неистинность логической формы.

²¹ Этот тезис может быть обсужден в деталях только на техническом языке неклассической трансцендентальной логики.

логистически дедуктивен этот вывод, является ли он выводом по аналогии или индуктивным); и заключить, что в практических логиках то, что говорится, намного меньше, чем то, что остается в молчании. Этот тезис - о сущностной энтимематичности логического вывода - предлагает, по моему мнению, существенные возможности перед тем, что Тодор Петков называет логикой молекулярных перформативов (ср. (Петков, 1999)): иначе мы вряд ли могли бы прояснить, почему мы думаем, что этот перформатив следует логично из предыдущего, а тот - нет²². Таким образом, к тезису о сущностной имплицитности логической формы мы могли бы прибавить тезисы о сущностной эллиптичности пропозиций и сущностной энтимематичности логического вывода; и исследовать, как эллиптичность пропозиции и энтимематичность логического вывода заложены в их логической форме²³.

3. Практическая логика и критика логики Витгенштейном

Теперь я могу перейти к вопросу о том, каким образом мысли "Философских исследований"²⁴ можно отобразить на мысли "Трактата", чтобы они получили правильное освещение (ср. (Витгенштейн, 1988б. С.138)). Прежде всего здесь нужно начать с нового отношения к логике логиков: «Математическая логика' совершенно деформировала мышление математиков и философов, объявив поверхностное толкование форм нашего повседневного языка анализом структур фактов. Разумеется, здесь она лишь продолжила сооружение аристотелевской логики" (Витгенштейн, 1988в. С.592). Отсюда нужно проследить внимательно, как критика логики логиков сосредоточивается на отдельных ее проблемах (логическое заключение, отрицание, противоречие и т. д.); затем перейти к тому, что сам Витгенштейн имеет в виду под "логикой" и насколько эта логика воспроизводит некоторые из тезисов "Трактата"; и наконец, дойти до вопроса о том, предлагает ли Витгенштейн нечто вроде идеи о практической логике (хотя нигде и не говорит об этом).

Критикуя философскую логику «Трактата» (здесь я не буду обсуждать, деформирует ли ее Витгенштейн при возвращении к ней), он хочет избежать то недоразумение, что "в логике мы говорим об идеальном языке", к которому обыденный язык только приближается - "как будто наша логика - логика без-

²² Именно такой алогичностью является отказ принять дар или дать обратный дар; отказ сказать "Да", когда вступаешь в брак и уже надела платье невесты; замена воскресной проповеди священника политической агитацией после того, как он уже надел рясу и встал за кафедру, и т. д. Когда я принимаю дар, я не говорю: "любой дар должно принимать; то, что ты мне даешь, является даром; значит, я приму твой дар"; я говорю: "Спасибо!". Внимательный анализ скажет нам, что последняя реплика является чем-то вроде перформативной энтимемой; не принять дар, говоря: "Нет, не возьму! У меня есть свое!" - есть алогизм именно по отношению к этой энтимеме.

²³ Все это - очевидное следствие из конечности человека - проблема скорее в том, чтобы исследовать формы этой конечности и их влияние на логику, на которой он мыслит.

²⁴ Здесь я буду ссылаться также на "Замечания по основаниям математики" (Витгенштейн, 1988в), так как они не только несут на себе следы почерка Витгенштейна периода "Философских исследований", но и являются рукописью, в которой формируется его новая философская парадигма.

воздушного пространства" (Витгенштейн, 1988б. С.183; ср. С.190). Как раз наоборот: у обыденного языка есть своя логика или, поскольку Витгенштейн мыслит его как семью языковых игр²⁵, у каждой из этих игр есть своя логика, так что даже "логический вывод - это часть языковой игры. И тот, кто делает логические заключения в языковой игре, следует определенным инструкциям, которые были заданы при изучении самой языковой игры" (Витгенштейн, 1988в. С.617)²⁶. Витгенштейн формулирует свой новый методологический императив в форме афоризма, которым он отделяет себя от предшествующей философской логики: "Чем пристальнее мы рассматриваем действительный язык, тем больше становится противоречие между ним и нашим требованием. (Я не смог получить кристаллическую решетку логики; а она была для меня требованием). Противоречие становится невыносимым; есть опасность, чтобы требование превратилось в нечто пустое. Мы поскользнулись там, где нет трения, и поэтому условия в некотором смысле идеальны, но как раз потому мы и не можем ходить. Мы хотим ходить; тогда нам нужно трение. Назад, к шершавой земле!" (Витгенштейн, 1988б. С.192; ср. С.197). Не будет натяжкой сказать, что логика, которая помогала нам справляться с неровностями этой «шершавой земли», - хотя, как я сказал, Витгенштейн нигде не говорит этого в явном виде - есть именно практическая логика, к которой не без его влияния обращаются Бурдые и Фейерабенд. "Философские исследования" не предлагают теории практической логики, но они обсуждают под формой мысленных экспериментов некоторые из ее невралгических - притом собственно логических - проблем.

Критика логики логиков, проблематизирование этой логики через догадку языковых игр направлена на отказ от теории, согласно которой "каждое слово имеет значение" и "оно есть предмет, который слово замещает" (Витгенштейн, 1988б. С.140), и которую философы - от Августина²⁷ до молодого

²⁵ С помощью выражения "языковая игра" Витгенштейн хочет подчеркнуть, что "говорение на языке - часть деятельности или форма жизни" (Витгенштейн, 1988б. С.151); перечисляя некоторые из этих - я бы сказал, несоизмеримых - игр, он говорит: "Легко можно представить язык, который состоит из одних приказов и рапортов в сражении. Или язык, состоящий только из вопросов и выражений подтверждения и отрицания. И бесконечное множество других языков. - Таким образом, представить себе язык означает представить себе форму жизни" (Витгенштейн, 1988б. С.147). Логика этих игр, вернемся к Остину, очевидно перформативны. Говоря, что языковые игры несоизмеримы, я имею в виду, что не существует ничего такого, что было бы общим для всех них, что между ними есть отношение семейных сходств (ср. (Витгенштейн, 1988б. С.156-157): каждый член семьи может быть в чем-то похож на любого из остальных, но из этого не следует, что у них всех есть какое-нибудь общее свойство).

²⁶ Внимательному читателю "Философских исследований" очевидно, что "логика" употребляется здесь в двух смыслах: а) как нечто подлежащее критике - логика профессиональных логиков; б) как подлежащая прояснению логика языковой игры (как в нашем случае или в случае, когда Витгенштейн предлагает представить себе "более примитивную" логику, в которой могут быть отрицаемы только предложения, которые еще не содержат отрицания (Витгенштейн, 1988б. С.309)).

²⁷ Приведя в начале "Философских исследований" знаменитый пассаж из Августина о ребенке, который учится языку, слушая, как взрослые "называют именно то, на что желают указать", Витгенштейн говорит: "Августин не говорит о различных видах слов. Тот, кто описывает обучение языку этим способом, в первую очередь, считаю я, думает о существительных, таких как 'стол', 'стул', 'хлеб', как и

Рассела - принимают либо молча, говоря об этом прямо. Эта теория значения "обвивает функционирование языка туманом, который делает невозможным ясное видение" (Витгенштейн, 1988б. С.142). Туман, считает Витгенштейн, рассеется, если мыслить о значении слов посредством метафоры ящика с инструментами: "в нем есть молоток, клещи, пила, отвертка, измерительная линейка, банка для клея, клей, гвозди и винты. Тем же образом, каким различаются функции этих предметов, различаются и функции слов" (Витгенштейн, 1988б. С.145); и нам стоит только наблюдать за работой языка²⁸, чтобы установить эти функции. Так у слова "скальпель" есть совершенно различные функции в языковой игре, в которой врач говорит медсестре "Скальпель!", в несоизмеримой с ней игрой, в которой тот же врач предупреждает своего ребенка, чтобы тот не порезал палец, перформативом: "Скальпель острый!", и в игре, в которой кто-то констатирует: "Это - скальпель." Из этого очевидно ясно, что остинно разграничение между перформативами и констативами (а, следовательно, и проблематика перформативных логик, тематизированная Петковым) - следствие того, что открыл Витгенштейн.

Здесь стоит немного отклониться от анализа воззрений Витгенштейна. Лет за двадцать до него Хайдеггер в "Бытии и времени" сопоставляет - разграничивая герменевтическое "как" от апофантического - логику критике, в некоторой степени аналогичной витгенштейновой, но с точки зрения экзистенциальной аналитики Dasein. Совсем огрубленно: говоря о высказывании "молот тяжел" как о вторичном модусе толкования - вторичном по отношению к толкованию молота как молота в практике Dasein и, скажем, его замене более легким "без лишних слов", - он добавляет, что само это высказывание может иметь функции совсем не теоретические (как предполагают логики, думая, что здесь говорится, что вещь-молот имеет свойство быть тяжелой), а практические, и означать: "Слишком тяжел! Дай мне другой!" (ср. (Хайдеггер, 1997. С.157-158)). Между этим высказыванием и собственно теоретическим есть много промежуточных степеней: "Высказывания о событиях в окружающем мире, 'доклады об обстановке', ... рассказ о случившемся. Эти 'предложения' не поддаются, без существенного искажения их смысла, редукции к теоретическим предикатным предложениям" (Хайдеггер, 1997. С.158; ср. С.162). Но у них есть своя практическая - скажу это опять на языке Остина - перформативная логика, которая подлежит исследованию с позиции неклассического трансцендентального логического подхода (и очевидно, что Хайдеггер - как и Витгенштейн - разграничивает задолго до Остина констативы и перформативы).

Мы могли бы думать, что - критикуя логику логиков, проблематизируя ее через работу языка в языковых играх - Витгенштейн навсегда отказывается от того, что он ранее называл кардинальной проблемой философии - проблемой противоположности между сказанным и показанным. Это, однако, со-

об именах людей, и лишь затем об именах определенных действий и свойств; а об остальных видах слов - как о чем-то, что раскроется само по себе" (Витгенштейн, 1988б. С.140-141).

²⁸ Поскольку философские проблемы и у позднего Витгенштейна "не являются эмпирическими, а разрешаются посредством вникания в работу нашего языка" (Витгенштейн, 1988б. С.193), постольку и наблюдение, о котором говорит Витгенштейн, является не эмпирическим, а грамматическим (ср. (Витгенштейн, 188б. С.188); грамматическое наблюдение, как мы увидим далее, предполагает припоминание.

вершенно не так: и здесь логическая форма²⁹, хотя Витгенштейн уже не говорит на этом языке, представляет собой нечто такое, что не может быть сказано, а только показано. О логиках языковых игр он говорит: "Шаги, которые не ставятся под сомнение, - логические выводы. Но они бесспорны не потому, что 'безусловно соответствуют истине'... Здесь совсем не идет речь о каком-то соответствии высказываемого реальному; скорее, логика предваряет любое такое соответствие в том же самом смысле, в каком установление метода измерения предваряет правильность или ошибочность того или иного утверждения о длине" (Витгенштейн, 1988в. С.471-472)³⁰. Потому, когда Витгенштейн говорит, что «нечто, которое благодаря своей форме выглядит для нас как эмпирическая пропозиция, а на самом деле - грамматическая» (Витгенштейн, 1988б. С.243) - имея в виду разницу, например, между "Любая палка имеет длину" и "Этот стол имеет ту же длину, как вон тот стол", - он добавляет, что "образ, прикрепленный к грамматической пропозиции, однако, мог бы только показать, что называют 'длиной палки'», и ставит под сомнение возможность противоположного образа, так как его следовало бы прикрепить к "отрицанию пропозиции $\neg p$ " (Витгенштейн, 1988б. С.244). Этим он возвращается к противоположности между сказанным и показанным и к требованию биполярности, но уже предполагая, что есть условия, при которых пропозиции о логической форме (здесь - грамматические пропозиции) могут все-таки быть высказаны (иначе и быть не может, после того как существуют несоизмеримые языковые игры).

После сказанного я могу перейти к некоторым логическим деталям. Мы уже видели, что Витгенштейн улавливает проблему сущностной эллиптичности пропозиций; здесь мы увидим, что он улавливает еще более отчетливо проблему сущностной энтимематичности логических заключений, которые, как я сказал, для него являются частью языковых игр³¹ (Витгенштейн, 1988в. С.617). Вслед за этим он говорит: «Представь себе процесс, по ходу которого тот, кто толкает тележку, приходит к выводу, что он должен очистить ось ко-

²⁹ Витгенштейн как бы отказывается говорить о логической форме, отказываясь от единственности логики во имя логик (грамматик) языковых игр, которые, как мы увидим, к тому же не устойчивы во времени. После этих оговорок мы можем вернуться к языку "Трактата" и к его открытиям. Так, мы можем сказать, что именно логические формы являются тем, что наблюдается в "грамматическом наблюдении" (по Витгенштейну): они являются данными логики. Различие грамматического наблюдения от эмпирического Витгенштейн проясняет с помощью афоризма Августина о времени как чем-то таком, о чем он знает, что оно такое, когда его не спрашивают, и не знает, когда приходится это объяснять; потому "оно является чем-то, что нужно вспомнить" (Витгенштейн, 1988б. С.188). Когда данные логики нам даны, мы не объясняем их; когда мы их объясняем, они нам уже не даны (потому "работа философа - это коллекция воспоминаний" - (Витгенштейн, 1988б. С.197)).

³⁰ Притом, если продолжить эту аналогию и сказать, что у нас есть под рукой различные методы измерения, можно достичь проблемы несоизмеримости между логиками различных языковых игр; надо только иметь в виду, что - в противоположность методам внешним к тому, что измеряемо, - логики внутренне присущи соответствующей игре.

³¹ Здесь нельзя забывать о методологическом императиве, сформулированном Витгенштейном по другому поводу: "Поэтому необходимо видеть, как мы делаем умозаключения в языковой практике; чем является процесс умозаключения в языковой игре" (Витгенштейн, 1988в. С.427).

леса, поскольку толкать тележку стало слишком тяжело. Я имею в виду не то, что он говорит себе: "Всегда, когда слишком тяжело толкать тележку..." - а то, что он просто действует так. И случается, что он кому-то крикнет: "Тележка не идет, очисти ось!" - или же: "Тележка не идет. Значит, надо очистить ось» (Витгенштейн, 1988в. С.617)³². И еще: "Если ты заглянешь этой мышке в пасть, то увидишь два длинных острых зуба. - Откуда ты это знаешь? - Я знаю, что они есть у всех мышей, а значит, и у этой. (И при этом не говорят: 'Эта вещь тоже является мышью, а значит, у нее тоже есть...')" (Витгенштейн, 1988в. С.592). Не может быть сомнения, что - как грамматические - эти наблюдения тонки: так работает наш язык, таковы логики языковых игр; когда при этом Витгенштейн добавляет, что «закключение - это переход к определенному утверждению; и значит, также и к поведению, соответствующему данному утверждению. 'Я делаю выводы не только в словах, но и в действиях'» (Витгенштейн, 1988б. С.296), он делает свой вклад в логику молекулярных перформативов. И все-таки здесь, в этих тонких грамматических наблюдениях, нет ни теории практической логики, ни даже метода ее исследования, а только хорошие догадки и внимательные мысленные эксперименты.

Тематизируя логический вывод как часть языковых игр, я не могу не обратить внимание на проблему неумолимости логических законов, жесткости логического принуждения и логических машин (ср. (Витгенштейн, 1988в. С.460-464). Замечая, что кроме неумолимых, т. е. однозначных правил заключения, есть и неоднозначные - "такие, которые открывают перед нами альтернативы" - Витгенштейн вводит метафору логической машины как "всепроникающего эфирного механизма" и тут же добавляет: "Следует остерегаться такого образа" (Витгенштейн, 1988в. С.461-462). Следует остерегаться, ибо мысля о любой машине как об идеально слаженном механизме, который "как бы уже заключает в себе свой собственный образ действия", мы не мыслим о действительной машине, чьи части могли бы погнуться, сломаться, расплавиться и т. д.; забываем, что "машина могла бы двигаться и иначе" (Витгенштейн, 1988в. С.462-464). Если вернуться к логической машине и неумолимости логики, это предупреждение, в сущности, заставляет нас осознать, что логические формы и законы практических логик, логик языковых игр, не времяустойчивы. Немного ниже Витгенштейн задает себе вопрос: "Вечны и неизменны ли наши законы вывода?" и добавляет: "Разве дело обстоит не так: коль скоро человек мыслит, он делает логические выводы... Это, по видимому, означает: коль скоро то-то не ставится под сомнение вообще. Шаги, которые не ставятся под сомнение, - логические выводы" (Витгенштейн, 1988в. С.471). По-моему, если это - ответ на вопрос, то он не удовлетворителен; несомненно, что если наши законы вывода не времяустойчивы, то они не неизменны; но почему же им не быть вечными?³³

³² На первый взгляд есть что-то удивительное в том, что сразу же после этого Витгенштейн говорит: "Это ведь и есть некий вывод. Правда, не логический." Удивление, однако, исчезнет, если вспомнить, что Витгенштейн употребляет слово "логика" двусмысленным образом и здесь он имеет в виду логику профессиональных логиков, а не языковых игр (логика как "своего рода ультра-физика, описание 'логического строения' мира, воспринимаемого путем своеобразного ультра-опыта (вкупе, скажем, с пониманием)" (альтернативный перевод: "ультра-опыта (например, посредством разума)") - ср. (Витгенштейн, 1988в. С.425).

³³ Ответ, который предложил бы я, - "они вечны, но и не неизменны" - парадоксален только на первый взгляд, пока мы не освободились еще от одной из докс

Здесь я оставлю "Философские исследования", совершенно не обращаясь к некоторым логическим проблемам, которые, будучи неопределимыми для теории практической логики, здесь увели бы нас в сторону (отрицание, которое не может быть итерировано в 'более примитивных' логиках; возможность мыслить нечто как различное от самого себя; сомнение в том, что противоречие немислимо в логиках языковых игр и даже предположение, что оно может иметь логические функции в них: "Противоречие можно понимать как знак богов, говорящий мне, что надо действовать, а не размышлять" (Витгенштейн, 1988в. С.564))³⁴. Они увели бы нас в сторону, так как "Философские исследования" интересуют меня только как парадигма философской логики - притом в ее отображении на "Трактат" так, чтобы она получила свое "правильное освещение". Может быть, здесь стоит дать Витгенштейну возможность самому обобщить эту парадигму, так как он ясно давал себе отчет об эффекте философской пещеры и стремился избежать его, переформулируя цель своего философствования. Задав себе вопрос об этой цели, он отвечает сам себе: "Показать мухе на выход из банки, в которую она попала" (Витгенштейн, 1988б. С.258).

4. Философская пещера: практическая логика и конфликт между полисом и философами

Прежде чем закончить, я хотел бы только бросить вызов: проблема приложимости теории практических логик касается не только возможности их эмпирического исследования³⁵, а результаты такого исследования будут не

философской пещеры, являющейся эффектом перевернутой точки зрения философа. В "Тимее" Платон говорит о времени, что оно - "подвижный образ вечности" ("Тимей". 37с). Если, однако, выйти из философской пещеры и освободиться от нее, становится возможным перевернуть эту доксу и сказать: "вечность - это обновленный образ времени". Поэтому наши законы вывода могут быть одновременно вечными и изменчивыми, т. е. не быть времяустойчивыми. На языке "Трактата" это могло быть сказано, хотя и огрубленно, следующим образом: то, что случается в мире, в пространстве и времени, изменяет границы мира, которые не являются ни пространственными, ни временными.

³⁴ Но в других языковых играх, несоизмеримых с этой, противоречие может иметь как раз противоположные перформативные функции: "Предположим, что противоречие, например, в приказе, вызывает удивление и нерешительность, - и вот мы говорим: в этом и состоит цель противоречия в данной языковой игре" (Витгенштейн, 1988в. С.565).

³⁵ Я хочу подчеркнуть два неклассических методологических императива, которым мы следовали в этом исследовании, оба связанные с онтологическим принципом неполноты бытия у Мамардашвили: а) учет влияния, оказываемого на наблюдение фактом, что наблюдатель наблюдаем наблюдаемым; б) экспериментирование с формой эксперимента, которое перемещает исследовательский интерес от воспроизводимости эксперимента к границам этой воспроизводимости. Оба момента требуют от нас «конструирования», как сказал бы Шютц, идеальных типов по ходу действия, т. е. "гомункулов", совершенно отличных от шютцовских. "Гомункул не рождается, он не растёт и не умрет. У него нет надежд и страхов. Он несвободен в том смысле, что его действия могли бы превзойти границу, которую его создатель, социальный ученый, ему предопределил" (Schutz, 1962. С.41). Проблема в том, чтобы конструировать такие гомункулы, чьи действия могли бы пре-

только инструментально полезными в социальных и гуманитарных науках. Это прежде всего проблема политическая.³⁶ Это так, потому что у теории Бурдьё о несовпадении теории и практики есть и обратная, неосвещенная до сих пор сторона: Бурдьё остается с тем, что ученый, некритичный к данному несовпадению, будет вменять свою логику тем, кого он исследует, - как исследуемым. И здесь нужно поставить политически болезненный вопрос: как это вменение логики оказывает - при приложении теории - обратное влияние на всех нас как граждан. Я имею в виду не только марксову критику политической экономии или психоанализ Фрейда (где это влияние очевидно), но и приложения так называемой галилеевской науки; как, впрочем, и практическое приложение самой математической логики: начиная с политической мечты, как сказал бы Фуко, о "мыслящих машинах", проходя через ее осуществление этой мечты в компьютере и заканчивая ее обыденным существованием посредством Интернета. Все это, очевидно, по-новому ставит проблему конфликта между полисом и философом.

В "Кризисе культуры" Ханна Арендт говорит, что "в притче о пещере в "Государстве" небо идей простирается над пещерой человеческого существования и может стать его нормой"; но, продолжает она, "философ, который покидает пещеру ради чистого неба идей, в начале делает это не для того, чтобы приобрести эти нормы и обучиться "искусству мерить", а чтобы созерцать истинную сущность бытия"; и добавляет: "идеи становятся мерилami лишь после того, как философ покинул сияющее небо идей и вернулся в мрачную пещеру человеческого существования"; именно здесь "Платон коснулся глубочайшего основания конфликта между полисом и философом", заключает она (Arendt, 1959. С.144-145). Это возвращает нас к *illusio* профессионального - здесь уже не формального, а философского - логика, всякого философа, который не дает себе отчета в своей позиции как в поле науки, так и по отношению к политическому полю. Кризис философии классического рационализма свидетельствует, что это *illusio* оказалось иллюзией; проблема уже не в том, чтобы философу вывести нас из пещеры, а чтобы он сам вышел из философской пещеры, освободился, как говорит Бурдьё, от своей иллюзорной свободы и разрешил в себе свой конфликт с полисом. Это - неминуемое условие для разрешения конфликта между полисом и философом. Здесь, очевидно, проблема не только теории несовпадения теории и практики и удержания практической логики живущих в полисе, но и новой коммуникативной стратегии и новой практической логики самого философа.

Здесь я вернусь назад, чтобы напомнить, что мы уже установили два эффекта философской пещеры - два «перевертывания», обусловленные «перевернутой» точкой зрения философа. Прежде всего, это амфиболия вопроса о

взойти эту границу - удивить своего конструктора; здесь социологу (этнологу и т. д.) есть чему поучиться у романиста и драматурга - художественное произведение, например, ближе к экспериментированию с формой эксперимента, чем сам эксперимент.

³⁶ Политическое - в том в некоторой степени уже утерянном смысле, в котором его мыслит Ханна Арендт, отсылая к публичной жизни античного полиса, и в котором Сыбева говорит о "феноменологической археологии политического" (ср. (Arendt, 1997; Сыбева, 1997). Эта феноменологическая археология не может избежать, как мы увидим, не только проблемы конфликта между полисом и философами, она не может не проблематизировать то, что я уже назвал "философской пещерой".

"самой одинаковости", которую Сократ задает Симию в диалоге "Федон" (74e) - в неразличении формы как формы от формы самой по себе, отношения как отношения от отношения самого по себе и т. д., которое как вопрос пронизывает европейское философствование с Платона до наших дней. Неклассическая трансцендентальная логика, как я уже сказал, должна деконструировать самый этот вопрос, а не критиковать ответ, который Платон дает на него. После этого было проблематизировано философское заклинание из "Тимея" (37c) о времени как "подвижном образе вечности" - оно было соположено перевертыванию, так что мы дошли до вечности как остановившегося образа времени, до вечности, которая не времяустойчива³⁷; которая сама не временеет, но является функцией от временения жизни. Как я уже сказал, эти два перевертывания суть следствия того, что философ выходит из философской пещеры и, разрешив в себе конфликт с полисом, возвращается в полис, следуя новым коммуникативным стратегиям и новым практическим логикам - новым по отношению к тем коммуникативным стратегиям и практическим логикам, которым следует Сократ в диалогах Платона и которые передаются одним или другим образом сквозь классическую европейскую философию до наших дней и помечают своей наследственной меткой логику профессиональных логиков (вне зависимости от того, философы они или математики).

Таким образом, не стоит удивляться, что именно при открытии проблематики практической логики - логики, которую нужно предохранить от подмены логикой логиков, - Бурдые намечает нечто вроде стратегии подрыва привилегированности точки зрения Сократа, стратегии выхода из философской пещеры. "Логика (логиков) всегда является завоевательницей по отношению к хронологии, по отношению к последовательности: пока я в линейном времени, я могу удовлетвориться тем, что я логичен "вкрупную" (что ведет к тому, что практические логики жизнеспособны). Логика (логиков) предполагает столкновение последовательных моментов-вещей, которые были сказаны или сделаны в различных, отдельных моментах. Подобно Сократу - тому, кто ничего не забывает и ставит собеседников в противоречие с ними самими ("но не сказал ли ты только что..."), сталкивая последовательные моменты их речи..." (Бурдийо, 1993. С.85). К сожалению, Бурдые не тематизирует собственно логических проблем практической логики (из-за чего критика Сократа не связывается с предположением логических форм, которые вечны, но не времяустойчивы), и тем более не предлагает метода ее исследования.

³⁷ Она есть функция того, что Вацов называет действительностью действия, которое не задано как возможность какой-либо сущностью. Очевидно, что такое понимание вечности может быть полезным для прояснения неклассического "онтологического принципа неполноты бытия (или снятия классической предпосылки полного бытия-знания, т. е. предположения такого мира, где "в себе" все уже есть...)" (Мамардашвили, 1984. С.79). Этот принцип требует отказаться от "теорий, которые относятся к устойчивым и обратимым явлениям, и лишь тогда, на фоне этого, в качестве добавки, уточнения и т. д. начинают говорить о тех условиях и особенностях, которые связаны с появлением инноваций, нового в мире. Но, очевидно, имело бы смысл поступать наоборот..." - начать с появления нового и лишь тогда обращаться к "обратимым, устойчивым и повторяющимся в полноте бытия процессам, рассматриваемым уже как частный случай на фоне концептуально промысленной проблемы рождения, развития и исчезания новых форм..." (Мамардашвили, 1984. С.80-81).

Такой метод, как я уже указывал, предлагает неклассическая трансцендентальная логика.

Литература

- Арендт Х. Човешката ситуация. София, 1997.
- Бурдийо П. Казани неща. София: «Св. Кл. Охридски», 1993.
- Вацов Д. Погледът срещу гледането (Метафизиката като киномашина) // Критика и хуманизъм. 5/1998.
- Витгенщайн Л. Логико-философски трактат // Витгенщайн Л. Избрани съчинения, София, 1988. (а)
- Витгенщайн Л. Философски изследвания // Витгенщайн Л. Избрани съчинения. София, 1988. (б)
- Витгенщайн Л. Бележки към основите на математиката // Витгенщайн Л. Избрани съчинения. София, 1988. (в)
- Деянов Д. Теорията за предпредикатното мислене и проблемът за несъизмеримостта // Философска панорама. 3/1984.
- Деянов Д. Философската логика в един епистемологически ръкопис // Ръсел Б. Теория на познанието. София, 1997.
- Деянов Д. Трансценденталната логика и проблемът за несъизмеримостта. София, 1998.
- Деянов Д. Практическата логика като трансцендентален проблем // Критика и хуманизъм. 7/1999 (в печати).
- Луканин Р. «Органон» Аристотеля. Москва, 1984.
- Мамардашвили М. Классический и неклассический идеалы рациональности. Тбилиси, 1984.
- Остин Д. Как с думи се вършат неща. София, 1996.
- Петков Т. От Остин и Бурдийо към логиката на молекулярните перформативи // Критика и хуманизъм. 7/1999 (в печати).
- Платон. Диалози.
- Ръсел Б. Теория на познанието. София, 1997.
- Събева С. Една феноменологична археология на политическото // Арент Х. Човешката ситуация. София, 1997.
- Фуко М. Порядъкът на дискурса // Генеалогия на модерността, съст. В. Градев. София, 1992.
- Хайдеггер М. Бытие и время. Москва, 1997.
- Arendt H. La crise de la culture. Paris, 1959.
- Deyanov D. Fifteen Theses on Practical Logic // Communicative Strategies of Culture: Modern Discursive Practices. Novosibirsk, 1999.
- Russell B. The Principles of Mathematics, vol. I. Cambridge, 1903.
- Russell B. Our Knowledge of the External World. London and New York, 1926.
- Schutz A. Collected Papers, Vol. I. The Hague, 1962.
- Strawson P. Logical Theory. London, 1977.
- Wittgenstein L. Letters to C. K. Ogden. Oxford, London and Boston, 1973.
- Wittgenstein L. Notebooks 1914-1916. Chicago, 1979.

От Остина и Бурдьё - к логике молекулярных перформативов

Тодор Петков*

ПЛОВДИВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, БОЛГАРИЯ

Эксплицитное эмпирическое исследование практической логики начинается с анализа коммуникативных актов, проведенного "социологом" Пьером Бурдьё, который прямо говорит о практической логике, и "философом" Джоном Остином, который, не объявляя себя логиком или социологом, проводит парафилозофские и паралингвистические исследования своего родного языка и жизненной среды с ее обычаями и институциями (см. Petkov, 1998).

Как представитель философии обыденного языка, Джон Остин полагает, что критический анализ высказываний в обыденном языке приведет к появлению новой науки, являющейся неким симбиозом философии и лингвистики. Осознавая мультидисциплинарный характер своего исследования, Остин стремится отмежевать его от философии и логики как установленных, рутинизированных и замкнутых в себе дисциплин. Так он противопоставляет себя (Остин, 1996) "одержимым логикам", с уважением считается с "грамматиками" (признавая свою недостаточную компетентность в их области) и с дружеским снисхождением вслушивается в догадки юристов. Хотя исследование Остина и находится вне центральной проблематики философии, оно представляет собой работу, проведенную именно философом, который принимает решение разрешить данную проблему с надеждой, что ее решение определенно будет иметь приложение в философии, понимаемой в традиционном ключе, и, может быть, даже в ее центральной проблематике. Говоря конкретно о логике, Остин имеет в виду сложившуюся к его времени науку логики философов, а когда он противопоставляет себя этой дисциплине, он имеет в виду не тех, кто совершил "революцию в философии" (очевидно, аналитических философов - (Остин, 1996. С.15), а, скорее, самый способ мышления, ограниченный классической логикой, - даже когда она разрабатывает новые области.

* E-mail: kx_ch@cserv.mgu.bg

В исследовании типов высказываний, которые не являются суждениями о фактах, Остин на самом деле принимает неблагодарную задачу анализировать логически неосознанную обыденность и извлекать логическую форму из практики людей, употребляющих эту форму. Через тематику перформативных высказываний Остин приходит к проблемам и дефинициям, которые очерчивают поле некоей, так сказать, "металогики" - "мета" по отношению к существующей до тех пор философской логики, которая, кажется, является частью этого проблемного поля. Основная категория, относящаяся ко всем под-областям этого поля - как к классической логике истинности и неистинности, так и к перформативам Остина - это *недопустимость* определенного высказывания или акта. Неистинность является разновидностью этой недопустимости наряду с незначимостью, неискренностью, неуспешностью, несоблюдением и т. д. Для всех высказываний и актов есть условия допустимости (значимости, истинности и т. д., сообразно их типу), представляющие собой широкую гамму самых разнообразных требований - от требования, чтобы определенная вещь существовала (требование, характерное далеко не только для истинных суждений в логике) до настроения и душевного состояния высказывающего. Остин открывает условия допустимости, отмечая появление чувства недопустимости (outrage) при нарушении этих условий. Посредством исследования различных вариантов чувства недопустимости он указывает на различия между логическими (в смысле более широкого проблемного поля) пара-импликативными операциями "влечет", "подразумевает" и "предполагает" (см. (Остин, 1996. С.51-54)) - так, как они употребляются его соотечественниками (не утверждая, что английский язык является единственным носителем этих операций и их значений, я скорее принял бы, что таким носителем является целостный контекст, в котором англичане осуществляют свои ритуальные или конвенциональные акты).

В этом смысле Остин - модальный логик, но весьма особенного типа. Он показывает, что классы перформативов не являются грамматическими категориями, но и не относит их к логическими, потому что они вообще не допущены в логическое мышление, настроенное по-классически: перформативы не являются высказываниями о фактах. Фактически он полагает начало логики "конвенциональных или ритуальных актов" и действует именно как философ и как логик, решая, что для выяснения значения употребления перформативов нужно составить "в идеальном случае полный список тех иллокутивных актов, отдельные образцы которых - похвала, оценка и т. д., - пока мы не установим, сколько есть таких актов и каковы их отношения и взаимосвязи."

Эксплицитно, однако, Остин ставит в центр своего исследования критерий не просто недопустимости, а успешности или неуспешности речевых актов - на место истинности и неистинности пропозиций в классической логике, которые он причисляет к актам констативного типа (и между прочим устанавливает, что они также являются особым видом перформативов). "Как общее правило, наряду с произнесением слов так называемого перформатива, большое число других вещей должны быть правильными и протекать правильно, чтобы можно было сказать, что мы успешно исполнили наше действие. Мы можем установить, каковы они, посредством рассмотрения и классифицирования случаев, в которых что-то *не в порядке*, и самое действие - бракосочетание, пари, завещание, крещение и др. - по этой причине хотя бы отчасти неуспешно: в таких случаях мы можем сказать, что высказывание в самом деле не истинно, а в общем случае - неуспешно. На этом основании мы называем

теорию вещей, которые могут быть не в порядке или быть неправильными в случае таких высказываний, теорией *неуспешностей*" (Остин, 1996. С.24). Это исследование приводит его к пониманию, что "мы не можем останавливаться только на соответствующей пропозиции (что бы она собой ни представляла), как это делают традиционно. Нужно рассмотреть целостную ситуацию, в которой производится высказывание - целостный речевой акт, - если мы хотим увидеть соответствие между суждениями и перформативными высказываниями и понять, как те и другие могут быть неправильными" (Остин, 1996. С.54-55).

В этом смысле представленная здесь трактовка Остина как исследователя, расширяющего поле зрения логиков, не имеет прямого соответствия с представлениями самого Остина о себе как исследователе языка как такового. Под влиянием его собственных характеристик, труды Остина зачастую воспринимают как именно «теорию неуспешностей». Это, впрочем, дает возможность акцентировать социологические аспекты проблемы коммуникативных актов. Пьер Бурдьё, в целом относящийся весьма позитивно к открытиям Остина, вместе с тем указывает на отсутствие выходов в социологическую проблематику, прежде всего у последователей и учеников Остина, которые не исследуют "целостную ситуацию" коммуникативного акта, - так, как это соответствовало бы импульсу, который Бурдьё выявляет в своей критике Остина. В поиске источников социальных условий эффективности ритуального дискурса, Бурдьё устанавливает - открывая "скрытую переменную, которая несомненно определяет различную тяжесть различных переменных" (Bourdieu, 1991. С.72) - что сила перформативных высказываний зависит от признанной власти высказывающего, т. е. от символического капитала группы, которая его делегировала и чьим уполномоченным представителем он является, и что это - институциональные акты (или акты институционализации - во французском языке этот термин имеет более широкое значение). Институциональные акты неотделимы от существования самой институции, определяющей условия, которые должны быть исполнены, "чтобы подействовала магия слов" (Bourdieu, 1991. Там же). Эта магия вытекает из «алхимии» представительства, посредством которой представитель создает группу, которая создает своего *вещателя*, облеченного полной властью говорить и действовать от имени группы, и прежде всего действовать на группу посредством магии лозунга. "Скрытой переменной" в этом случае оказывается целостный социальный контекст. Постоянно имея в виду этот контекст, Бурдьё не принимает ограниченность исследований Соссюра и Хомского, но подобную же ограниченность, хотя и в меньшей степени, он открывает и у Остина: признание права говорить и связанные с этим формы власти и авторитета, имплицитные во всех коммуникативных ситуациях, в общем случае игнорируются лингвистами, которые рассматривают языковой обмен как интеллектуальную операцию, состоящую из кодирования и декодирования посланий, составленных в соответствии с грамматикой. Возражая теории успешности Остина, Бурдьё устанавливает, что "всякое перформативное высказывание будет неуспешным всякий раз, когда оно не произносится лицом, имеющим "власть его произнести", или в более общем виде всегда, когда "конкретные лица и обстоятельства в данном случае" не являются "уместными для призывания конкретной призываемой процедуры": короче, всякий раз, когда у говорящего нет авторитета произнести слова, которые он произносит. Но, может быть, самое важное, что следует помнить, это то, что успех этих операций социаль-

ной магии - составленных из *актов авторитета*, или, что то же самое, из *уполномоченных (authorized) актов* - зависит от сочетания систематического набора взаимозависимых условий, которые конституируют социальные ритуалы" (Bourdieu, 1991. С.111). Поэтому, по Бурдьё, кризис, например, религиозного языка и его перформативной эффективности на самом деле является распадом целого универсума социальных отношений, составляющим которых был этот язык.

С точки зрения классической логики, анализ такого "систематического" набора условий ведет к установлению неразрешимых теоретическим путем алогизмов. Идеал Бурдьё, сформулированный им относительно подхода к противоречиям, которые логик-теоретик открыл бы в социальном пространстве, состоит в следующем: это "рефлексия, способная открыть в них как логику практического употребления временных оппозиций, <...> так и принцип преобразования, навязанного этой логике теоретической конструкцией" (Bourdieu, 1976). Признавая в практике логику, которая "не есть логика логики", он обращает внимание на эффекты теоретизации, закрывающей доступ к тем свойствам практической логики, которые "ускользают от теоретического схватывания, будучи конститутивными для самого этого схватывания". Бурдьё рассматривает эти свойства как негатив свойств теоретической логики, так как практическая логика, по его мнению, функционирует, "только позволяя себе все возможные вольности с самыми элементарными принципами логической логики". Если теория ищет разрешения проблем, которые практика не может себе поставить, то "характерное для практики состоит в том, что она исключает эти вопросы"; теоретик, склонный не замечать навязанное им самим изменение статуса практики и ее продуктов, требует от нее "больше логики, чем она может дать"; а вся экономия практической логики основывается на "*принципе* логической экономии" и жертвует (разумеется, с точки зрения теоретика; с практической точки зрения не жертвуют ничем) "строгостью" - т. е. теоретической строгостью - "в пользу простоты и всеобщности". Основа непоследовательности и противоречий, которые теоретик увидел бы в практике, по Бурдьё, заключается в первую очередь в полисемии ("один и тот же символ может отсылать к реальностям, противоположным с точки зрения самой аксиоматики системы, или же в эту аксиоматику нужно включить факт, что система не исключает противоречия"). Условия же правильного употребления полисемии заключаются в политегичности - произведение и употребление значений осуществляется "не только одно после другого, но и одно за другим, шаг за шагом".

Обобщенно говоря, если теория несовпадения теории и практики Бурдьё дает ему право подозревать каждого, не обладающего такой теорией, во вменении теоретических конструкций исследуемым социальным агентам, он приветствует достижения Остина, который до такой степени стремится не вменять теоретические конструкты обыкновенному языку, что даже не называет свое исследование "практической логикой" или "социологией". Однако, теоретическая оснащенность Остина заставляет его воспринимать иллокутивную силу коммуникативных актов как силу языковую и потому Бурдьё "устанавливает", что Остин как бы "делает не то, что он думает" (так же как выше оказалось, что Остин на самом деле проходит через "логическое" чувство недопустимости, чтобы достичь более частной «теории неуспешности»), и именно это задает Остину его ограничения: веря, что он развивает философию языка, он на самом деле разрабатывает теорию особенного класса символических

высказываний (выражений), в которых дискурс авторитета - это всего лишь парадигматическая форма, и чья специфическая эффективность происходит из факта, что эти высказывания как бы имеют в себе источник власти, которая на самом деле пребывает в институциональных условиях их производства и восприятия. "Настоящий источник магии перформативных высказываний, - говорит Бурдьё, - лежит в мистерии уполномочивания (ministry)" (Bourdieu, 1991. С.75).

Самого Бурдьё трудно представить как "делающего не то, что он думает", ибо в отличие от осторожного в самоопределении Остина он весьма ясно определяет предмет своего исследования. То, что он знает, что делает, является в свою очередь его ограничением: несмотря на интерес к практической логике, он сводит одну из ее ключевых проблем к частному случаю, а именно - представляет контекст коммуникативного акта, во-первых, исключительно как социальный контекст, и во-вторых, исключительно как контекст властных социальных отношений. Вопреки своему требованию иметь в виду несовпадение теории и практики в практической деятельности, в своей собственной теоретической практике Бурдьё, как и Остин, получает результаты, обремененные теоретической практикой, в которой это несовпадение не сохраняется. На основе этих результатов социоцентрически настроенный практический логик очень легко может дойти до утверждения, что логическая форма - всего лишь обобщенное выражение социальных и даже только властных отношений (через принятие редукционистских тезисов, таких как "все высказывания - императивы"). Здесь, разумеется, я имею в виду логика, который понимал бы основной недостаток традиционной формальной логики как науки: логик ex professo исследует эксплицированную логическую форму, тогда как логическая форма логики, в рамках которой мы мыслим, по самой своей сущности имплицитна (неразличение имплицитной и эксплицированной логических форм - также признак отсутствия теории несовпадения теории и практики). Упомянутую социоцентристскую ошибку можно и не совершить, если увидеть, что Бурдьё, отступая еще на одну ступень назад, стремится показать, каким образом заданы логические контексты у человека, о какой именно "взаимной релевантности" материальных терминов коммуникативных актов (у Гурвича - пропозиций) идет речь, в каком именно "горизонте возможных и эвентуальных следствий" (Гурвич, 1974. С.325) они даны.

Вместе с тем еще у Остина раскрывается возможность внесоциальных условий коммуникации (внутреннее состояние говорящего, астрономические факторы, такие как время и др.), которые, несомненно, заданы социальным контекстом, но констатация этого еще не исчерпывает всего ценного логики, что мы можем найти здесь - того, что в данном случае самый способ задания внесоциальных условий оказывается социальным, вытекает из факта, что дело идет не о каких-либо актах, а именно об актах коммуникативных. Именно это дает возможность Остину извлекать (в некоторой степени "не думая, что он делает это") логическую форму из логически неосознанной обыденной жизни. Здесь речь все еще идет только о логике, согласно которой говорят и действуют (и в этом смысле это тоже практическая логика), но все же *речь не идет о логике, согласно которой мыслят*. Эта логика определяется допредикатными очевидностями мышления: «У Гуссерля допредикатные очевидности - формы рецептивности, в противоположность "спонтанности акта предикатного суждения"; Шютц и Гурвич здесь вплотную следуют за своим учителем. Расширенное толкование проблемы допредикатных очевидностей - так, чтобы

они включали все условия возможности предикации - дает возможность открыть допредикатные очевидности самого мышления; открытие, которое свидетельствует, что в самой спонтанности акта предикатного суждения уже сняты (в не-гегелевском смысле) формы рецептивности» (Deyanov, 1990). Понятая таким образом, логика, согласно которой мыслят, несомненно, имеет свое выражение в коммуникативных актах - и известно, что результаты большинства совместных человеческих действий являются именно результатами коммуникативных актов (иначе было бы невозможно, чтобы логики мыслили в большой степени адекватно: высказывания, суждения, теории и мысли как объекты одного порядка - пропозиции). Но так же, как в прежней традиции логики была опасность психологизма, так и здесь существует опасность социологизма, если не понять логику социального действия как выражение всеобщих и общезначимых практико-логических (т. е. нерелегированных или неопределенных в виде теории) закономерностей. В исследовании коммуникативных актов, следовательно, есть множество аспектов - и вместо того чтобы полагать, что исследователи коммуникации, такие как Остин и Бурдьё, делают только "это", не давая себе отчета, что они делают и "то", нам придется обратиться к способу разделения этих аспектов в комплексном результате исследования, имея в виду логическую проблематику.

Непосредственная логическая проблема, с которой мы сталкиваемся, отмечая алогичность практической логики, - это проблема мозаичности логик, согласно которым мыслят в различных ситуациях. В этом плане единственный чисто логический результат, полученный помимо антропологических исследований, - это указание Бурдьё на вышеупомянутую политемичность. Логика, которую Бурдьё и Остин разрабатывают эксплицитно, есть логика атомарных социальных ситуаций, - например, ситуаций, в которых рождаются отдельные реплики разговора. "Целостную ситуацию, в которой производится высказывание", Остин все еще называет "целостным речевым актом", но Бурдьё доказывает, что эта ситуация - социальна. Коммуникативные акты являются атомарными социальными ситуациями, и исследование первых является частным случаем исследования вторых, - а возможно, но далеко не обязательно, что это одно и то же. То, что исследуют Остин и Бурдьё, есть присутствие, со-присутствие значащих факторов в атомарной ситуации: "успех этих операций социальной магии... зависит от сочетания систематического набора взаимозависимых условий, которые конституируют социальные ритуалы" (Bourdieu, 1991. С.111). «Успех» в данном случае - это характеристика, которая для Остина аналогична истинностному значению пропозиций в логике (может быть, здесь следует найти и соответствия с наличием смысла у предложения, составленного из определенных понятий). Сложные ситуации - это такие сочетания из атомарных ситуаций, которые делают более поздние ситуации зависимыми от более ранних по определенному параметру (см. (Петков, 1998)). Для того чтобы *умозаключать*, т. е. при данных посылках принимать эксплицитно следующий из них вывод, необходима силлогистическая дисциплина, аналогичная пропозициональной дисциплине, которая заставляет нас приписывать успешность или неуспешность определенному акту на основании присутствующих в атомарной ситуации факторов. Разговор сам по себе имеет свою «дисциплину», определяющую, кому когда говорить и т.д. Дисциплина разговора, заодно с дисциплиной совместного музицирования, является частным случаем "старения вместе" у Шютца. Наложение силлогистической дисциплины на дисциплину разговора - дело, например, Сократа.

Кроме пропозициональной и силлогической дисциплины, несомненно, существует дисциплина понятия и образа, видения А как В и самого видения А. В случае с социальными ситуациями мы можем, например, установить, что совершение таких ритуалов как инициация, выборы, резня - это ситуации, из которых следует восприятие некоего тела как принадлежащего новой личности (после инициации), некоего социального агента - партии или индивида - как имеющего определенный символический капитал (после выборов или резни). Таким образом, одна институтирующая ситуация влечет повторение этого институтирования в некоей последовательности из атомарных ситуаций. Этот процесс нуждается в дисциплине, аналогичной соблюдению в теоретической логике принятого тезиса или дефиниции во всем рассуждении.

В заключение я выскажу оптимистический тезис. Кроме того, что мы можем объяснить кажущиеся алогизмы практической логики отсутствием определенной и знакомой нам дисциплины (например, дисциплины точно определенного типа связи между двумя частями логической мозаики - двумя группами умозаключений, двумя ситуациями и т. д., - как Бурдьё устанавливает нарушения закона непротиворечия), - помимо этого мы можем определить ту дисциплину, которая на самом деле соблюдается в конкретном "старении вместе" (к этому Бурдьё приближается через описание конкретных оппозиций в традиции берберов Кабилии, не достигая, правда, эксплицирования логической формы данных оппозиций и используя термин "логика" скорее в метафорическом и негативном смысле). Парафразируя поправку Бурдьё к Остину, можем сделать заключение, что будущая логика молекулярных перформативных высказываний должна быть и логикой молекулярных (социальных) ситуаций.

Литература

- Остин Дж. Как с думи се вършат неща. София: ИК "Критика и хуманизъм", 1996.
- Петков Т. Практическата логика: Остин и Бурдьё. Доклад по проекту "Практическа логика - между теоретическими методами и лабораторным экспериментом" (НФНИ дог. 43/10.11.1997), зачитанный на конференции "Критика модерности - технологии и будущее" в Пловдиве, 26-31.10.1998 г.
- Bourdieu P. 'Practical Sense'. In: 'Actes de la Recherche en Sciences Sociales', 1976/1, p. 43-86
- Bourdieu P. Language and Symbolic Power, ed. and intr. by J. B. Thompson, transl. by G. Raymond and M. Adamson, Polity Press, 1991.
- Deyanov D. Transcendentalism and the Incommensurability Between Scientific Traditions, Critique & Humanism Quarterly, special issue "Phenomenology as a Dialogue", 1990.
- Gurwitch A. Phenomenology and the Theory of Science. Evanston: Northwestern University Press, 1974.
- Petkov T. 'Communicative Acts: Austin, Bourdieu and Practical Logic', in: P.-E. Mitev, ed., The Bulgarian Transition Challenges and Cognition, Sofia: Bulgarian Sociological Association, 1998.

Тело и практическая логика: хабитус и хабитат (мысленный эксперимент по методике Пьера Бурдьё)

Мирослава Генкова*
ПЛОВДИВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, БОЛГАРИЯ

Как бы то ни было, это на первом месте рассказ об одном мире. Вот, он приближается. Наблюдайте внимательно, специальные эффекты важны...

Пратчет, 1994. С.5.

Практическая логика и зооастронавтика

Я начну этот текст метафорой, заимствованной из книг Терри Пратчета о Мире диска - метафорой Великой Черепахи. Мир диска - это абсолютно плоский мир, населенный жрецами, ведьмами, волшебниками, героями и одним туристом (первым в истории этого мира) - мир, "который существует лишь потому, что боги забавляются" и который "несомненно, является местом, где магия может уцелеть". Этот мир несет на спине гигантская черепаха: "Ее имя (или Его, согласно другому философскому течению) было Великий А'Туин... Есть некий вопрос, который издавна тревожит философов с развитым воображением на диске, - это вопрос о половой принадлежности Великого А'Туина, и изрядное количество времени и усилий было потрачено, чтобы разрешить этот вопрос раз и навсегда". Итак, жрецы посылают первых астрозоологов установить пол А'Туина. Но как раз в этот момент он/она поджимает хвост...

Проблема, на которую обращено внимание в этой статье, связана именно с эффектом "поджимания хвоста", иначе говоря, с практической логикой, которая всегда ускользает от исследователя, который "не вооружен" подходя-

* E-mail: genkova@gfkbul.com

шим инструментом и нужным терпением, чтобы понять то, что она пытается скрыть от него.

Проблема практической логики и телесности возникает как бы сама по себе - и поэтому естественным образом формулируется в том спектре социального мышления, предметом которого являются не только структуры, пред- задающими действие в мире, но и тот свободный выбор, который делает возможным человеческое существование, тот короткий момент "чудотворной встречи" ("Miraculous encounter" в (Bourdieu, 1990. С.64)) между объективированной и инкорпорированной историей, между *хабитусом* и *хабитатом*¹.

Отношение "тело-практическая логика" выступает пока еще смутным и неясным для большей части аудитории, интересующаяся т.н. «науками о духе», по той причине, что это отношение характеризуется недистантностью, слитностью. Определяя границы моего поиска, а именно: 1) каким образом возможно изучение того смутного, порождающего спонтанность чувства (sense), той доксы, которая делает возможным пребывание и успешное действие человека в мире; 2) каким образом возможно, чтобы тело явилось собственно предметом социологии; 3) каким образом тело и практическая логика являются взаимоотносящимися и взаимопроникающими, слитыми; я попытаюсь *через* Бурдьё (а может быть, иногда и *вместе* с ним) раскрыть эту проблему.

"Мысль убивает всякое чувство", или "замена вещей логики логикой вещей"

Существует два универсума: мир дискурса и мир практики. Мир науки - это мир дискурса, ставящий под вопрос и тематизирующий то, что безвопросно дано в обыденности. Это мир, ищущий смысла и схватывающий этот смысл в его монотетичности, лишающий его времени, мир, оформляющий логику действия в застывших формах, исполненных безвременьем слов. Его "практическая логика" направлена на поиск ответов на вопросы, которые практика никогда не задает, потому что ей нет необходимости задавать их. Теоретик действует в этом мире так же доксически, как и лишенный доступа к *scholastic view*² обыденный человек, потому что это его обыденная жизнь (исполненная эманципированными словами).

¹ В своей статье "Le Mort Saisit le Vif" ("Мертвое схватывает живое"), опубликованной в "Actes de la Recherche en Sciences Sociales" (1980. № 32-33), П. Бурдьё рассматривает историю в двух состояниях: 1) *объективированная история*, аккумулированная в вещах, машинах, памятниках, книгах, теориях. Это история, отложившаяся в кодифицированных ритуалах, оформленная в дискурсе и поэтому потерявшая чары своей спонтанности, история, застывшая в легитимных, символических структурах - *хабитатах*. 2) *инкорпорированная история*, «вошедшая» в тела и действующая через них, через *хабитусы* агентов. В обыденном доксическом отношении история-субъект открывается в историю-объект, между ними есть онтологическое, непосредственное со-участие - история встречает саму себя.

² Совершенно особая точка зрения на социальный мир, язык или любой другой предмет мышления, которая становится возможной через ситуацию *scholae*, свободного времени, чьей особенной формой является школа как институционализируемая форма прилежного свободного времени (Бурдьё, 1998. С.180).

Книга - застывшее в объективной форме бытие ученого. Это объективированная история, которая отложилась в его телесности и заставляет его вести себя сообразно нормам и принципам формальной логики. Поэтому теоретик всегда находится под угрозой иллюзии, что он схватывает значение в его собственной мере, не давая себе отчета в том, что, кодифицируя, он производит "изменение по естеству, по логическому статусу", подменяя практическую логику формальной. Таким образом теоретик навязывает безвременное время науки миру практики, "которая неотделима от времени не только потому, что играют во времени, но и потому, что стратегически играют со временем и более конкретно - с темпом" (Bourdieu, 1990. С.81).

Практика содержит в себе логику, которая не является логикой логиков. Эта логика способна организовать все мысли, восприятия и действия, она есть то "чувство игры" и *sense of one's place*, которое включенный в поле инкорпорирует в свою собственную телесность, в свой *хабитус*³. Агент, который обладает практическим чувством, способен действовать в мире так, чтобы "изменять игру по ее собственным правилам". Но он не способен воспринимать то, что на самом деле руководит его практикой. Он всегда знает меньше того, что на самом деле делает⁴. В тот момент, когда агент рефлексивирует над своей практикой, адаптируя некую квази-теоретическую позицию, "он теряет всякую возможность выразить суть своей практики и, более конкретно, суть практических отношений к практике" (Bourdieu, 1990. С.91)⁵. Чтобы действовать логично в мире обыденности, агент должен действовать внерефлексивно, бессознательно, без дистанции, без перспективы и отделенности, а скорее - через пропускание через тишину и замкнутость в очевидном, выстраивая

³ *Хабитус* - это система диспозиций относительно практики, которые делают возможным адекватное, "разумное" действие в мире. Он тесно связан с качествами «размытого» и «смутного» и порождает спонтанность. Он связан с той частью недетерминированности и открытости, которая позволяет социальные импровизации.

⁴ Агенты никогда не знают до конца то, что делают, а то, что они делают, имеет больше смысла, чем они знают (Bourdieu, 1990. С.69).

⁵ В одной из книг Терри Пратчета "Эрик" присутствует следующий диалог:

« - Как же ты это делаешь? - спросил Эрик.

- Наверное, есть какой-то прием, - ответил Ринсуид»

(Пратчет, 1992. С.42).

"Прием" - это то знание, которое неявно отложено в телесности Ринсуида (который является волшебником), и которое он никогда не ставил под вопрос. Поэтому он и не может дать «логичный» ответ на заданный вопрос. Он не рефлексивирует, не мыслит то, как он действует, - он просто действует или, иначе говоря, он есть само действие, практика, лишенная мыслительных механизмов. Это, разумеется, не означает, что он не имеет целью какой-либо конечный результат действия, но здесь под вопрос поставлен сам акт действия ("Как ты это делаешь?"), что неминуемо направляет чувства отвечающего к тому, что как-то очевидно для него самого. Вдруг оказывается, что совершенное им действие является проблемой для другого, так как его телесность не обладает таким типом знания, потому и Ринсуид отвечает неуверенно, предполагая, что, "наверное, есть прием". Подобного типа ответы ожидаются при любом таком вопросе, касающемся бессознательного, нерелективного действия в мире - каким является всякое обыденное действие. Цель исследования обыденных телесных практик - расслоить это "наверное" на последовательность условий возможности/невозможности его существования.

смысл политегическим образом. "Не просто одно после другого, а одно за другим, шаг за шагом" (Bourdieu, 1990. С.69).

Играющий обладает временем постольку, поскольку он обживает в акте действия прошлое, закодированное в его телесности, и предвидит будущее, исходящее из его телесного опыта⁶. "Чувство игры" - это способность практического восприятия приходящего будущего, содержащегося в настоящем, вписанного в конкретные конфигурации, и все, что занимает какое-либо место в нем, выглядит разумно как исполненное здравого смысла.

Практическое чувство квази-телесно и отражает невероятную встречу между хабитусом и полем, между объективированной и инкорпорированной историей. Оно произведено в игре и, следовательно, объективными структурами в рамках, в которых играют, но также дает возможность влияния на структуры в ситуациях выбора (в которые мы ежедневно включены)⁷. Практическая вера есть то, что мы называем "быть рожденным с" (to be born with), пускаться бессознательно в игру, принадлежать игре. "В своей самой законченной форме она - самая наивная форма, форма естественного члена, и она диаметрально противоположна тому, что Кант называет в "Критике чистого разума" "прагматичной верой" (обладанием разумным восприятием смысла действий)"⁸. Практическая вера, по Бурдьё, не связана с каким-либо состоянием ума, а является состоянием тела. Докса - это практическая слитность хабитуса и поля, на которое настроен хабитус. То, что является имплицитным и существует до какой-либо вербализации, taken-for-granted, это погруженная в тело вера. Практическая вера состоит из квази-телесных диспозиций, операционных схем, смысл которых забыт именно потому, что он отложился в телесности. Практическое чувство - это "социальная необходимость, превратившаяся в природу" (Bourdieu, 1990. С.69). Моторные схемы и телесные автоматизмы делают практики возможными и скрывают "логику" от глаз их агентов.

"Руки и ноги полны застывших императивов"

В обыденной жизни тело принято как данное: оно самое естественное и самое близкое; оно "самое мое", и в то же время это первое, с чем соотносятся другие. В нашем мире, населенном телами и вещами, мы (как погруженные в

⁶ Игрок, включенный в игру и одержимый ею, настраивается не на то, что он видит, а на то, что он предвидит, видит в перспективе, в непосредственно воспринимаемом сейчас (Bourdieu, 1990. С.84).

⁷ У одного из героев в романе Терри Пратчета "Фантастический свет" - Двухцветки (который является первым туристом в истории Мира диска) - есть особая "житейская философия", что с ним не может случиться ничего плохого, потому что он просто не участвует в действительности. Двухцветка принимает позицию наблюдателя, и, как ни абсурдно звучит подобное высказывание, он "стоит крепко на земле, не ходя по ней".

⁸ Вера - это такое условие вхождения в игру, которое любое поле определяет не только через одобрение и через исключение тех, кто разрушает игру, но и через порядок вещей, через операции селектирования и полагания в формы, чтобы таким образом постичь необсуждаемое, дорефлексивное, наивное, естественное согласие с основными посылками поля, что само по себе является дефиницией доксы (Bourdieu, 1990. С.68).

этот мир) забываем о своей телесности, поскольку она действует безотказно и вносит порядок в мир вокруг себя. Мы забываем о том мышлении, которое исходит из нашего тела и помогает нам ориентироваться и действовать адекватно. В телесном мышлении закодированы социальные нормы, имеющие свой генезис в определенных исторических конфигурациях. Телесность, как носитель бессознательных техник и автоматизмов, как застывшие в телесных жестах и практиках культурные нормы, и как продукт определенных властных воздействий, является предметом той социологии, которая всегда "готова начать сначала"⁹.

Тело является полем символических сражений, на котором разыгрываются различные дисциплинарные стратегии и в котором имплицитно заложены властные императивы¹⁰ (чтобы оно было усвоено и присвоено, чтобы оно было полезным и умеющим) именно потому, что "тело функционирует как язык, скорее говорящий о человеке, нежели как язык, на котором говорит человек; это язык природы, в котором раскрывается самое скрытое и в то же время самое истинное, потому что тело - это самое бесконтрольное и неконтролируемое сознательное, это язык, который заражает и сверхдетерминирует своими воспринятыми и невоспринятыми посланиями все интенциональные выражения, начиная с речи" (Бурдью, 1977).

Тело в обыденных доксических отношениях мыслится как природный язык, поэтому без вопросов принимается, что тело наиболее адекватно выражает скрытую сущность человека, его "душу". Но в естественности тела кроется секрет его культурной сформированности. Тело говорит на языке социальной идентичности¹¹, которая принимается как данная по природе, т. е. тело является натурализованной социальностью. В нем закодированы социальные знаки. "Когда свойства и движения тела социально квалифицированы - самые фундаментальные социальные выборы натурализованы, и тело с его свойствами и движениями сконструировано как аналогичный оператор, представляющий все виды практических эквивалентов среди различных делений социального мира - разделений половых, по возрастным группам и между социальными классами, - или, точнее, разделений между смыслами и ценностями, ассоциированных с индивидами, которые практически занимают эквивалентные позиции в пространствах, определенных посредством этих различий" (Bourdieu, 1990. С.71).

Через тело действуют практические схемы, "принципы видения и разделения", "принципы, устанавливающие порядок в действии", которые являются продуктами поля, застывшими эксплицитными нормами, оформляющими психическое и физическое поведение и уходящими далеко за пределы осознанного. Но так же действует и своего рода телесное мышление, обладающее практической верой и в силу этого способностью действовать в мире и по отношению к миру. Тело, говорит Бурдье, верит в то, во что играет. Оно не

⁹ Адаптированная Бурдье фраза из М. Пруста (Bourdieu, 1990. С.69).

¹⁰ Если понимать власть, согласно Фуко, как власть диффузную, которая осуществляет себя не над телами, а в телах; власть, действующую через детали, не через наказание, а посредством надзора; власть не над результатами, а над процессом самого действия - *власть-дисциплину*.

¹¹ Первое, что позволяет мне типологизировать человека как хиппи, бизнесмена, французского интеллектуала, "простого" крестьянина и т. д., это его телесность, способ, которым он движется в пространстве, способ, которым он держит свое тело.

представляет то, что исполняет, оно не вспоминает прошлое, оно играет прошлое, возвращая его обратно в жизнь. То, что "научено через тело", не есть нечто, которое некто имеет как знание, которое может быть жестикулировано, а есть нечто, которое есть сам индивидуум (Bourdieu, 1990. С.73).

Знание вещей через тело предполагает отложение определенного типа очевидностей, которые делают возможным, чтобы тело видело, понимало и чувствовало. Эти допредикатные очевидности - как очевидности самого мышления и как условия его предикации - показывают, "что в самой спонтанности акта предикатного суждения уже сняты (в не-гегелевском смысле) формы рецептивности" (Деянов, 1998. С.49).

Вспомним сказку "Принцесса на горошине". Здесь существует, с одной стороны, модализированное докисическое отношение (дистанция между хабитусом и хабитатом), а с другой стороны, ясно сформулированный и старательно подготовленный "практико-логический эксперимент".

Для того, чтобы стала возможной предикация "Она - настоящая принцесса", нужно определить условия возможности этого суждения¹². 1) Она - предполагается существо женского пола. 2) Остается определить, что именно значит "настоящая принцесса". Принцессы обладают множеством качеств: в первую очередь, они - царские или королевские дочери, и как таковые уже отличаются от остальных особ женского пола, - отсюда следует, что они обладают рядом характеристик, которые у других в дефиците (благодаря свободному времени, они совершенствуются в танцах, музыке, вышивке, изысканных манерах, дворцовом этикете и т. д.). Но что иногда случается? Случается то, что появляются "фальшивые" принцессы - такие, которые посредством имитации (т. е. с помощью сознательных усилий) повторяют жесты и выражения объекта, который эксплицитно конституирован как принцесса. В подражании¹³ содержится дистантное, рефлексивное отношение между хабитусом и хабитатом, и отсюда скрытая, но выдающая секрет неуютность тела. Возникает проблема, как найти такое качество, которое является аутентичным для субъекта "Принцесса". Следуют варьирования признаков x, y, z и т.д., пока, наконец, не останется наиболее природный (но при этом культурно сформированный) и естественно предзаданный признак (to be born with) - тело. Делается утверждение: Принцесса как таковая имеет специфическую телесность. Какова она? Легко ранимая, нежная и хрупкая. Это тело не выдержало бы малейшего неудобства. Но как можно узнать, что таким образом определенная телесность - это телесность Принцессы? Как провести "эксперимент" так, чтобы в нем было возможно меньше "шума"? Решение: когда менее всего можно упражнять подражание, когда можно избежать всяких волевых усилий? Когда человек спит. Сон блокирует сознание и выключает все автореферентные механизмы. Таким образом, посредством эксперимента во время ра-

¹² Эти условия (*не*)возможности задают границы свободы при свободном варьировании субъекта и предиката, диктуют, до каких пор это варьирование возможно и с каких пор уже нет... Именно посредством такого свободного варьирования материи мы, покидая все фактуальное, извлекаем эйдетическую форму как инвариант (см. (Деянов, 1998. С.41)).

¹³ В отличие от подражания "в мимезисе есть воздержание от любой формы предикатного интереса" (Деянов, 1998. С.46); миметирующий не знает то, что он делает, ибо он является одним целым с тем, что делает. Он не может объективировать самого себя, ибо у него нет писания и всего того, что делает возможным логический контроль.

боты бессознательного будет установлена истина о субъекте. Так ставят "ловушку-для-фальшивых-принцесс" - горошину под семью матрацами. Почему "горошину-под- семью-матрацами"? Именно потому, что эти "фальшивые" принцессы подражают, они не обладают кинестетическими очевидностями Принцессы - которые и являются условиями возможности телодвижений Принцессы. Предметы, которые их окружают, не имеют интерсубъективно очевидных мотивов "для того, чтобы", отложившихся в теле принцессы как таковой. Предметы сопротивляются фальшивости, пытающейся их усвоить, они ранят. Телодвижения подражающих настоящей принцессе превращаются в бутафорию. Подражающие не имеют в своей телесности инкорпорированной истории, которая делает возможной встречу между хабитусом и хабитатом.

В вышеизложенном схематическом анализе я попыталась показать, как формируются условия возможности или невозможности определенного предикатного суждения, как расслаиваются хабитус и хабитат в момент кризиса и выходят из рамок их общей истории, и как они могут вновь слиться вместе и найти свою естественность в теле.

Миметическое понимание или оставленное в молчании

Я попыталась раскрыть один из способов, каким можно трактовать практическую логику и тело как предмет социологии, какова возможная связь между ними, каким образом можно понять логику обыденного человека, не формализуя ее. Попытка мысленного эксперимента оставила зоны молчания, которые могли бы превратиться в поля диалога и развить множество других точек зрения. Магия сдваивания и раздваивания хабитуса и хабитата (противоположности и взаимозависимости шапки ведьмы и ее магии у Пратчета¹⁴ или, по Бурдые (1994. С.111), алхимии представительства, посредством которой представитель создает группу, которая создает его) - это то, что делает возможным самое существование социального мира и его истории.

Литература

- Бурдийо П. Предварителни бележки относено социалното възприемане на тялото. 1977 (неопубликуван превод).
- Бурдийо П. Практическият разум. София: Критика и хуманизъм, 1988.
- Бурдийо П. Казани неща. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 1993.
- Бурдые П., Вакан Л. 1993. Въведение в рефлексивната антропология. София: Критика и хуманизъм, 1993.
- Деянов Д. Трансценденталната логика и проблемът за несъизмеримостта // Философски форум. 1998. Кн. 1.
- Петков Т. Практическата логика: Остин и Бурдые. Доклад по проекту "Практическа логика - между теоретическими методами и лабораторным экспериментом" (НФНИ дог. 43/10.11.1997), зачитанный на конференции

¹⁴ "Она как бы из двух частей.... Шапка волшебная, потому что ты ее носишь. Но ты ведьма, потому что носишь шапку" (Пратчет, 1994. С.54-55).

- "Критика модерности - технологии и будущее" в Пловдиве, 26-31.10.1998 г.
- Пратчет Т. Ерик. София: ИК Вузов, 1992.
- Пратчет Т. Фантастична светлина. София: ИК Вузов, 1992.
- Пратчет Т. Цветът на магията. София: ИК Вузов, 1992.
- Пратчет Т. Еманципираната магия. София: ИК Вузов, 1994.
- Фуко М. Надзор и наказание. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 1998.
- Фуко М. Генеалогия на модерността. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 1992.
- Фуко М. Власт. София: Критика и хуманизъм, 1997.
- Bourdieu P. Le Mort Saisit le Vif. In: "Actes de la Recherche en Sciences Sociales". 1980. # 32-33.
- Bourdieu P. The Logic of Practice, "Belief and the Body", Polity Press, 1990.
- Bourdieu P. Language and Symbolic Power, ed. and intr. by J. B. Thompson, transl. by G. Raymond and M. Adamson, Polity Press, 1994.

**Аргументация в языковой системе:
между частицами и полифонией
(эссе из области интуитивной эпистемологии)**

Игорь Загар

ЛЮБЛЯНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ И ЛЮБЛЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, СЛОВЕНИЯ

Французский лингвист Освальд Дюкро в настоящее время развивает новую теорию аргументации, получившую название "теория аргументации в языковой системе", которая ставит своей задачей исследование аргументативного потенциала языка. Эта теория призвана продемонстрировать, как различные явления аргументации представлены в самом языке как системе; каким образом на определенных уровнях язык обеспечивает аргументацию сам и в свою пользу; и до какой степени язык в силах самостоятельно наложить ограничения на нашу собственную (диалогическую и интерактивную) аргументацию.

Теория аргументации в языковой системе может быть сведена к трем основным (и независимым между собой) утверждениям:

Аргументативное начало в языке довлеет (или превалирует) над информативным.

Семантическое описание высказывания должно состоять скорее в выяснении его возможных последствий, нежели определении его отношения к "фактам".

С точки зрения аргументативной стороны дискурса, аргумент и следующее из него заключение не могут обнаружить своей собственной значимости без учета зависимости друг от друга.

Попробуем пояснить эти положения несколькими примерами. Предположим, что кто-то говорит нам:

(1) *Сейчас 8 часов.*

Перевод с английского Е. Афонасина.

E-mail автора: igor.zagar@guest.arnes.si

Является ли это высказывание аргументом? Зачем нам говорят, что сейчас 8 часов? Только ли для того, чтобы сообщить нам, сколько сейчас времени? Скорее всего нет, если только мы сами не захотели узнать это. Но предположим, что мы не имели никакого желания знать, сколько сейчас времени, но некто сообщает нам эту информацию. С какой целью он это делает? Очевидно, произнося высказывание (1), наш собеседник желает нам сообщить нечто иное. К каким возможным последствиям и выводам это высказывание ведет? Поскольку мы не знаем возможного контекста¹ то перед нами открывается множество возможностей:

(1) *Сейчас 8 часов* > *Поторопись!*
У тебя есть время.
Включи радио!
Иди чистить зубы!
(и т.п.)

Посмотрим теперь, что произойдет, если мы модифицируем наше высказывание с помощью частиц *уже* и *всего лишь*. Соответственно, получим:

(1а) *Уже 8 часов.*

и

(1б) *Всего лишь 8 часов.*

При прочих равных условиях, из (1а) - в отличие от (1) - мы уже не сможем заключить "У тебя есть время", но разве что "Поторопись". С другой стороны, из (1б) мы не сможем заключить "Поторопись", но ничто не мешает заключению "У тебя есть время." Почему это кажется нам удивительным? Потому что эти три высказывания говорят об одном и том же хронологическом факте, однако первое высказывание допускает разнообразные толкования, в то время как второе подчеркивает представление об опоздании, а третье показывает, что нечто делать слишком рано. Однако как это возможно, если все эти высказывания говорят об одном хронологическом факте и основаны на одном и том же состоянии дел?

Мы видим, что это "одно и то же состояние дел" представлено здесь с разных точек зрения: в одном случае (1а) 8 часов рассматриваются как "поздно", в другом случае (1б) - как "слишком рано". *Различение* внутри *одного и того же* состояния дел достигается введением всего лишь двух различных частиц. Высказывание (1а) ориентирует наши выводы по отношению к "поздно", а высказывание (1б) - по отношению к "рано", независимо от того, на какое именно время оно указывает. Иными словами, аргументативная ориентация на "раньше" или "позже" уже присутствует - или *записана* - в этих двух лексических единицах языковой системы.

¹ Я постараюсь показать, что роль контекста в лингвистическом анализе часто преувеличивается, поскольку основные особенности контекста обычно присутствуют уже в самом высказывании (или даже в предложении как абстрактной языковой структуре): контекст ре-интерпретирует данное высказывание, но высказывание как таковое во многих отношениях само задает контекст.

Поясню это еще одним примером. Предположим, мы встретились со следующим высказыванием-аргументом:

(2) *Джон работал.*

На какой вывод ориентировано это высказывание: положительный (ему удастся сделать то, что он делает), или отрицательный (ему не удастся это сделать²)? Уверен, что каждый предпочтет вывод "ему удастся это сделать", поскольку само слово *работать* предполагает, что некоторые усилия прилагаются или прилагались к чему-либо, а поскольку усилия прилагались, это означает, что лицо, прилагающее усилия (борющееся за нечто), скорее всего преуспеет в своих действиях, нежели наоборот.

Противоположное заключение (ему не удастся это сделать) становится естественным, если мы добавим «но» или «однако», например:

(2а) *Джон работал, но ему не достигнуть успеха.*

Словечко "но" используется для того, чтобы *обратить* наши ожидания и аргументативную ориентацию того, что следует ожидать, базируясь на том, что сказано до этого "но".

Например, в высказывании

(3) *Я очень занят, но я готов принять это предложение*

ожидаемое заключение, если исходить только из первой части фразы (я очень занят), было бы таковым: "поэтому я не смогу выполнить дополнительной работы".

Другой пример. В высказывании

(4) *Павел инженер, но очень плохой*

ожидаемое заключение из утверждения "Павел - инженер" должно было бы звучать примерно так: "Поэтому он знает определенные вещи или может делать определенную работу".³

Следовательно, "но" в примерах типа (2а) в точности означает то, что неуспех в данном случае не есть нормальное течение событий, поскольку действующее лицо работало, т.е. прилагало усилия.

Рассмотрим такие примеры:

(5) *Джон приложил мало усилий*

и

(5а) *Марк приложил немного усилий*

² Точное словоупотребление - это скорее вопрос реконструкции аргумента. Иными словами, словоупотребление не является и не может быть точным.

³ И снова: изменение словоупотребления в речи не является принципиальным, тогда как аргументативная ориентация предельно важна.

Из общих соображений каждый согласится [Ducrot, 1996] относительно того, сколько работали Джон и Марк (не очень много). Почти каждый согласится и с тем, что Марк работал несколько больше (например, 2 часа), нежели Джон (который работал, скажем, только 1 час). Разумеется, практически невозможно определить объективно и непротиворечиво, насколько больше Джона работал Марк, иными словами, насколько "мало" меньше, чем "немного", и тем не менее высказывания (5а) и (5б) допускают выводы, которые аргументативно ориентированы в противоположных направлениях.

Именно:

(5) *Джон приложил мало усилий. Следовательно, он не достигнет успеха.*

(5а) *Марк приложил немного усилий. Следовательно, он достигнет успеха.*

С точки зрения информативности - с точки зрения «фактов» или того, как обстоят дела в мире, важно, что язык использует "мало" и "немного" как понятия, обозначающие небольшое количество. Между этими понятиями может быть количественное различие, но тем не менее оба они означают небольшое количество чего-либо. С аргументативной же точки зрения, напротив, язык помещает "мало" в ту же категорию, что и "нисколько", "совсем ничего", а "немного" -- в ту же категорию, что и "много".

Итак, "мало" аргументативно ориентировано в том же направлении, что и "нисколько", "совсем ничего":

(6) *Джон не прилагал усилий. Следовательно, он не достигнет успеха.*

Напротив, "немного" аргументативно ориентировано в том же направлении, что и "много":

(6а) *Марк приложил много усилий. Следовательно, он достигнет успеха.*

Модифицируем слово *работать*, т.е. *прилагать усилия*, еще и таким способом:

(7) *Джон работал в течение часа.*

В каком направлении аргументативно ориентировано это высказывание? Если мы не знаем контекста (например, сколько времени нужно, чтобы выполнить данную работу), и негативное, и позитивное заключения возможны в равной мере:

(7) *Джон работал в течение часа. Следовательно он достигнет успеха*
Следовательно, он не достигнет успеха

Однако, если мы встретимся с аргументативным указателем, таким как

(7а) *Джон работал в течение часа, но он не добьется успеха,*

то независимо от контекста или эмпирических данных, мы из самого употребления частицы "но" немедленно поймем, что обычно, при нормальном стечении обстоятельств, часа работы *достаточно* для того, чтобы достигнуть успеха в деле такого рода. "Но" говорит нам здесь, что мы имеем дело не с нормальным стечением обстоятельств, говорит о том, что что-то изменилось и нужны иные критерии оценки.

Модифицируем слово *работать* еще раз. Если высказывание (7) является, в некотором смысле, нейтральным примером, позволяющем делать противоположные заключения, то что мы можем сказать о таких примерах:

(8) Джон работал только час.

(9) Джон работал почти час.

Мы по прежнему говорим о тех же фактах (один час), но язык, благодаря частицам *только* и *почти*, представляет эти факты - в одном случае, недостаточными:

(8) Джон работал только час. Следовательно он не преуспеет.

В другом случае - достаточными:

(9) Джон работал почти час. Следовательно он преуспеет.

Отметим еще раз, что заключение следует не из констатации количества работы Джона в том или ином случае. Заключение позволяет сделать сам язык, специфическое словоупотребление. Джон мог бы работать в течение четырех или восьми часов (времени, достаточного при нормальном стечении обстоятельств для работы, которую он выполняет), но если в нашей фразе стоит частица "только", заключение в любом случае может быть лишь отрицательным (он не преуспеет). Напротив, "почти" ориентирует заключение в позитивном направлении, независимо от фактов. Более того, "почти X" само формирует информативную, или фактуальную точку зрения, означая "пока не X", "еще не вполне X", и описывает тем самым количество меньшее чем "только X" (которое означает "именно X"). И все таки, это *фактически меньшее количество* (почти час) аргументативно указывает на большее количество работы, нежели *фактически большее количество* "только час".

Для того, чтобы показать, насколько велика роль языковых частиц, рассмотрим еще несколько примеров. Сравните:

(10) Бутылка уже наполовину пуста.

(11) Бутылка еще наполовину полна.

Оба предложения описывают то же самое состояние дел, тот же факт, потому что "быть наполовину пустым" -- это то же самое, что и "быть наполовину полным", т.е. указывают на то же самое количество содержимого в бутылке. Таким образом, факты, которые описывают, или, говоря более корректно, на которые указывают (10) и (11), одинаковы. Однако представлены они *с разных точек зрения* - и смысл этих высказываний состоит отнюдь не просто в

том, чтобы сообщить нам некоторые факты (сколько именно жидкости в бутылке), но в том, чтобы сообщить нечто другое. Именно, несмотря на то, что оба высказывания описывают один и тот факт, *аргументируют* они в противоположных направлениях:

(10) Бутылка уже наполовину пуста. Следовательно, не мешает еще одна.

(11) Бутылка еще наполовину полна. Значит, другой пока не нужно.

Частицы "уже" и "еще" делают такие заключения необходимыми: если мы говорим, что бутылка "уже наполовину пуста", мы сожалеем о том, что скоро она станет совсем пустой, поэтому маловероятно, что вывод будет "нам пока другой не требуется". Описывая бутылку как "еще наполовину полную", мы едва ли можем вывести из этого аргумента заключение "нам нужно еще одну".

Частицы способны и на большее. Они способны контекстуализировать некоторые, по видимости, деконтекстуализированные примеры и придавать им базовый контекст. Если нечто "уже наполовину пусто" или "еще наполовину полное", то речь, очевидно, идет об опорожнении чего-то. Но если мы поменяем "уже" и "еще" местами, то получим:

(10a) Бутылка еще наполовину пуста.

(11a) Бутылка уже наполовину полна.

В этом случае речь, очевидно, идет о наполнении чего-то. Какого рода опустошение и наполнение имеется в виду, и каковы детали этих действий, - все это едва ли является существенным для лингвистического анализа. Такого контекста вполне достаточно.

И это опять-таки не все, на что способны языковые частицы. *Ceteris paribus*, они могут в буквальном смысле структурировать и оформлять аргумент. Предположим, что в жаркий летний день некто приглашает вас прогуляться. Вы устали и говорите:

(12) Тепло, однако я устал.

Очевидно, что вы тем самым отказываетесь от прогулки. Предположим, вы отвечаете несколько иначе:

(13) Я устал. Но сейчас тепло.

Ситуация та же самая, как и в предыдущем высказывании, по-прежнему тепло и вы устали, но на этот раз сказанная вами фраза звучит скорее как согласие. Все зависит от того, куда вы поместите частицу "но" и от того, что предшествует этой частице и что следует за ней. Вывод последует в любом случае из высказывания, следующего за "но", а не из предыдущего. Иными словами, в одном и том же предложении возможны различные аргументативные ориентации. Какими же средствами мы можем их анализировать?

Именно для этих целей Дюкро вводит термин *полифония*, заимствованный у Бахтина, и обобщает его до уровня языковой системы как целого. Как известно, Бахтин проводит различие между диалогизмом и полифонией. Последняя, как он пишет в работе "Марксизм и философия языка", есть явление, резко и существенно отличное от диалога. В диалоге реплики грамматически разобщены и не инкорпорированы в единый контекст» [Волошинов (Бахтин), 1993. С. 126]. Следовательно, в диалог вовлечены два или более участника, в то время как полифония является монологической структурой. Образцы полифонических структур (высказываний) Бахтин находил в романах, и в своей книге о Достоевском автор развил ныне общеизвестное определение полифонии:

«Автор может использовать чужое слово для своих целей и тем путем, что он вкладывает новую смысловую направленность в слово, уже имеющее свою собственную направленность и сохраняющее ее. При этом такое слово, по заданию, должно ощущаться как чужое. В одном слове оказываются две смысловые направленности, два голоса» [Бахтин, 1994. С.404].

Таким образом, полифоническая конструкция, согласно Бахтину, принадлежит одному говорящему, но в действительности содержит в себе "два высказывания, две речевые манеры, два стиля, два «языка», два смысловых и ценностных кругозора" [Бахтин, 1975. С.118].

Исследование полифонии связано у Бахтина в основном с проблемой романа, в то время как Дюкро соотносит это явление с языком как таковым, с языком как системой.

Что же такое полифония в смысле Дюкро?

Дюкро полагает, что "говорящий", в том смысле, как его понимает традиционная лингвистика, является на самом деле очень сложным (и запутанным) понятием, которое объединяет в себя несколько совершенно различных идей. Поэтому он предлагает различать между собственно *автором* (producer) высказывания, *ответственным* за высказывание, или *локутором* (locutor), и собственно *высказывающимся*, или "произносящим" высказывание (utterer).

Автор высказывания своей деятельностью формирует само высказывание. Иными словами, автор -- это тот, кто осуществляет умственную деятельность, необходимую для формирования высказывания. Это утверждение представляется вполне очевидным, однако в некоторых случаях ситуация может оказаться весьма неоднозначной. Представьте себе, что вы ученик в школе (я позаимствовал этот пример у Дюкро [Ducrot, 1996]). Допустим, что школа организует туристический поход, и для того, чтобы вам принять в нем участие, требуется разрешение ваших родителей. Учитель дает вам документ, который должен подписать один из ваших родителей. Этот документ представляет собой заявление типа: "Я разрешаю моему сыну (дочери) принять участие в экскурсии", и место для подписи внизу. Вы отдаете этот документ своим родителям с тем, чтобы кто-нибудь из них поставил свою подпись в обозначенном месте. Кто является автором этого документа? Родитель, подписавший его, учитель, который дал его вам, секретарь, напечатавший его или, может быть, администрация школы? Трудно сказать. Именно поэтому нам необходимы понятия локутора и произносящего.

Локутором будет тот, кто ответственен за высказывание, то есть тот, кто несет ответственность за высказанное в силу самого высказывания или, по крайней мере, ответственен за акт произнесения высказывания.

В нашем случае со школьником и его родителями проблемы нет. Само высказывание содержит в себе местоимение "Я", явственно указывающее на локутора, то есть на того, кто подписал данный документ. Но что если высказывание не содержит явного указания, подобного личному местоимению? Можем ли мы в этом случае считать локутора ответственным в полном объеме за содержание высказывания? Следует ли все сказанное (и подразумеваемое) в высказывании рассматривать как его точку зрения?

Именно здесь нам понадобится представление о произносящих высказывание голосах, или высказывающихся (*utterers*)⁴. Согласно Дюкро, в каждом высказывании могут встретиться несколько *высказывающихся*, иначе говоря, в одном высказывании могут содержаться несколько различных точек зрения. Позиция Дюкро в действительности даже более радикальна. Он полагает, что любое высказывание может при анализе открыть по крайней мере две высказывающие позиции.

Рассмотрим такой пример:

(14) *Этот забор не красный.*

Локутор в этом высказывании являет две позиции. Именно:

- первая позиция (П1) утверждает, что забор красный;
- вторая позиция (П2) отрицает предыдущую.

При этом сам локутор, то есть тот, кто ответственен за высказывание, присоединяется к П2.

Что делает такой анализ возможным и позволяет нам различать несколько высказывающих позиций в одном высказывании? В нашем примере -- это тот факт, что не существует таких заборов, которые были бы "не красными", "не желтыми" или "не коричневыми". Разумеется, забор может быть описан как не красный, не желтый или не коричневый, но это описание не даст нам никакого представления о действительном цвете забора. Значит, если некто говорит, что "X не есть ...", он несомненно выражает свое несогласие с кем-то, утверждающим противоположное, именно, что "X есть ..." (последнее утверждение также может быть полифоничным: говорящий, что "Забор красный", может возражать кому-либо, это отрицающему).

Но, вероятно, вы найдете такой аргумент слишком онтологическим, поэтому приведем чисто филологический пример, анафору. Дюкро [1996] полагает (и с этим мы уже не можем согласиться), что явление анафоры без привлечения полифонического анализа зачастую понять очень трудно.

Предположим, некто говорит: "Джон не придет," добавляя: "... и я сожалею об этом, поскольку это было бы неплохо." Во второй части высказывания имеются два анафорических местоимения: "я сожалею *об этом*" и "*это* было бы хорошо". Очевидно, что местоимение *это* в двух этих случаях указывает

⁴ Термин, который использует сам Дюкро и представители его школы во Франции, звучит как *enonciateur(s)*. Нам представляется, что «высказывающийся» (*utterer*) может быть лучшим переводом, чем «кизлагающий» (*enunciator*). Мы *излагаем* нечто по весьма формальным и торжественным поводам, тогда как мы *высказываемся* о чем угодно и постоянно - в ежедневном общении. И именно в последнем смысле термин *enonciateur* используется в телрии Дюкро.

на разные вещи. В фразе "я сожалею об этом" оно указывает на "Джон не придет". Во втором случае *это* указывает на предыдущее состояние дел: было бы хорошо, если бы Джон пришел.

Другой пример, на сей раз из области философии языка. Несколько лет назад я предложил анализ явных перформативов в терминах полифонического анализа [Загар, 1991а]. Именно, я утверждал, что высказывания типа

(15) *Я обещаю*

являются предельно странными. Разумеется, вы можете возразить, что это высказывание приводится здесь вне контекста, поэтому рассмотрим его в одной из возможных "контекстуализированных" форм:

(15а) *Я обещаю прийти.*

К сожалению, и в этом случае высказывание выглядит несколько странно. Трудно представить себе человека, произносящего это высказывание просто так, ни с того, ни с чего. Вы снова можете возразить, что это высказывание в данном случае также находится вне контекста, и что локутор в действительности отвечает в нем на такой, например, вопрос:

(16) *Ты придешь?*

Хорошо, у нас теперь есть непосредственный контекст, однако такие диалогические связи, как

(17) А: *Ты придешь?*
Б: *Я обещаю прийти.*

по-прежнему составляют проблему.

Такой диалог, наверное, может произойти в греческой трагедии, но не в обычном разговоре. Что-то здесь не вполне нормально: тут слишком много информации, или, напротив, чего-то не явно недостает.

Наиболее естественным ответом на вопрос (16), если мы остаемся в "позитивном" регистре, будет или:

(18) *Да.*

или

(15б) *Я приду.*

Однако сомнительно, чтобы ответом было высказывание (15а). Если мы, тем не менее, отвечаем именно так, то это является указанием на некоторую добавочную информацию, которая отсутствует. Сравним следующие два фрагмента диалога:

I	II
(17') А: <i>Ты придешь?</i>	(17) А: <i>Ты придешь?</i>

В: *Я приду.*

В: *Я обещаю прийти.*

В чем состоит различие между этими диалогами? В первом случае Б дает прямой ответ на вопрос А, подтверждая, что он придет. Во втором случае Б не дает прямого ответа на вопрос А, но дает ему обещание, в торжественной форме обязывая себя прийти. Что это может означать?

Если присмотреться к ответу Б во втором из наших диалогов, то мы увидим, что Б вообще не отвечает на вопрос А. Ведь А не просил Б пообещать, что тот придет, но всего лишь спросил, придет ли Б. Это значит, что Б в действительности отвечает на некий другой (предыдущий) вопрос, отсутствующий в этом фрагменте разговора, но который *интерпретативно предполагается* самой формой словоупотребления перформативного префикса.

"Базовая структура" диалога, следовательно, должна быть скорее полилогичной, нежели диалогичной. Например:

- (17")
- А: *Мы устраиваем розыгрыш завтра вечером. Ты придешь?*
 Б: *Да, конечно.*
 В: *Это невероятно! Не могу поверить, что ты придешь!*
 Б: *Я обещаю, что приду.*

Разумеется, точки зрения различных участников диалога, как я их представил, не следует считать реальными высказываниями. Это всего лишь одна из возможных реконструкций контекста. Следовательно, точкам зрения этих мнимых участников не следует приписывать такой же статус, как и исходному высказыванию, с которого мы начали наш анализ, поскольку они не что иное как продукты того же анализа, а значит имеют сугубо умозрительный статус. Точки зрения отдельных участников следует представлять скорее в форме *отношений, позиций или ориентаций*. Такой анализ примера (17б) позволяет выделить одного локутора и по крайней мере три высказывающих позиции:

П1 представляет некий факт Ф (розыгрыш завтра вечером) и облекает сообщение этого факта в форму приглашения;

П2 распознает сообщение П1 и принимает приглашение;

П3 сомневается в искренности П2 и как следствие представляет согласие П2 как сомнительное;

П2а возражает П3 и повторяет обещание в торжественной форме.

Один из самых известных примеров Дюкро -- прагматика использования французского слова *toujours* [Cadiot, Ducrot, Nguyen & Vicher, 1985].

Рассмотрим такой аргумент:

- (12) *Allons au bistro. On y sera toujours au chaud.*
 (*Давай зайдём в бистро. По крайней мере там всегда тепло*).

Здесь различимы, согласно Дюкро, по крайней мере пять высказывающих позиций:

П1 сообщает факт Ф, в нашем случае свойство С (тепло) некоего объекта (бистро), представляя это свойство как достоинство объекта О;

П2 использует это позитивное качество как аргумент, достаточный для вывода В (давай зайдем в бистро);

П3 указывает на свойство С как весьма слабое утешение;

П4 отмечает, что в силу своей слабости аргументативная ценность факта Ф сводится на нет, и тем самым отрицает мнение П2;

П5, с другой стороны, полагает, что свойство С, хотя и слабое, но все же утешение (слабое утешение, но все-таки нечто), отвергая таким образом мнение П4.

Итак, мы остаемся с одной частицей, пятью высказывающими позициями и фундаментальным вопросом: имеется ли предел количеству позиций, которые мы можем выделить в рамках одного аргумента? Дюкро отвечает: в принципе, нет. Количество таких позиций может быть каким угодно. Мне кажется, однако, что нам следует быть более аккуратными в нашем анализе, и не умножать количество позиций более, нежели это необходимо для самого анализа. В данном примере я не вижу, в частности, резона для разделения позиций П3 и П4. Такое различие слишком гипотетично: оно не подкреплено данными, поскольку использование частицы *toujours* указывает только на то, что аргумент слаб (поддерживая тем самым точку зрения П3), но никак не указывает на то, что аргумент слишком слаб до такой степени, что утрачивает всякую силу. Иными словами, если принимать полифонический анализ всерьез (а мы видели, что он может быть по крайней мере полезным аналитическим средством), то необходимо по возможности строго придерживаться *эмпирических данных*, а не своих *предположений*.

Наконец, вернемся еще раз к примеру (12) - к фразе, отвечающей (и отказывающей) на приглашение пройтись:

(12) *Тепло* (аргумент), *однако я устал* (заключение).

Дюкро [1996] выделяет здесь по крайней мере четыре высказывающих позиции: П1 и П2 относятся к "*тепло*", а П3 и П4 -- к "*я устал*". П1 описывает погоду, говоря: "*Тепло*". Это утверждение (учитывая, что некто предложил прогуляться) является аргументом в пользу прогулки. Таким образом П1 подкрепляет свой аргумент топосом, наподобие:

Т1 *Чем теплее, тем приятнее будет прогуляться*⁵

Затем появляется второй участник П2, который, на основании высказывания П1, соглашается на прогулку. Однако П3, чей голос слышится в "*Я устал*", напротив, поддерживает свой аргумент топосом типа:

Т2 *Чем хуже физическое самочувствие, тем меньше удовольствия в прогулках*.

Таким образом, обосновывая высказыванием "*Я устал*" свое нежелание идти на прогулку, говорящий привлекает физическое самочувствие как свой-

⁵ К сожалению, объем статьи не позволяет обсуждать здесь детали различия между полифонией и топосами. Подробнее об этом: Ducrot (1996) и Zagar (1995).

ство, которое делает прогулку неприятной. Наконец, имеется некто П4, который на основании позиции П3 заключает, что никуда идти не стоит.

В одной из своих работ [1997] я подверг этот анализ критике, указав на то, что если П2 заключает нечто из позиции П1, а П4 -- из позиции П3, то зачем нам вообще нужны П2 и П4? Для получения требуемого мы вполне можем обойтись без их участия.

Таким образом, принимая полифонический анализ всерьез, мы не должны забывать: отдельные голоса ни в коем случае не являются конкретными лицами, которые могут слушать друг друга и самостоятельно делать выводы. *Различные голоса являются всего лишь различными высказывающими позициями, точками зрения, выделяемыми внутри одного аргумента.* Они не являются реальными сущностями, но всего лишь умозрительными (и аналитическими) конструкциями, помогающими нам реконструировать ход аргументации. С этой точки зрения, если мы хотим вычислить все мнения внутри одного аргумента, П2 и П4 нам также не нужны.

Литература

- Бахтин М. Слово в романе // Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 72-233.
- Бахтин М. Проблемы творчества / поэтики Достоевского. Киев, 1994.
- Волошинов В.Н (Бахтин М.М.). Марксизм и философия языка. М., 1993.
- Anscombe J.-C. and Ducrot O. L'Argumentation dans la langue. Brussels: Mardaga, 1983.
- Cadiot A., Ducrot O., Nguyen T-B. & Vicher A. Sous un mot, une controverse: Les emplois pragmatiques de "Toujours". Modeles linguistiques VII/2. 1985.
- Ducrot O. Dire et ne pas dire. Paris: Herman, 1972.
- Ducrot O. La preuve et le dire. Paris: Mame, 1973.
- Ducrot O. Structuralisme, énonciation et sémantique. Poétique 33. 1978.
- Ducrot O. Les échelles argumentatives. Paris: Minuit, 1980.
- Ducrot O. Note sur l'argumentation et l'acte d'argumenter. Cahiers de linguistique française 4. 1982.
- Ducrot O. Opérateurs argumentatifs et visée argumentative. Cahiers de linguistique française 5. 1983.
- Ducrot O. Le dire et le dit. Paris: Minuit, 1984.
- Ducrot O. Peut-on séparer sémantique et pragmatique. Manuscript. 1992.
- Ducrot O. Slovenian lectures/Conferences slovenes. Ljubljana: ISH, 1996.
- Ducrot O. et al. Les mots du discours. Paris: Minuit, 1980.
- Van Eemeren F.H, Grootendorst R, and Kruiger T. The study of argumentation. New York: Irvington Publishers, Inc., 1984.
- Moeschler J. Argumentation et conversation. Elément pour une analyse pragmatique du discours. Paris: Hatier-Credif, 1985.
- Toulmin S. The uses of argument. Cambridge: Cambridge University Press, 1974.
- Zagar I. Z. How to Do Things with Words - The Polyphonic Way. In Zagar, I.Z. (ed.). Speech Acts: Fiction or Reality. Ljubljana: Institute for Social Sciences. 1991(a).
- Zagar I. Z. Argumentacija v jeziku proti argumentaciji z jezikom. Anthropos, III/IV. 1991(b).

- Zagar I. Z. O polifoniji, argumentativnem prizakovanju in njegovem sprevašanju. Časopis za kritiko znanosti 140/141. 1992.
- Zagar I. Z. Argumentation in language and the Slovenian connective *pa*. Antwerp: Antwerp Papers in Linguistics 84. 1995.
- Zagar I. Z. From reported speech to polyphony, from Bakhtin to Ducrot. In Bakhtin and the Humanities, Proceedings of the International Conference, October 19-21, 1995. Ljubljana: ZIFF, 1997.

Прагматика и мониторинг международной коммуникации

Джеф Фершуерен
УНИВЕРСИТЕТ АНТВЕРПЕНА, БЕЛЬГИЯ

Вступление

В этой работе я затрону область применения лингвистической прагматики, которая в большой степени зависит от систематического построения теории. Она также в значительной степени ориентирована на будущее, как в смысле мотивов написания и содержания, так и в смысле своей программной природы, относящейся к направлению исследований на будущие годы. Работа построена следующим образом. Прежде всего, я определю сферу применения, международную коммуникацию. Затем будет определена теоретическая перспектива для подхода к международной коммуникации. Эта перспектива является прагматической, причем прагматика понимается как фундаментально междисциплинарный (то есть когнитивный, социальный и культурный) подход к изучению того, как используется язык. Третья часть будет посвящена роли языка в международной коммуникации, причем эта роль рассматривается с точки зрения прагматики. На этом этапе будет поднят вопрос о языке и идеологии. В-четвертых, будет произведена переоценка темы глобализации в свете прагматического взгляда на международную коммуникацию. В-пятых, будут сделаны выводы, относящиеся к необходимости мониторинга международной коммуникации. В работе будут приведены специфически англоязычные примеры, относящиеся к одному дню передачи новостей в некоторых ведущих американских изданиях массовой информации.

Перевод с английского Л. Яницкого
E-mail автора: versch@uia.ua.ac.be

1. Международная коммуникация

Прежде всего, мне хотелось бы определить сферу применения лингвистической рабочей программы, которая стала темой данной работы. Как видно из заглавия, этой сферой является *международная коммуникация*. Чтобы избежать неправильного понимания, необходимо сначала определиться с природой *международных отношений*. Было бы очень удобно ограничить сферу международных отношений как сферу отношений между народами или государствами. Однако, сделав так, мы, наверно, не поняли бы самого главного. Народы и государства, подобно империям, не являются неизменными сущностями. Они представляют собой результат процессов, которые на некоторое время могут останавливаться, но которые возобновляются и изменяют мир, как только обстоятельства складываются соответствующим образом. Недавнее объединение двух Германий и сопровождавшийся войной распад Югославии – это лишь два примера. Поэтому главное – это тот способ, которым множество идентифицируемых или самоидентифицирующихся групп населения относится, во-первых, друг к другу, в общественной сфере гражданского общества, а во-вторых, к институционализированным структурам типа государств. В свете этого замечания я буду использовать термин «международные отношения» как краткое выражение для различных аспектов отношений между национальными, этническими, культурными или по-другому идентифицируемыми группами или сообществами, как на межгосударственном, так и на внутригосударственном уровнях. Такие отношения всегда реализуются в публичной сфере и часто сопряжены с процессами формирования нации и создания коллективной идентичности.

В сфере международных отношений широкий круг тем был подробно исследован социологами и политологами: проблемы мира и безопасности (включая раннее предупреждение, предотвращение конфликтов, разрешение конфликтов, мирные переговоры и соглашения), контроль за вооружениями и расходы на вооружение, геополитические и стратегические проблемы, иностранная политика, экономическое развитие и его отношение к проблемам безопасности, окружающая среда, международная реакция на чрезвычайные ситуации (например, гуманитарные и миротворческие операции, необходимость которых вызвана природным катаклизмом или войной), этнические и общинные конфликты, права человека и демократия, роль средств массовой информации (используемых для передачи информации, дезинформации и пропаганды), и роль новых информационных и коммуникационных технологий.

Стало общим местом говорить, что для большинства этих проблем информация играет решающую роль, и что поэтому *международная коммуникация* заслуживает внимания сама по себе. Сама природа международных отношений, однако, претерпела серьезные изменения за последние несколько десятилетий. Эти изменения связаны с феноменом коммуникации и диктуют самый способ исследований международной коммуникации сегодня.

Прежде всего, произошел настоящий взрыв в развитии средств коммуникации. Это наблюдение сейчас стало общим местом. Кроме того, наблюдаемый феномен не является действительно новым. Его развитие началось столетия назад с изобретением печатного станка, и уже в начале девятнадцатого столетия произошло стремительное расширение роли средств массовой информации, отчасти как результат применения новых печатных технологий, а

отчасти из-за более широкого распространения грамотности. Затем, в нашем столетии появились радио и телевидение, что обнаружило тенденцию к сосуществованию разных типов средств массовой информации, а не к замене одних типов другими. Это остается верным, по-видимому, и по отношению к новейшему феномену в области средств коммуникации – Интернету, который по самой своей природе может распространять формы дискурса гораздо быстрее и в более широком масштабе, чем это было возможно ранее, но который не мешает ни существованию журналов (количество которых, как ожидается, будет расти), ни существованию газет (хотя им, возможно, придется адаптироваться – как многие газеты делают уже сейчас, ориентируясь на более конкретную и, возможно, более узкую аудиторию и создавая выпуски в Интернете). Интернет не заменит и телевидение, хотя Интернет и телевидение могут взаимодействовать различными неожиданными способами¹. Интересно, как факт кумулятивного развития средств массовой информации может быть связан с растущей интернационализацией средств массовой информации, но гораздо более интересны его последствия для природы международных отношений. В течение долгого времени можно было полагать, что большинство людей в значительной степени не знали о событиях и действиях, которые мы теперь воспринимаем как содержание мировой истории. Когда фермеры в северной Франции в конце XVI столетия укрепляли церкви, чтобы они служили убежищем для них и их скота, они были озабочены личной безопасностью во время частых пограничных стычек между французскими солдатами и испанцами, которым тогда принадлежала территория современной Бельгии. Возможно, что они не сознавали глобальные геополитические проблемы отношений между Францией и Испанией. За исключением сферы непосредственного личного столкновения с последствиями международных событий, международные отношения в целом были делом правящей элиты. Бурное развитие средств коммуникации радикально изменило ситуацию в том смысле, что *все происходящее сегодня потенциально входит в дискурсивный мир гораздо большего количества людей, чем в предшествующие периоды истории. Другими словами, в международных отношениях гораздо большее количество событий приобретает значение для людей беспрецедентными путями и в беспрецедентном масштабе.* Общественное мнение сейчас обладает потенциально большим содержанием, чем раньше. Обратите внимание, что я дважды использовал слово «потенциально» в предшествующем тексте. В дальнейшем я не буду обращаться к этой проблеме в прямой форме, но моя аргументация будет также относиться и к ее разрешению. Прежде всего, хотелось бы показать, как изменения на уровне коммуникации повлияли на характер международных отношений как таковых. Приведу лишь один пример из новейшей истории. Трудно предположить, чтобы революционные изменения, произошедшие в Центральной и Восточной Европе в 1989 г., могли развиваться с такой скоростью, с такими результатами и в таком количестве различных мест, если бы не постоянное внимание и немедленная реакция международных средств массовой информации². Как пишет Дж. Томпсон (Thompson, 1995. С.116), «предоставляя людям картины событий и информацию о событиях, которые происходят в местах, далеких от их социального окружения, средства массовой информации могут стимулировать или усиливать формы коллективного

¹ В работе (Wolf & Sands, 1999) содержатся некоторые предсказания такого рода.

² Этот пример см. в (Boden, 1992).

действия, которые может быть трудно контролировать при помощи существующих механизмов власти».

Другое изменение в характере международных отношений в последние годы связано с *процессами демократизации*, примеры которых находим опять-таки в Центральной и Восточной Европе. Демократия, без сомнения, является относительным понятием. Иногда мне достаточно трудно воспринимать мою собственную страну, Бельгию, как демократическое государство. Мое последнее разочарование в этом смысле произошло, когда в начале 1999 г. я обнаружил, что нахожусь в воюющей стране, причем вступлению Бельгии в войну против Югославии не предшествовали никакие политические дебаты, ни публичные, ни парламентские. Даже если событие только «потенциально» может быть осознано общественностью, и даже если общественное мнение необязательно формирует политику, тот факт, что страна воспринимается как демократическая или представляет себя как демократическое государство, обязательно приводит к тому, что политические акции в большей степени зависят от возможного влияния общественного мнения или от общественных идеологий, относящихся к межгрупповым отношениям, которые создают сущность международных отношений (как мы определили их ранее). Другими словами, *в связи с растущей возможностью осознания общественностью события как результата растущих возможностей средств коммуникации и в связи с ограничениями, которые демократия накладывает на пренебрежение общественным мнением, политический ход событий все в большей степени зависит от того, принимают ли политики в расчет распространенные или доминирующие мнения, идеи и устремления*. Результатом этого становится большая необходимость объяснения и легитимизации, которая в свою очередь, влияет на количество и качество международной коммуникации.

Выводы из этих наблюдений по отношению к исследованию международной коммуникации будут сделаны позже. Еще несколько слов нужно сказать об объекте исследования. Часто предполагалось, что самая интересная часть международной коммуникации проходит за закрытыми дверями, на конфиденциальных дипломатических встречах или на секретных переговорах с неизвестной повесткой дня. Хотя и в самом деле было бы интересно исследовать их, сказанное мной ранее подразумевает, что более важно и более интересно систематически изучать доступные для общественности формы международной коммуникации, поскольку они все в большей степени находятся в центре того, что происходит в международных делах. Для большей ясности уточню, что *доступные общественности формы международной коммуникации* включают:

- международные новости и комментарии в различных средствах массовой информации (таких как печать, радио, телевидение и во все большей степени Интернет);

- некоторые из источников, на которых основываются новости (такие как пресс-релизы и заявления для прессы, многие из которых также непосредственно доступны через Интернет);

- непосредственные формы международного взаимодействия в той мере, в какой они открыты для наблюдения (например, дебаты, открытые для прессы и общественности);

- тексты (предложения для) международных соглашений.

Эти «объекты» исследования мы имеем в виду, когда определяем международную коммуникацию как предмет лингвистических исследований.

Прежде чем перейти к описанию прагматической перспективы, которую я использую для подхода к международной коммуникации, я хотел бы сделать одно замечание по поводу термина *межкультурная коммуникация*. Мое понимание термина «международный» относится не только к взаимодействию через национальные или государственные границы, но в той же степени - и к взаимодействию между иными группами населения. В отличие от термина «международная коммуникация», который я использую в смысле взаимодействия в публичной сфере на уровне групп, термин «межкультурная коммуникация» я использую в узком смысле *взаимодействия между людьми или небольшими группами людей, принадлежащих к различно идентифицируемым или идентифицированным группам*, - взаимодействия, которое происходит в частных или институционализированных контекстах, но не в публичной сфере и не на групповом уровне как таковом. У такого разграничения есть то преимущество, что оно освобождает понятие межкультурной коммуникации от его нежелательной коннотации со стабильными или фиксированными культурными единствами (или «культурами») и переносит локус вариативности на его истинное место, то есть на индивидуальный уровень, поскольку каждый индивид обязательно принадлежит ко многим различным группам, и лишь некоторые из них могут быть названы «культурными». Таким образом, мы избегаем атрибуции коммуникативных феноменов культурным различиям³.

2. Прагматическая перспектива

Теперь мне хотелось бы определить ту лингвистическую перспективу, с которой я подхожу к примерам международной коммуникации. Конкретно, это прагматическая перспектива, причем «прагматика» здесь понимается как фундаментально междисциплинарный (то есть когнитивный, социальный и культурный) взгляд на использование языка. Его основная предпосылка в том, что использование языка, как в аспекте продуцирования, так и в аспекте интерпретации заключается в постоянном осуществлении выбора на всех структурных уровнях, с разнообразными контекстуальными ограничениями. Эти ограничения различно расположены по отношению к рефлексивному осознанию и вносят динамический вклад в процесс порождения значения. Другими словами, общая задача прагматики заключается в том, чтобы понять *смысловое функционирование языка как динамический процесс, происходящий в отношениях контекст-структура на различных уровнях значимости*. Чтобы понять парадигму осуществления выбора, важно определить три ключевых понятия: вариативность, договорной характер выбора и адаптивность. *Вариативность* – это свойство языка, которое определяет круг возможностей, из которых может быть сделан выбор – круг, который сам по себе является гибким и постоянно меняющимся. *Договорной характер выбора* – это свойство языка, отвечающее за тот факт, что выбор осуществляется не механически и не в соответствии со строгими правилами или фиксированными отношениями

³ Хотя это разграничение проводится по-другому, некоторые ведущие к нему мотивы могут быть найдены в работе (Blommaert & Verschueren (eds.), 1991) особенно во введении и в рассуждениях Бломмерта о культурном содержании межкультурной коммуникации.

между формой и функцией, а, скорее, на основе очень гибких принципов и стратегий. Наконец, *адаптивность* – это свойство языка, которое позволяет людям осуществлять на договорной основе лингвистический выбор из вариативного круга возможностей таким образом, чтобы достичь коммуникативные цели. Сама по себе концепция адаптивности не привносит ничего существенного нового, но она дает нам возможность определить четыре точки зрения, с которых прагматические исследования должны подходить к своим темам. Во-первых, нужно идентифицировать *контекстуальные корреляты адаптивности*, то есть составные части коммуникативного контекста, с которыми интерадаптивны лингвистические возможности выбора в определенном примере использования языка. Во-вторых, процессы, о которых идет речь, должны быть определены по отношению к различным *структурным объектам адаптивности*, то есть различным уровням языковой структуры, на которых осуществляется выбор или к которым он так или иначе привязан. В-третьих, любое прагматическое описание или объяснение должно принимать в расчет *динамику адаптивности*, то есть реальные процессы порождения значения. В-четвертых, необходимо учитывать различия в *значимости процессов адаптации* по отношению к осознанности (в противоположность автоматичности) или рефлексивному осознанию.

Размеры статьи не позволяют расширить теоретическую часть работы, и в данном контексте я могу отослать к книге, посвященной этому предмету (Verschueren, 1999). Здесь же максимальное внимание будет уделено использованию прагматической теории для изучения феномена международной коммуникации⁴. В этом разделе я ограничусь, главным образом, рассмотрением контекстуальных ограничений на продуцирование международной коммуникации, взяв в качестве примера средства массовой информации, передающие новости. Контекстуальная и институциональная встроенность передающих новости СМИ – это область, в которой лингвисты могут и должны свободно полагаться на работы других исследователей, в то время как они сильно рискуют, игнорируя эти работы. Здесь я отсылаю к обширной литературе по практике передачи новостей, последствиям этой практики, ее структурной институциональной встроенности в процессы формирования международной коммуникации в средствах массовой информации. Многие социологи, специалисты по СМИ и политологи (такие как Томпсон, Ганс, Шудсон, Хесс⁵ и многие другие) тщательно изучили рост СМИ как системы организаций, экономических предприятий и, во все большей степени, как обширных конгломератов СМИ, которые зависят от политических сил, рынка, скорости работы и конкурентоспособности. Внимание привлекалось и к негативному влиянию этих зависимостей на самое содержание СМИ. Так, указывалось, что растущее количество информации не всегда означает, что информация в равной степени доступна разным людям. Хесс (1996) указывает на то, что в США, например, международные новости интересуют людей меньше, чем пару десятилетий назад, в то время как американское участие в мировых делах активно как никогда, а внешняя политика США в большей степени, чем когда-либо, зависит от общественного мнения, в значительной степени формируе-

⁴ В необходимых случаях я буду ссылаться на места из этой книги, которые предоставят более подробное объяснение для излагаемого. Например, перечисленные ключевые понятия более полно объясняются во второй главе, страницы 55-68 из указанной книги.

⁵ См.: (Gans, 1979; Hess, 1996; Schudson, 1978; 1995; Thompson, 1995).

мого телевидением. Автор привлекает внимание к еще одному аспекту неравномерного распространения информации: элиты, обладающие необходимым временем, интересом и деньгами, имеют доступ к большему объему международной информации, чем когда-либо, а те, кто зависит от вечерних новостей и местной газеты, «не получают информацию, которая отражает важность мира для их жизни» (Там же. С. XIII). Также указывалось, что растущее количество информации не обязательно сочетается с более высоким ее качеством. Напротив, количество идет рука об руку растущими экономическими интересами в производстве СМИ. Этот эффект этого можно, например, наблюдать в Беркли (Калифорния, США), где с большой поддержкой местного населения сотрудники радиостанции KPFA объявили забастовку. Эта легендарная радиостанция в Беркли, основанная в 1960-е годы как альтернативное, поддерживаемое слушателями и критическое свободное радио, оказалась настолько успешной, что выступила основой для национальной сети подобных радиостанций, руководимой фондом *Pacifica*. Однако большее количество станций означало вовлечение больших экономических интересов. Вследствие этого, руководство захотело придать сети более общепринятый характер, что привело к ограничениям на вещание и к увольнению тех, кто не хотел подчиниться новым директивам. Это послужило причиной забастовки. Это пример относительно небольшого масштаба, касающийся процессов, которые идут во всем мире - где четыре конгломерата СМИ (*Time Warner*, *The Bertelsmann Group*, *Rupert Murdoch's News Corporation*, *Silvio Berlusconi's Fininvest*) доминируют над средствами массовой информации.

В контексте этой работы невозможно описать все проявления контекстуальных ограничений на международную коммуникацию. Поэтому я просто приведу данные анализа, который ежемесячник *Brill's Content*, посвященный критическому анализу содержания средств массовой информации, недавно провел в связи с освещением в американских СМИ последней войны на Балканах - в статье, озаглавленной «С войной поступают как с Моникой» (Brill, 1999). Главная мысль статьи заключается в том, что СМИ одинаково освещают любую злободневную тему - как тривиальную связь, захватывающую воображение публики, так и войну, где решаются вопросы жизни и смерти. Я проиллюстрирую главные аспекты этой тенденции, описанной Бриллом, примерами из материалов на международную тематику, взятых из ряда американских изданий массовой информации в случайно выбранный день в Сан-Франциско.⁶

⁶ Этим днем был вторник, 27 июля 1999 года. Город: Беркли, Калифорния. Я выбрал следующие газеты, все они продавались на ближайшем углу: *San Francisco Chronicle* (далее SFC), *USA Today* (USAT), *Los Angeles Times* (LAT), и *The New York Times* (NYT). Я не выбирал газеты местного характера (такие как *The Oakland Tribune*, *The Berkeley Voice* и несколько других), а также ориентированный на бизнес и финансы «Уолл-Стрит Джорнэл». Точно так же я выбрал следующие журналы, содержащие новости: *Newsweek* (далее N), *Time* (T), и *U.S. News & World Report* (USN). Я не выбирал журналы узкого профиля (такие как *The New Republic*, который представляет себя как журнал, посвященный политике и искусству, или *The New Yorker*, уделяющий основное внимание комментариям, или *Life*, в котором преобладают истории, занимательные для широкой публики), а также ежемесячные журналы (такие как *The Atlantic Monthly* и *Harper's Magazine*) и еженедельные журналы, издаваемые за границей (такие как *The Economist*, издаваемый в Лондоне). Комментарии и обзоры в этой статье будут касаться только междуна-

Первое, к чему Брилл привлекает наше внимание, – это то, что поскольку «машина СМИ сейчас является столь массивной, в такой степени конкурирующей с другими СМИ и настолько руководствуется финансовыми задачами», что она «всегда нуждается в новом материале, максимально противоречивом или исключительном». На практике это означает, что любая информация из любого источника, надежного или ненадежного, будет передана СМИ еще до подтверждения, хотя она обычно снабжается косвенным «подтверждением», чтобы избежать возможных обвинений в передаче ложной информации. Этот процесс легко наблюдать. Возьмем пример (1):

(1)

Пекин – Китайское правительство арестовало около 1200 правительственных чиновников, обвиняемых в связях с запрещенной религиозной сектой *Falun Gong*, как вчера сообщила одна из групп, следящих за соблюдением прав человека (SFC. С.8).

Ясно, что если об этом событии было сообщено только вчера, то подтверждение из независимых источников было невозможно получить до размещения этой новости в газете. Возможную критику такой практики легко отвести, приписав сообщение какому-либо конкретному источнику, в данном случае, Гонконгскому Центру по правам человека и Демократическому движению Китая. Эта метапрагматическая встроенность, которая теперь сопровождает почти все сообщения о новостях, заменяет непосредственное наблюдение журналистов, демонстрируя дополнительное измерение коммуникативного содержания любых передающихся «новостей»: чтобы что-то могло считаться новостями, ему достаточно появиться в мире дискурса. Следствием этого становится то, что часто любой анонимный источник становится участником игры, а любая рассказанная история быстро используется в СМИ.

Во-вторых, по словам Брилла, машина СМИ представляет собой, как правило, цирк с одной ареной, и ее внимание непостоянно и кратко. Внимание моментально переключается. Одним из результатов этого заключается в том, что на длинные истории не хватает терпения. Даже от войн ожидают, что они будут быстрыми и легкими; если они длятся слишком долго, внимание СМИ иссякает вместе с возможно необходимой общественной поддержкой (либо для ведения войны, если страна целевой аудитории в нее вовлечена, либо для спасательных операций). Другим результатом тенденции к моментальности является то, что редко проводятся параллели с ранее происходившими событиями; например, события в Косово не сравнивались с этническими чистками в Краине, осуществляемыми хорватами с материально-технической поддержкой США всего несколькими годами ранее, в 1995 г. Внимание не только быстро переключается, но, особенно на телевидении, уделяется одному событию в ущерб освещению всего остального. В меньшей степени это касается печати. Тем не менее, в моей подборке прессы за один день ведущей историей во всех трех еженедельниках (N, T, и USN) была катастрофа самолета с Кеннеди младшим, из-за этого на международные новости осталось мало места (см. таблицу 1 ниже); то же самое происходило во всех газетах в течение предыдущей недели. Поскольку Кеннеди к тому времени нашли и похорони-

родных новостей (определяемых в соответствии с нашим пониманием международных отношений). Мы не будем уделять внимание разделам журналов, посвященным исключительно бизнесу, искусству или спорту.

ли, к 27 июля газеты полностью перешли на другие темы, и их основные темы отражали предполагаемые интересы целевых аудиторий (убийства в районе Йосемит в двух калифорнийских газетах, SFC и LAT; резкое повышение температуры на Среднем Западе в одной общенациональной газете, USAT). Различные или не так четко идентифицируемые темы были характерны только для NYT. Помимо основных тем, освещался весьма широкий круг событий, как видно из обзора в Таблице 1.

Обзор показывает, что темы очень четко группируются, и этот процесс по отношению к событиям за пределами США, по-видимому, руководствуется двумя правилами: чем более непосредственным является недавнее вмешательство США или чем больше традиционные интересы США в данном регионе (например, на Ближнем Востоке, в Китае или на Тайване), тем больше в прессе полномасштабных статей (в отличие от кратких сообщений); большинство же статей, которые не предполагают вмешательство США, касаются хроники происшествий (например, охота на лис в Англии или хаос в бразильской системе телекоммуникации).

Таблица 1. Обзор тем международных новостей

Цифры обозначают номера страниц. Квадратные скобки означают краткие заметки, а не статьи; фигурные скобки – редакционные комментарии; косые черты – письма редактору или мнения приглашенных аналитиков.

Таблица 1.1. Американские темы «международного» характера

	SFC	USA T	LAT	NYT	N	T	USN
Общие							
Общественное строительство и расовые проблемы	2	(5)	-	14	-	-	-
Предложение 187	-	-	12	-	-	-	-
Преступления на почве расовой ненависти	-	-	/14/	-	-	/11/	-
Латиноамериканцы							
Общее	-	-	-	-	/16/	-	-
Латиноамериканцы и расовые преступления	2	(2)	3-9	-	-	-	-
Латиноамериканцы и выборы	2	(13)	-	-	-	-	-
Беженцы							
Возвращение беженцев в Косово	-	-	-	(19)	-	-	-

Таблица 1.2. Зарубежные темы, относящиеся к сфере прямого вмешательства США

	SFC	USA T	LAT	NYT	N	T	USN
Американский континент							
Война против наркотиков в Колумбии	(10)	7	-	4	-	-	-
Куба и США/Канада	-	-	-	(10)	-	-	-
Европа							
Мирный договор на Балканах	8-10	8	-	-	-	-	-
Помощь Косово	10	-	1-4	8	-	-	-
Этническое насилие в Косово	-	/14/	4	8 {22}	-	-	-
Албанцы и русские в Косово	-	-	-	-	-	-	40
Мины и бомбы в Косово	-	-	-	-	(6)	-	-
Военные преступники в Боснии	-	-	-	-	-	-	(5)
Отношения Москва-Вашингтон	(10)	(9)	3-9	8	44-45	-	-
Русские шпионы	-	(13)	-	-	-	-	-
Азия							
Отношения с Северной Кореей	8	-	11	-	-	-	-
Отношения с Тайванем	-	-	-	-	-	63	-
Торговля с Китаем	-	(13)	{14}	-	-	-	-
Китайские шпионы	-	-	-	-	(6)	-	-
Африка							
Клинтон и Марокко	-	/14/	-	-	-	-	-
Ближний восток							
Экспорт в Иран, Ливию, Судан	(5)	-	-	-	-	-	-
Клинтон и Сирия	-	9	-	(3)	-	-	-
Клинтон и Барак	-	-	-	-	-	64	-

Таблица 1.3. Зарубежные темы, не касающиеся вмешательства США или относящиеся к непрямому вмешательству США

	SFC	USA T	LAT	NYT	N	T	USN
Американский континент							
Партийные выборы в Мексике	(10)	-	-	4	-	-	-
Убийства на Ямайке	(10)	-	-	-	-	-	-
Выборы в Венесуэле	-	(9)	-	-	-	-	-

Таблица 1.3 (продолжение)

	SFC	USA T	LAT	NYT	N	T	USN
Телекоммуникация в Бразилии	-	-	1-4	-	-	-	-
Аргентина: будущее Менема	-	-	-	(10)	-	-	-
Европа							
Уроки вождения принца Уильяма	(8)	-	-	-	-	-	-
Охота на лис в Британии	-	-	-	-	-	-	42
Словакия (нападение на китайцев)	-	-	-	10	-	-	-
Отношения Турции и Греции	-	-	-	-	(10)	-	-
Партийные выборы в Испании	-	-	-	(10)	-	-	-
Сербская оппозиция	-	-	-	/22/	-	-	-
Азия							
Гонения на <i>Falun Gong</i> в Китае	8	-	-	1-10 /23/	(6)	-	42
Тайвань и Китай	8	(9)	-	-	-	62- 63	-
Насилие в Индонезии	(10)	-	-	(10)	-	-	-
Выборы в Индонезии	-	-	-	(10)	-	-	-
Индия: святость матери Терезы	(9)	-	-	(10)	-	-	-
Индия: война в Кашмире	-	-	-	(10)	-	/11/	-
Смерть Манглапуса в Маниле	-	-	13	17	-	-	-
Саранча в Казахстане	-	-	-	(10)	-	-	-
Африка							
Король Марокко Хасан второй	-	-	-	-	(11)	-	-
Новый король Марокко	-	-	-	3	-	-	-
Африканский рог	(10)	-	-	-	-	-	-
Этнические столкновения в Нигерии	(10)	-	-	(10)	-	-	-
Коррупция в Кении	-	-	-	6	-	-	-
Мир в Либерии	-	-	-	(10)	-	-	-
Ближний восток							
Палестинец в Израильском кнессете	12	(9)	1-4	3	-	-	-
Израиль и Сирия	-	/14/	-	-	-	-	-

Таблица 1.3 (окончание)

	SFC	USA T	LAT	NYT	N	T	USN
Мирные перспективы для Израиля	-	-	-	-	-	-	35-38
Израиль и Турция	-	-	-	-	-	-	38
Отношения Кувейта и Судана	-	-	-	(10)	-	-	-
Протесты против цензуры в Иране	-	-	-	(10)	-	-	(8)

Третья общая тенденция – это доминирование телевидения над печатью. Из этой зависимости, по Брилли, вытекают два следствия. Одно из них в том, что «поскольку разговоры на телевидении дешевле и обычно увлекательнее, чем настоящая журналистика, любая история на кабельном телевидении скоро начинает освещаться с двух равноправных сторон, так что о ней могут спорить в эфире две говорящих головы». Таким способом журналисты в состоянии избежать любого анализа, который может показать, что одна сторона проблемы (если вообще можно определить стороны) может быть более правильной, чем другая. Эта практика «беспристрастности» (которая не обязательно означает «справедливость» или даже «объективность») отчасти объясняется необходимостью быстро сообщать информацию в условиях конкуренции, подталкивающей, как говорилось ранее, к передаче неподтвержденной информации, а отчасти и интернациональным характером целевой аудитории (что подтверждается примером телекомпании CNN), значительные сегменты которой СМИ не могут позволить себе оттолкнуть, будучи экономическими предприятиями. С этой точки зрения, печать подвержена меньшим ограничениям, хотя существуют значительные различия между ежедневными газетами и еженедельниками. Хотя такой еженедельник, как *Time*, гораздо больше распространен, чем ежедневная газета, например, *San Francisco Chronicle*, он в большей степени склонен к вынесению оценок (то есть менее подобен телевидению в этом отношении). Как видно из различия нижеследующих примеров (2) и (3), основным фактором может быть скорость выпуска, которая затрудняет определение «позиции» по отношению к передаваемым событиям; другая причина может заключаться в том, что сообщение (2) в SFC, по видимому, просто взято из агентства *Associated Press*, которое, будучи международной организацией, возможно, вынуждено подвергаться тем же ограничениям, что и международные телевизионные сети. Примеры касаются конфликта между Тайванем и КНР, который возник после заявления президента Тайваня Ли Тенгхуи, что Тайвань и КНР должны строить отношения друг с другом как независимые государства.

(2)

«Тайбэй – президент Ли Тенгхуи вчера вновь подверг Китай резкой критике; он использовал самые жесткие выражения с того времени, как он навлек гнев пекинского режима, сказав, что Китай и Тайвань должны взаимодействовать как независимые государства.

Ли сказал, что гневная реакция Китая вызывает сожаление и что угроза Китая использовать военную силу против Тайваня показывает «гегемонистское» отношение.

<...>

Официальное китайское агентство новостей Синьхуа заявило вчера в редакционной статье, что высказывания Ли разрушили основу для контактов, поскольку они разрушили достигнутое ранее понимание того, что Тайвань и Китай должны рассматриваться как одна страна.

Гневный ответ Китая на заявление Ли усилил напряжение между сторонами до самого высокого уровня с 1996 года...» (SFC. С.8)

В то время как в примере (2) две стороны более или менее сопоставлены, и можно представить это сообщение как основу для телепередачи, в которой эта проблема дебатруется двумя «говорящими головами» на экране, в примере (3), взятом из статьи «Игра с огнем», ситуация иная:

(3)

«Президент Тайваня не мог устоять перед искушением высечь хорошую искру, но Азия – это не место для националистической пиромании» (Т. С.62).

Еще одно последствие доминирования телевидения, по Брилли, в том, что «лучше негативного или порождающего разногласия материала - только живая картина». Так же как общественное мнение оказывает влияние на политику, телевизионные образы воздействуют на общественное мнение. Самый распространенный пример этого в новейшей истории – это интервенция США в Сомали: общественность поддерживала отправку войск в декабре 1992 г., поскольку телевидение показывало живые яркие картины голодающих детей, но войска вывели из Сомали, как только по телевидению показали, как по улицам волокут убитого американского солдата. Эта практика передачи ярких живых картин перенимается печатью не только при использовании фотографий (как можно более шокирующих, особенно в еженедельных журналах), но также и в словах, которыми написан текст (часто с тем же отличием между двумя типами печати). Так, очень краткое упоминание признаков военного давления на умеренного президента Ирана Мохаммада Хатами со стороны кругов, менее терпимых к продемократическим выступлениям, сопровождается как убедительным заголовком – «Новая интрига разворачивается в Иране» (USN. С.8), - так и наиболее доступной яркой картиной общественных выступлений против Хатами в виде фотографии, снятой во время митинга в Вашингтоне.

Хотя прагматический подход к международной коммуникации всегда должен уделять внимание этим и подобным последствиям, их открытие и обнаружение как таковое не является задачей прагматического анализа. Некоторые лингвисты в прошлом ошибочно считали это своей целью, по-видимому, не зная о том, что эти процессы были полно и адекватно описаны многими социологами.⁷ Истинно прагматический подход использует знание этих контекстуальных параметров как отправную точку для начала анализа.

Сходным образом и мы должны использовать существующие описания (например, у (Schudson, 1978; 1995)) того, как различные *типы речевой дея-*

⁷ Подробный пример см. в (Verschuereen, 1985).

тельности развивались в ходе истории СМИ - от стадии непосредственного воспроизведения документов до стадии «репортажей» в современном смысле этого слова, и до стадии использования «интервью», причем ни репортажи, ни интервью долгое время не входили в репертуар дискурсных практик и могут быть определены как исторически возникшие виды деятельности. Эти типы деятельности создают *смысловые рамки*, в которых необходимо интерпретировать конкретные *речевые жанры* в СМИ.⁸

Все эти знания позволят нам сконструировать модель контекстуальных феноменов, которые будут интерадаптивны с динамическим осуществлением выбора в дискурсе СМИ в процессе порождения значения.⁹ При этом возникает решающий вопрос: в каком направлении мы должны вести исследования после данной отправной точки? Как предполагалось ранее, настоящие исследования начинаются только с анализом динамики порождения значения. В последующей части работы я попытаюсь сформулировать наиболее плодотворный подход к особому характеру международных сообщений в СМИ или международной коммуникации в целом, как она определялась ранее в этой работе.

3. Роль языка в международной коммуникации

В прошлом часто совершалась еще одна ошибка, когда целью исследования становился анализ необъективности, например, в передаче новостей. Результатом исследований такого рода выступали наблюдения и выводы о том, что репортажи совершенно не объективны, а укоренены в доминирующей идеологии, которую разделяют и журналисты, и их аудитория. Давайте оставим подобные наивные попытки оперировать понятием объективности, которое не может не быть всего лишь фикцией в социальном мире, состоящем из событий, неотделимых от субъективности ни на одном уровне. Ошибочным был не результат исследований, а сама постановка цели, поскольку результат легко можно было предсказать на основе здоровой теории функционирования языка. Если прагматика хоть что-то установила, то это - осознание и факт того, что коммуникация невозможна без общей почвы. Никогда нельзя эксплицитно выразить все стороны того, что имеешь в виду. Поэтому необходимо предполагать некую общую почву с аудиторией как основу для дальнейшей коммуникации. Если это верно для общения лицом к лицу, почему это не подходит для коммуникации на более широком общественном уровне, например, в основном одностороннем вербальном потоке от создателей новостей к их предполагаемой аудитории? Отсюда следует, что чем более широкой и обычной является предполагаемая аудитория, тем более стереотипным и доминирующим должен быть предполагаемый общий мир знаний. Это легко оценивать негативно, например, ссылаясь на Тойнби, который сказал, что глубина культурного феномена находится в обратном отношении к его способности распространяться». В самом деле, чем больше аудитория, которой стремятся достичь определенные СМИ, тем меньшее количество нюансов бу-

⁸ Для разъяснения этой терминологии и связанных с этим исследований см.: (Verschueren, 1999, p.151-156).

⁹ Для создания такой модели мы можем сослаться на описание различных измерений коммуникативных контекстов в (Verschueren, 1999, Chapter 3).

дет в их сообщении и тем проще будет это сообщение. Это не отражает ни свойства тех, кто производит сообщение, ни свойства людей, составляющих аудиторию, а является прямым последствием стремления достичь как можно более широкой аудитории. Тот же самый процесс действует в случае, когда на конференции доклады на пленарном заседании делаются более общими, чем специальные доклады, предназначенные для небольших групп слушателей на секционных заседаниях. Такое положение дел нужно не осуждать, а просто принять как факт, главную предпосылку или отправной пункт, от которого можно разворачивать интересные исследования.

Однако внимание к идеологии не было совершенно неоправданным. В области международной коммуникации основная смыслопорождающая роль языка, вероятно, заключается в способе, которым язык функционирует как носитель не подвергающихся сомнению идей или компонентов идеологий, - в то время как открыто язык функционирует как канал для передачи новой информации. Здесь главный вопрос заключается в том, как работает этот процесс и как мы можем его исследовать?

Все внутригрупповые взаимоотношения глубоко насыщены идеологическим содержанием. Члены групп взаимодействуют не в вакууме, а в контексте, в котором международные отношения формируются и политика поддерживается на основе взаимного восприятия и убеждений, относящихся к естественному, как предполагается, порядку взаимодействия. Как только способы мышления и понимания ощущаются как «нормальные», они становятся мощными орудиями легитимизации отношений, поведения и политики независимо от возможных последствий в виде дискриминации, схем доминирования и даже насилия. Возможны, однако, изменения перспективы. Подобные сдвиги обычно требуют критических происшествий, но поскольку идеологическая борьба (и, как следствие ее, большая часть социальной борьбы) концентрируется вокруг *значения*, может быть достаточно простых актов *подвергания сомнению*. Мощь и изменчивость идеологии превращают ее в обязательный объект для подробного изучения в общественных науках. Исследования не только могут помочь нам лучше понять некоторые процессы порождения значения, влияющие на жизнь всех людей, но они также могут провоцировать *сомнение*, столь необходимое в обществе. Это выражение надежды сознательно наивно, поскольку мы понимаем, что ученый может сделать лишь ограниченный вклад в этом деле, - но мы отказываемся при этом быть парализованными таким пониманием. Ограничения в самом деле серьезны. Чтобы оказывать какое-то воздействие, изменения перспективы должны расширяться за пределы индивидуального. Единственными инструментами, при помощи которых можно этого достичь, являются образование и СМИ, но и образование, и СМИ тесно переплетены с властными структурами, которые сопротивляются переменам. Более того, любая новая перспектива может подвергаться непредсказуемым изменениям и применениям. *Поэтому необходим постоянный мониторинг идеологических процессов.*

Как пишет Хобсбом в книге «Нации и национализм с 1780 года», идеологические процессы – такие как возрождение различных видов национализма в Европе – не могут быть поняты без «взгляда снизу». Но:

«Этот взгляд снизу, то есть нация, как она видится не правительствами, политиками и активистами националистических (или ненационалистических) движений, но обычными людьми, которые

и являются объектами действий и пропаганды политиков, - это взгляд снизу очень трудно обнаружить» (Hobsbawm, 1990. С.11).

В этой области традиционная социология и политология сталкиваются с практически неразрешимой проблемой. Инструменты анализа, находящиеся в их распоряжении, годятся главным образом для интерпретации открыто выражаемых отношений и позиций - либо спонтанно высказываемых (как в политической риторике и дебатах), либо выясняемых при помощи опросников. Однако более глубокие идеологические процессы проходят на менее сознательных или имплицитных уровнях моделей интерпретации, с которыми связаны все формы эксплицитной коммуникации.

Здесь прагматика представляет себя как по преимуществу научный подход, чтобы найти выход из проблемы. Ценность публичного дискурса как ключа к пониманию стоящих за ним идеологий может быть оценена, если только, во-первых, уделяется должное внимание различным политическим и контекстуальным факторам, и во-вторых, если подробно исследовано взаимодействие между эксплицитным и имплицитным значением. Для того, чтобы выполнить эти требования, необходимо использовать *прагматический анализ*.

Эта методология, о которой несколько подробнее я расскажу позже, была в полной мере использована при обсуждении бельгийской политики по отношению к меньшинствам (Blommaert & Vershueren, 1998) и в более широком масштабе при изучении националистических идеологий в Европе - как они рассматриваются в репортажах о конфликтах, например, в бывшей Югославии (см., например, (Meeuwis, 1993)). В нашей работе невозможно дать полное описание характера прагматического исследования идеологии¹⁰. Поэтому укажем на главное. Во-первых, необходимо проводить анализ как можно более широкого круга структурных объектов адаптивности (от крошечных лингвистических деталей до общих моделей аргументации и взаимодействия между различными точками зрения). Во-вторых, следует специально искать уровни значения, которые не являются открыто заявленными, не подвергаются сомнению или просто принимаются как нечто само собой разумеющееся. Так, например, выбор темы (см. выше табл. 1), который предоставляет один из уровней анализа, раскрывает значение не только через активно осуществленный выбор, но и посредством контраста с темами, которые *не были* выбраны. Сходным образом, модели выбора слов приобретают свою категоризирующую функцию по контрасту с несделанным выбором. Рассмотрим пример (5):

(5)
«Растут преступления на почве расовой ненависти против латиноамериканцев ...» (SFC. С.2).

Что отличает «преступление на почве расовой ненависти» от обычного «преступления»? Почему так называются только преступления против членов иных этнических или расовых групп? И т.д.

С другой стороны, если учитывать маркеры значимости, то пристальное внимание к точному метапрагматическому оформлению передаваемого содержания может раскрыть косвенные формы оценки, несмотря на все усилия

¹⁰ Некоторые детали даются в работах: (Blommaert & Verschueren, 1998, p.32-36; Verschueren, 1996; Verschueren, 1999, Chapter 8).

авторов текста быть нейтральным¹¹. Вернемся к примеру (2), который на первый взгляд просто сопоставляет высказывания, сделанные со стороны Тайваня и Китая. Однако ряд описывающих слов, таких как

«ярость пекинского режима ... гневный ответ Китая ... яростный отклик Пекина ...»

отчетливо контрастирует с намеком на сдержанность в «комментариях Ли», даже если президент Тайваня Ли «подверг Китай новому огню критики», используя «самые сильные выражения». Это не оставляет сомнений в наличии оценочного позиционирования репортажа, хотя и очень тонкого. В конце концов, «критика» – это обладающая ценностью дискурсивная активность, когда она направлена на режим, воспринимающийся как авторитарный. Этот пример также показывает, как опасно делать общие выводы из единичных примеров. Разница примеров (2) и (3) отчетливо показывает, что в одном обществе могут быть актуализированы различные оценочные рамки для одного и того же события. Это скорее правило, чем исключение. Не обратить на него внимание значило бы серьезно недооценить динамику и договорный характер выбора в процессе порождения значения.

Прежде чем продолжать, я должен предупредить о распространенной исследовательской ошибке в этом направлении. Эта ошибка заключается в механическом применении правил интерпретации, как будто существуют фиксированные отношения между формой и функцией, на которые не оказывают воздействия силы договорного характера выбора и адаптивности. Рассмотрим пример (7):

(7)
«Как вчера заявил Национальный Совет La Raza в докладе на своем ежегодном съезде, растет количество преступлений на почве расовой ненависти против латиноамериканцев, что побудило президента Рауля Изагирре сказать: «Граждане и работники правоохранительных органов чувствуют, что они могут унижать или нападать на испаноамериканцев с почти полной безнаказанностью» (SFC. C.2).

Из этого текста невозможно заключить, что использование кавычек – это дистанцирующий прием, пока это не подкрепляется дополнительным свидетельством, как в комментарии в примере (8):

(8)
«Хотя авторы (этого доклада) во многом основываются на частных свидетельствах, они утверждают, что это исследование дает первый в своем роде взгляд на возникающую модель расистской деятельности против латиноамериканцев». (SFC. C.2).

В других контекстах цитаты могут использоваться для привлечения поддерживающего авторитетного свидетельства, либо их функция намеренно неопределена.

¹¹ См. о систематическом анализе моделей метапрагматического оформления в репортаже о конкретном международном происшествии в работе (Verschuere, 1985).

Прагматический подход позволяет нам ответить на следующий вопрос: каковы компоненты видения мира, которое в данном сообществе служит как отправной пункт для коммуникации по межэтническим проблемам, вопросам национальности и другим типам межнациональных отношений. Другими словами, какие модели общества и какие модели групповых отношений в публичной сфере создают основу для дискуссий по вопросам улаживания различий и споров? Или на каких общих критериях (опять-таки в данных сообществах) может основываться поиск политических альтернатив и решений? Какое воздействие на эти критерии оказывают коммуникационные потоки?

4. Международная коммуникация и глобализация

Проблема идеологии обычно связывается с моделями гегемонии и доминирования. По отношению к международной коммуникации в течение некоторого времени был в моде термин «глобализация», который сочетался с предположениями об американском культурном империализме. Некоторые факты очевидны и были подробно описаны социологами. В то время как ключевыми игроками в области коммуникации являются четыре указанные выше конгломерата СМИ, из 78 других конгломератов, по данным ЮНЕСКО (1989), 39 находятся в США, 25 в Западной Европе, 8 в Японии, 5 в Канаде и 1 в Австралии. Кроме того, основное содержание международных новостей в высокой степени зависит от деятельности четырех главных агентств новостей: английского агентства *Reuters*, американских агентств *Associated Press* (AP) и *United Press International* (UPI) и французского агентства *France-Presse* (AFP). Их воздействие на содержание новостей совершенно очевидно (как видно, например, из табл.1). Но что это означает в смысле глобального единства и разнообразия, в особенности по отношению к роли языка в мире международной коммуникации?

Парадигма культурного империализма, хотя и не лишенная оснований, часто упускает из виду два фундаментальных прагматических феномена. Прежде всего, она не вполне серьезно воспринимает вариативность и коммуникативную динамику. Сообщения, даже если они возникают в одном месте, трансформируются затем многими способами. Иногда это результат переформулирования или перевода. Иногда же - это результат помещения в иной социальный и культурный контекст: смысловой потенциал внешне неизменного текста резко меняется при перемещении из одного контекста в другой. Этот феномен имеет место в повседневном общении в той же степени, что и в международной коммуникации, хотя он может быть менее заметен.

Во-вторых, что может быть даже более важно, теория культурного империализма сильно недооценивает вклад воспринимающего в процесс порождения значения. Воспринимающие сообщения СМИ – это не просто пассивные потребители, наподобие потребителей гамбургеров в «Макдоналдсе». Они являются активными участниками, присваивающими и трансформирующими аспекты значения способами, которые выходят из-под контроля тех, кто создает сообщения. Особенно значительные трансформации могут происходить в плане идеологического содержания.

В результате роль языка в международной коммуникации дает превосходный пример того, как определенная степень единства (хотя и в форме экономически и политически направляемых сил глобализации) сочетается с длительным разнообразием - и, может быть, даже созданием ранее не существовавших моделей разнообразия. В этом контексте особое место, без сомнения, принадлежит английскому языку, главному средству передачи информации для большинства основных субъ-

ектов международной коммуникации. Но при этом мы не должны впадать в заблуждение и считать, что английский язык является единственным средством передачи информации¹².

Снова встает главный вопрос относительно того, как следует эмпирически исследовать эти процессы. Это приводит меня к главной – и в основном программной – теме этой работы: мониторингу международной коммуникации.

5. Мониторинг международной коммуникации

В работе «Патология власти» Норман Казинс пишет в контексте своих рассуждений о гонке ядерных вооружений: «мир взаимосвязан всеми способами, кроме институтов, способных контролировать власть и ее результаты». Конечно, именно характер власти может определить контроль за ней самой. Тем не менее, существуют различные формы глобального мониторинга. Два очевидных примера – это мониторинг соблюдения прав человека такими организациями как *Amnesty International* и *Human Rights Watch*, и мониторинг продаж вооружений и военно-стратегического баланса различными институтами стратегических исследований. Принимая во внимание центральную роль коммуникации в современных международных отношениях и изменившуюся природу международных отношений, как она описана в этой работе, мне кажется, что подобные усилия должны быть дополнены глобальным мониторингом потоков коммуникации, которые могут иметь отношение к превентивной дипломатии. В частности, необходим *постоянный мониторинг коллективного порождения значения и общественных идеологий, относящихся к внутригосударственному и межгосударственному опыту разнообразия в контексте локальных, региональных и глобальных проблем мира и безопасности*. Это должно делаться в самом широком масштабе, с равным вниманием к отношениям «Север-Юг» и «Юг-Юг» и проблемам, занимающим Европу и Северную Америку после (относительного) ослабления напряжения в отношениях между Востоком и Западом.

Этот проект в то же самое время и легче, и труднее, чем другие виды мониторинга. Он легче, поскольку данные для анализа не скрыты, а открыты, а именно в типах международной коммуникации, которые я определил как доступные для общественности. С другой стороны, он может быть более трудным из-за разнообразия данных на многих языках, которые требуют систематического рассмотрения на различных уровнях анализа и особого внимания моделям имплицитного значения в их взаимодействии с эксплицитными уровнями значения. Однако нет сомнения, что прагматика в самом широком смысле может предоставить реалистический взгляд на международную коммуникацию и ее контекстуальные ограничения, так же как и необходимые теоретические и методологические знания, даже если мы смогли дать только самый приблизительный набросок на этих нескольких страницах.

¹² Сходные аргументы см. в работе (Thompson, 1995, p.149-178).

Литература

- Blommaert J. & Verschueren J. *Debating Diversity: Analysing the Discourse of Tolerance*. London: Routledge, 1998.
- Blommaert J. & Verschueren J. (eds.). *The Pragmatics of Intercultural and International Communication*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin, 1991.
- Boden D. Reinventing the global village: Communication and the revolutions of 1989. In A.Giddens (ed.), *Human Societies: An Introduction in Sociology*. Cambridge: Polity Press, 1992. P.327-331.
- Brill S. War gets the Monica treatment. In Brill's Content, August 1999. P.99-107 and 136-137.
- Cousins N. *The Pathology of Power*. New York: W.W.Norton & Company, 1987.
- Gans H. J. *Deciding What's News: A study of CBS Evening News, NBS Nightly News, Newsweek and Time*. New York: Vintage Books, 1979.
- Hess S. *International News & Foreign Correspondents*. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 1996.
- Hobsbawm E. *Nations and Nationalism since 1780*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- Meeuwis M. Nationalist ideology in news reporting on the Yugoslav crisis: A pragmatic analysis. In *Journal of Pragmatics* 20:3. 1993. P.217-237.
- Schudson M. *Discovering the News: A Social History of American Newspapers*. New York: Basic Books, 1978.
- Schudson M. *The Power of News*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995.
- Thompson J. B. *The Media and Modernity: A Social Theory of the Media*. Stanford: Stanford University Press, 1995.
- Verschueren J. *International News Reporting: Metapragmatic Metaphors and the U-2*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1985.
- Verschueren J. Contrastive ideology research: Aspects of a pragmatic methodology. In *Language Sciences* 18:3/4. 1996. P.589-603.
- Verschueren J. *Understanding Pragmatics*. London: Edward Arnold/ New York: Oxford University Press, 1999.
- Wolf M. J. & Geoffrey S. Fearless predictions: the content world, 2005. In Brill's Content, August 1999. P.109-113.

Танатэротика текста

Павел Высеков

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Всякий анализ, сколь большей глубины бы он ни достигал, никогда не может (и не сможет) претендовать на исчерпанность объекта приложения усилий. Структуральное исследование всегда необходимо оставляет (подразумевает) после себя некий иррациональный остаток, обеспечивающий известного рода голод и тоску «взыскующих града». Эта тоска по иррациональности «смутного объекта желания» повышает его аттрактивность и настойчиво возвращает к нему. Вообще, любовь к литературе, способная быть рассмотренной как вариант нимфомании, подводит к тому, что «объектом эротизации может стать и весь дискурс в целом» (Лакан, 1995. С.71). Ощущаемая недостаточность анализа нередко возникает вследствие проблематичного соотношения формы и содержания какого бы то ни было текста, что дает основание для эпистемологической неуверенности в самоочевидности тезиса о жесткой корреляции между указанными категориями. Тем более, что *опыт* часто обнаруживает сопротивление структуры (формы) вербально выраженному смыслу (содержанию), и это сопротивление оказывается способным к подрыву авторитета слов, к дисперсии смысла и – как следствие – к реверсии текста.

Означенная работа интересуется текстом как пространством, конституирующим множественность смыслов. Непосредственной задачей выступает пристальный взгляд в область ритмических пауз, выстраивающихся посредством вкрадчиво-интерактивной деятельности цезуры. Цезура интересует меня, в первую очередь, как «неисчерпаемое средство ритмической дифференциации и передачи смысловых оттенков» (Мукаржовский, 1996. С.102-103). Поэтому работа намерена предоставить шанс ощутить пределы этих «смысловых оттенков». Кроме того, она следует мысли о продолжении «экспериментов с вертикальным чтением», поскольку «стих действительно есть двумерная речь, и это нужно представлять себе во всей конкретности» (Гаспаров, 1996. С.15-16). Она является экспериментом не только с вертикальным

чтением, но также – и это, может быть, гораздо важнее – попыткой фиксации движения произведения по направлению к тексту, в качестве которого требует соответствующего к себе отношения.

Поставленные задачи и цели решаются на материале стихотворения Н.М. Языкова «Элегия» (1839). Мне бы не хотелось обращаться здесь к обсуждению вопросов жанра (иначе статья была бы несколько другой и носила бы другое имя), но нельзя не заметить, что в руках Н.М. Языкова элегия как жанр переживает свою глубокую усталость. Часто тексты поэта, обозначенные как «элегии», таковыми, собственно, и не являются, что и привлекает к ним интерес: обозначение жанра навязывает тексту уже не вписывающееся в рамки жанра содержание, а это чревато «семантическим взрывом» или даже серией взрывов.

Итак, «Элегия» :

Здесь горы с двух сторон стоят как две стены;
 Меж ними тесный дол – и царство тишины,
 Однообразие в глуши уединенья;
 Градские суеты, градские наслажденья
 Здесь редко видятся и слышатся: порой
 Пройдет с курантами потешник площадной,
 Старик, усердный жрец и музыки и Вакха;
 Пройдет комедия: сын Брута или Гракха,
 И свищет он в свирель, и бьет он в барабан,
 Ведя полдюжины голодных обезьян.
 Тоска несносная! Но есть одна отрада:
 Между густых ветвей общественного сада
 Мелькает легкая, летучая, как тень,
 Красавица. – Светла и весела, как день,
 Она живительно бодрит и поднимает
 Мой падающий дух, она воспламеняет
 Во мне желание писать стихи ей в честь,
 Стихи любовные. Еще отрада есть:
 Вот вечер, воздух свеж, деревья потемнели,
 И, чу! поет она; серебряные трели,
 Играя и кружась, взвиваясь надо мной,
 Манят, зовут меня волшебю в мир иной,
 В мои былые дни, - И нега в грудь мне льется,
 И сладко, сладко мне, а сердце так и бьется!..

Текст отчетливо членится в горизонтальной своей плоскости на две неравные по количеству стихов части. Граница проходит по 11 стиху («Тоска несносная! Но есть одна отрада!..»), так как оба полустишия содержат знаки смены настроения лирического субъекта (тоска – отрада), подчеркнутые, с одной стороны, их поляризацией на абсолютные начало и конец стиха, а, во-вторых, пролегающим между ними противительным союзом. (Забегаю вперед, отмечу саму по себе «переменность» этого стиха, а также то, что «но» находится в непосредственной постцезурной позиции, поскольку, как я постараюсь показать далее, цезура в линейно заявляемый смысл вносит свое существенное «но».) Не менее замечательно выглядит сонорная цепь рассматриваемого стиха: не – но – на – но – на – ра, где в конфликтных отношениях пре-

бывают мягкий и синестетически «нежный» (н) и твердый, «агрессивный» (р). Это понуждает констатировать логический тупик, явное противоречие: коннотации «агрессии» (негатива) и «нежности» (позитива) обнимают – соответственно – денотаты «отрады» и «несносности». Иначе говоря, элементы формы слова (в данном случае звук) вступают в противоречивые отношения с непосредственным его содержанием (в обоих случаях).

Обе части находятся в отношениях свехпорядоченной структурности, выстраивая серию бинарных оппозиций:

пейзаж – медитация: первая часть дает более или менее представимую картину; геометрия актуального для лирического субъекта пространства четко определяется в вертикали (горы) и в горизонтали (дол); вторая часть от пейзажа оставляет только «общественный сад»; в остальном точка зрения оборачивается во внутреннее, эксплицитно (то есть зримо) не выраженное пространство героя, и постепенно текст склоняется к медитативности «воспламененного духа»;

телесность – бестелесность: телесные перегрузки («горы», «дол», так или иначе перемещающиеся тела «потешника», «комедии» со свирелью, барабаном и обезьянами) сменяются «легкой, летучей как тень Красавицей»; лирический субъект, мнемонически перемещенный в «былые дни», до известной степени утрачивает свое тело, о котором напоминает только «бьющееся сердце»;

тяжесть – легкость; статика – динамика: возвышающиеся и тем самым подавляющие «горы с двух сторон» как бы прижимают к земле; «тишина» предстает как не-движение звука, его статическое состояние; наконец, «однообразие», поглощающее все «градские суеты» и «наслажденья», которые поэтому не вносят в экзистенцию лирического субъекта динамического обновления; во второй же части «красавица» «играет и кружится, взвиваясь»; первая половина текста, покрывающая собой первые десять стихов, представляет одну сплошную, усложненную синтаксическую конструкцию; в этом «желеобразном» синтаксисе субъект, образно говоря, тонет: вот почему «красавица», реанимирующая его креативный потенциал, целиком и полностью им принимается и приветствуется.

Два последних замечания обозначают еще одну оппозицию:

танатичность – эротичность; узкое – широкое: теснящее субъекта *настоящее* (актуальное) состояние (горы как «две стены», «тесный дол») сменяется широтой медитативного полета, который, под воздействием реанимированных творческих способностей, усиливает и приближает позитивное *будущее* (потенциальное) его состояние; эта оппозиция ярко представлена ударным вокализмом текста: нагнетание «узких» звуков (у), (и) в первой части выразительно оттеняется прогрессирующим «широким» (а): с 10 употреблений в 1 половине до 24 во второй.

Рассмотренные оппозиции текста в его горизонтали несомненно стремятся установить, зафиксировать, манифестировать некий порядок (космос), достигаемый лирическим субъектом. И если верить словам, это, по-видимому, так. Но если поставить эту веру под вопрос и обратиться от ненадежных свидетельств субъекта к стремящимся мимо слов, раздвигающим их в стороны движениям ритма, можно обнаружить, что он «неустанно приводит в движение языковые элементы стихотворения» (Мукаржовский, 1996. С.87-88), не оставляя от вербофилии читателя и следа. Я хочу сказать, что здесь-то цезура и заявляет свое «но». При цезурном членении стихов на более или менее рав-

ные полустишия точка зрения с необходимостью перемещается в вертикальную плоскость. Рассеченный таким образом текст распадается на два относительно самостоятельных текста: левый и правый. Далее я сосредоточу свое внимание на левой половине исходного текста.

Ее самостоятельность определяется удивительной связностью:

Здесь горы с двух сторон –
 Меж ними тесный дол –
 Однообразие –
 Градские суеты –
 Здесь редко видятся –
 Пройдет с курантами –
 Старик, усердный жрец –
 Пройдет комедия –
 И свищет он в свирель –
 Ведя полдюжины –
 Тоска несносная –
 Между густых ветвей –
 Мелькает легкая –
 Красавица. – Светла (...)

Выделяются две пары структурно изоморфных полустиший: «однообразие– красавица» и «тоска несносная – стихи любовные». Первая пара выделена на том основании, что в ее составе находятся два слова, каждое из которых покрывает собою полустих. (Правда, мне могут возразить: ведь в стихе с «красавицей» имеется и слово «светла». Полагаю, что обрамление «красавицы» двумя выразительными паузами (особенно при помощи тире перед словом «светла») позволяет считать ее стремящейся к обособлению, хотя бы и в форме деформированного полустишия. И, как будет видно далее, эта деформация тем более подчеркивает общую «подозрительность» этой «Музы» и связанной с нею «отрады»). Вторая пара выделяется на основании общей схемы:

«тоска несносная» - «стихи любовные»
 S est P - S est P
 сущ. + прилаг. - сущ. + прилаг.
 u-u-uu - u-u-uu

«Любой знак, языковой или неязыковой, устный или письменный ... в составе большего или меньшего единства, может быть процитирован, поставлен в кавычки; этим он может порвать с любым данным контекстом, породить до бесконечности новые контексты, абсолютно не насыщаясь» (Деррида, 1996. С.47). В данном случае, как мне кажется, текст посредством цезуры производит цитацию внутри себя самого, в результате чего в составе целого (макротекста по имени «Элегия») образуется анонимный микротекст, анонимное высказывание, подвергающее ревизии высказанное до него. В силу своего структурного изоморфизма члены обеих пар вступают в предикативно-синонимические отношения, одна часть определяет (определяется) другую (другой). Негативная симметрия «процитированного» высказывания приводит к тому, что устанавливаемый (уже установленный!) в горизонтали позитив

«стихов любовных» упраздняется «тоской несносной» в вертикали: «стихи любовные est тоска несносная», «красавица est однообразие». И наоборот. Иными словами, смысл, конституируемый линейностью текста, оказывается опрокинутым. Потрясенное сознание адресата, поверженное этим семантическим сальто в «мысленное волнение» (Ж. Батай), именно сейчас испытывает всю остроту аттрактивности текста, играющего и навязывающего игру.

Обнаруженная внутритекстовая речь формирует и предлагает свое значение лирического события, и под воздействием этого вторичного значения смысл текста существенно корректируется. Лирический субъект в таком случае не избегает «однообразия» некротичной скуки. Напротив, он мазохистски жаждет ее, он находит в ней удовольствие, эстетизирует ее. Причем наслаждение может быть обретено помимо «стихов любовных» (они ведь «тоска несносная»), потому что сама тоска стихам подобна («тоска несносная = стихи любовные»), и это не требует какой-либо графической экспликации. Не есть ли, в конце концов, данная «Элегия» одой в честь тоски и скуки, ее красоты и самодостаточности? Не является ли интеракция цезуры жестом сопротивления ложному дискурсу горизонтали? И не является ли «красавица» на самом деле *Музой деконструкции*?

Так или иначе, рассеивание текста, «уводящее из горизонта единства смысла» (Деррида, 1995. С.49) провоцирует демонтаж текста и активизирует ре-монтажную деятельность читателя. Текст очевидно оказывается рассеченным как по горизонтали (после 12 стиха), так и по вертикали (в зоне ответственности цезуры). Де(ре)монтаж текста, санкционированный изнутри самой его структуры, может привести к образованию (ответвлению, приращению) «крестостишей», получаемых в результате скольжения:

а) из левой части в правую:

(...) Пройдет комедия –
И свищет он в свирель -
Ведя полдюжины –
Тоска несносная –
Между густых ветвей
-летучая, как тень,
и весела, как день,
бодрит и поднимает (...);

б) из левой части в правую, а из правой в левую и т. д.:

Здесь горы с двух сторон –
и царство тишины,
Однообразие –
градские наслажденья
Здесь редко видятся –
потешник площадной,
Старик, усердный жрец –
сын Брута или Гракха (...)

Нетрудно убедиться, что замеченные уже в горизонтали противоречия (напоминаю: «агрессивный» – негативный (р) в составе позитивной «тра-

ды») откликаются в вертикали, где цезура радикально расшатывает не только смысловую сферу текста, но даже его графическую целостность. Играющий читатель оказывается в ситуации, характеризующейся множественностью стратегий чтения; в результате свободной игры полустигматизацией может быть получено «энное» количество более или менее самостоятельных «элегий», в числе которых «Элегия» Н.М. Языкова уже вряд ли займет лидирующее положение.

В этой ситуации «ценность *подлинного* смысла кажется нам более чем проблематичной» (Деррида, 1996. С.39). Мало того, наблюдаемое расслоение текста, его разложение на серию виртуальных интер-текстов приводит не только к столкновению смыслов, но оставляет нас при следах актуально отсутствующего смысла вообще. С этого момента говорить что-либо о смысле приходится лишь тогда, когда будет переведен в актуальное состояние какой-либо виртуальный интер-текст «Элегии». И только по отношению к нему можно открывать речь о смысле. Сама «Элегия» в целом, подразумевая множественность текстов в себе, их серию, неуклонно ускользает от разговора о «подлинном» смысле. Потому что всякий вновь обнаруженный смысл не есть альтернативный *только-что-смысл*, но есть имманентный *всегда-и-уже-смысл*, а поэтому равный любому другому в правах. Скажем так: обнаружение одного еще не означает (и не влечет) нейтрализации (или полной дисквалификации) другого; ни один не приобретает приоритета и оба достигают всей полноты легитимности. Вот почему всякий читатель, который стремится редуцировать полицентричность текста, поступает по отношению к нему некорректно. Как я попытался показать, в «Элегии» Н.М. Языкова вместо единого (единичного) смысла мы имеем смысловую серию, как минимум, из двух элементов (один обслуживает сферу утверждения: «И сладко, сладко мне, а сердце так и бьется!..», другой осуществляет подрыв этого утверждения: «тоска несносная – стихи любовные»). И поскольку удерживать в актуальном состоянии оба преследуемых смысла затруднительно, постольку текст обрекает читателя на расщепление и выбор, в котором при переходе от смысла к смыслу совершается двойной жест: операция искажения (первичного смысла) и повторения (напоминания об этом первичном смысле). Именно «эта итерабельность ... структурирует след письма, каким бы оно ни было» (Деррида, 1996. С.43). Если в сфере де(ре)монтажа текста читатель обретает большую свободу, то в сфере смысла *liberum arbitrium* читателя на самом деле не столь безгранична. Текст отказывает ему в возможности остановить свой выбор и понуждает в каждом «а» необходимо слышать «б», за которым внезапно доносится «в» и так далее. Именно в силу своей итерабельности текст обретает способность и возможность нормального функционирования. «Деконструкция не может ограничиваться нейтрализацией: она должна в двойном жесте, в двойной науке, в двойном письме, осуществить *опрокидывание* классической оппозиции и общее *смещение* системы» (Деррида, 1996. С.54), находящей в этом смещении свою жизнеспособность.

Расслоение текста (с одной стороны) и дисперсия смысла (с другой) дают возможность помыслить нестабильность эйдоса текста, поставить под вопрос его онтологический статус, его центральное (центрирующее) положение, поскольку рассмотренная выше свехупорядоченность структуры (и смысла) в горизонтали оборачивается экс-центричностью структуры (и смысла) в вертикали. Следует присмотреться в этой связи к двойному жесту цезуры в этом процессе. Этот жест можно представить в сводной схеме:

<i>Горизонталь</i>	-	<i>вертикаль</i>
F упорядочивания	-	F рассечения
(собирания)	-	(рассеивания)
Синтагма	-	Парадигма
Статика	-	Динамика
Космос	-	Хаос
Танатос	-	Эрос

Кризис смысла «не несчастный случай, не фактическая и эмпирическая аномалия ... это ... позитивная возможность и «внутренняя» структура» (Деррида, 1996. С.46) всякой речи (даже речи по поводу речи, текста о тексте, как, например, статьи «Танатэротика текста»), обретающей в своей противоречивости возможности и средства к существованию. Так, внутритекстовое совмещение полюсов амплитуды «хаос – космос» приводит к сверхтекстовому «хаосмосу». Напоминаю, что двойной жест цезуры производится симультанно, единомоментно, и поэтому члены оппозиций утрачивают свои границы (вообще, итерабельность текста-речи полагает предел всякому очерченному бинаризму). Тогда текст разворачивается не только в «хаосмосе», но также в «синтарадигме», «статинамике» и так далее.

И насколько хаос (вертикаль) рождается из космоса (горизонталь), настолько эрос текста (вертикаль) порождается его же танатосом (горизонталь), поскольку смыслопорождающая активность цезуры препятствует застопориванию смысловых токов текста, приводит их в движение, что и является подлинным эротизмом текста. Здесь настало время проговориться, в каком же смысле я использую векторные обозначения? В сугубо эротическом. В романе Умберто Эко «Маятник Фуко» на этот счет имеется замечательный пассаж: «Днем человек на ногах, а ночью он лежит, даже твой пенис (только не рассказывай сейчас, что он делает по ночам) работает стоя, а отдыхает лежа. Следовательно, вертикальное положение олицетворяет собой жизнь и находится в прямой связи с Солнцем, и дажеobelisks тянутся вверх, как деревья, а горизонтальное положение и ночь – это сон и смерть» (Эко, 1995. С.423). Эректильность вектора цезуры, переводящая (доставляющая) глубинное событие смысла в ритмотектоническую щель плоти текста, оставляет на горизонтальной поверхности лишь «поплавки смысла», предназначение которых - увести читателя на глубину, подвинуть его к – возможно – ослепительному (или ослепляющему?) *опыту* переступания границ по направлению к смыслу, отправить его в путешествие к краю ночи смысла.

В качестве ретардации намеченного маршрута скажу еще несколько слов о цезуре. Вернее, отмечу немаловажную фонетическую (и семантическую!) параллель между словами цезура (caesura) и Цезарь (Caesar). Мне кажется, что ре-креация смысла во многом осуществляется за счет еще одной латентной функции цезуры, а именно: она выступает в роли текстовой *цензуры* над его смыслообразованиями. И в этой функции цезура проявляет достаточно жесткую власть: по примеру своего тезки она вполне может претендовать на статус диктатора во «вверенном» ей подцензурном ведомстве смысла. В этом своем качестве цезура явно тяготеет на роль доминанты, которая является «фокусирующим компонентом произведения искусства: доминанта управляет остальными компонентами, определяет и трансформирует их. Именно она обеспечивает целостность структуры» (Якобсон, 1996. С.119). Иными слова-

ми, цезура – как доминанта! – выступает витальным стимулятором текста, его движущей силой. Читатель, игнорирующий генеративную энергетику цезуры (Цезаря) превращается по отношению к тексту в своеобразного Брута (со всеми вытекающими отсюда последствиями).

Но тот, кому претит роль Брута, тот, кто способен позволить себе «жест, который обращен на предел» (Фуко, 1994. С.117), тот вступает в рискованные отношения с ускользающим, но оттого еще более притягательным объектом. При встрече с последним всегда существует риск совращения читателя: текст навязывает ему роль вуайера, разоблачающего, снимающего покровы с текста. Иницируемый цезурой, он подглядывает «в щелочку» соитие смыслов в глубине текста. Подобно подсматривающему ребенку читатель-вуайер отождествляет себя с неким Отцом и стремится к его кастрации, находясь постоянно в страхе наказания. Поскольку есть соблазн вывести на привилегированные позиции какой-либо один смысл, постольку существует соблазн подвергнуть смысловую сферу данного текста редукции (или – в этом контексте – кастрации). Очевидно, что проблема смысла не есть проблема текста, так как последний (будучи отчужден от Автора) индифферентен к своему смысловому наполнению, во всяком случае он не производит выбора (хотя коварно предоставляет возможность того). Поэтому конституция смысла (смыслов) всецело является проблемой читателя. Даже в случае данной статьи: проблема приятия (или неприятия) предлагаемого прочтения «Элегии» Н.М. Языкова, по-видимому, будет решена в момент преодоления (или не преодоления) страха перед властью и АВТОРИТЕТОМ ОТЦА, в момент выхода к пределу (анализа?). «Всякий может отказаться от такого путешествия, но если кто-то решится на него, он должен отринуть существующие авторитеты и ценности, которыми ограничивается возможное. И поскольку опыт выступает как отрицание других ценностей и авторитетов, сам он, обретая позитивное существование, становится ценностью и *авторитетом*» (Батай, 1997. С.27). Трансгрессия читателя по отношению к тексту (вернее, к горизонтالي слов), конечно, подводит его к «преступлению» против Автора, но «знаку принадлежит быть читаемым, даже если момент его производства невосстановимо утрачен и даже если я не знаю, что так называемый автор-скриптор хотел сказать сознательно и интенционально в момент, когда он писал, - то есть право на необходимое ответвление» (Деррида, 1996. С.45), всегда подразумеваемое как «возможность» текста: «Нет ничего негативного в трансгрессии. Она утверждает определенное бытие, бытие в пределах, она утверждает эту беспредельность, в которую она перескакивает, открывая ее впервые существованию» (Фуко, 1994. С.118).

В этой беспредельности текста читатель-перверсant должен был быть ослеплен (или оскоплен?) как покусившийся, оскорбивший эйдос объекта. Однако «легкость пустоты», находящейся под контролем цезуры, приводит к тому, что на самом деле вместо принудительности контекста обнаруживается «война векторов чтения»: победа одного из них может оказаться не менее тяжелой для читателя: редукция (кастрация) смысла в конечном итоге угрожает обернуться редукцией (кастрацией) способности суждения. «Война векторов чтения», на мой взгляд, есть своеобразный парафраз бартовской «войны языков». Во всяком случае эта статья (помимо всего прочего) стремится стать (и показать этот процесс) «логическим продолжением структурализма», которое «может состоять лишь в том, чтобы воссоединиться с литературой не просто как с «объектом» анализа, но в самом акте письма» (Барт, 1994. С.379),

что позволяет получить удовольствие уже не только от текста, но и от самого акта письма, ведь писать что-либо о тексте – не означает ли это создавать новый текст. Эротизм текста-объекта дает возможность принять участие в эротических играх языка, и, в конце концов, читаемое сейчас (сию секунду) единственно на что претендует (или может претендовать), так это на право речи о превращении языка в пространстве письма, которое снимает вопрос о высвобождении истины. Обнаружение латентного «спящего смысла» (Ж. Деррида) подготавливает к тому, что читатель (разучившийся читать, чтобы научиться читать) переписывает текст, погружаясь в письмо, изготовляя следы своего присутствия в тексте, что дает ему право как бы вписаться (отметиться) в тексте и за его пределами.

Интеракция цезуры, означивая сопротивление структуры не только логоцентризму читателя, но, возможно, и автора (симуляция на уровне жанра дала отклик в симуляциях на более низких уровнях: исходя из предложенной версии, поляризация «тоски» и «отрады» в 11 стихе уже не несомненна), демонстрирует внутреннюю готовность структуры к автодеконструкции, не только игнорирующей *дискурсивное смещение* читателя при встрече с нестабильным, «взрывающимся» объектом (что приводит текст к ре-скрипции самого себя), но использующей субъекта восприятия для артикуляции «некоего события, которое не дожидается размышления, сознания или организации субъекта – ни даже современности. Это деконструируется» (Деррида, 1992. С.56). Читатель, по словам Иосифа Бродского, становится «средством существования языка», а в данном случае – средством существования деконструкции. Это – когда актуальное (неудовлетворительное) настоящее языка взыскует более адекватного будущего. В поле сменяющихся смыслов текст оживает в силу внутренней танатозротичной противоречивости, из недр которой звучит «да» аналитическому (читательскому) вуайеризму. И если все же угодно говорить (искать) об истине-центре данного текста, то она обретается, дрейфует в подцензурных цезуре паузах, в точках разрыва стиха. Паузы есть область, где нет места словам, где они не звучат (будучи оттеснены цезурой в стороны), где не звучат даже звуки, где вместо графем – разрозненные штрихи (чья цель – «напоминание» об отсутствующем присутствии). Здесь происходит обнаружение тишины и темноты, тем более ошеломляющих, что вокруг играют и блещут смыслы: отсутствие звука или линии гораздо больше способно сообщить о слове или рисунке, чем их наглядное присутствие. Эхо истины в том, *что*, нигилируя слова, поверх и помимо слов сообщает о со-бытии (или все же соитии?) смыслов.

Именно сейчас статья подошла к моменту речи о «танатэротике текста». Какофония тишины в цезуре... «Гул языка» на языке...Самое время и место для эпиграфа:

Когда пошатнулся заслон, когда человек покачнулся от невиданного обвала – от утраты веры в богов, тогда в далекой дали не желавшие гибнуть слова попытались противиться этой чудовищной встряске. Так утвердилась династия их глубинного смысла.

Рене Шар, «Порог»

Литература

- Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994.
Батай Ж. Внутренний опыт. Спб., 1997.
Гаспаров М. Лингвистика стиха // Славянский стих: Стихovedение, лингвистика и поэтика. М., 1996.
Деррида Ж. Письмо японскому другу // Вопросы философии, № 4, 1992.
Деррида Ж. Подпись – Событие – Контекст // Дискурс, № 1, 1996.
Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М., 1995.
Мукаржовский Я. Структуральная поэтика. М., 1996.
Фуко М. О трансгрессии // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины 20 века. Спб., 1994.
Эко У. Маятник Фуко. Киев, 1995.
Якобсон Р. Язык и бессознательное. М., 1996.

Русская литература и семиотика ногтей

Валерий Мароши

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Один человек жил в своем собственном ногте

А. Введенский

Анализируя фото одного из самых известных денди XX в., Р. Барт семиотизировал весьма значимую деталь: «... от меня Уорхол не скрывал ничего: я получаю возможность непосредственно «читать» его руки, а punctumом является не его жест, а немного отталкивающая фактура ногтей «лопаткой», мягких и одновременно закругленных» (Барт, 1977. С.73). Нет нужды рассуждать о соотношении индексального и иконического в знаковости ногтей, поскольку предметом нашего очерка будет не семиотика бытового поведения или моды, а смыслы, возникающие вокруг этой небольшой «корпускулы» телесного целого личности в словесном произведении и в литературном бытовом поведении. В этой системе ногти – часть символической социальной или личностной типологии персонажей, мифологии литературного наследия, жанра или отдельного произведения, а также ролевой структуры поведения писателя и его литературной позиции.

Является важным элементом облика цивилизованного европейского человека Нового времени, ногти достаточно быстро стали одной из неизменных деталей «сатиры на щеголей» в русской литературе XVIII в. Здесь ногти – один из объектов критики светского ветренника с точки зрения неестественности и неразумности его поведения, потребностей и внешности. Эти ногти мужчины-франта вряд ли могут заинтересовать литературоведа.

Ситуация меняется 20-30-е года XIX в. в связи с влиянием личности и литературного поведения А.С. Пушкина и с общеромантическим увлечением асоциальным, «диким», природным или демоническим миром. Пушкинские ногти/когти стали как многозначным средством самовыражения (светское и несветское бытовое поведение, роль беса и вампира, литературная позиция льва-аристократа), так и важнейшим текстообразующим фактором в типоло-

гии героев прозы XIX в. (русский денди, комический вариант зверя-аристократа в «Графе Нулине» и вполне серьезный в «Скупом рыцаре»). В то же время пушкинская образность является как бы «суммой» общей литературной мифологии романтизма, где чрезмерная «когтистость» свойственна демоническим и инфернальным персонажам (вурдалак, мертвец, ведьма, бес, гость из иного света в виде животного): «... там могилу прохожего разрыли, / Видят, - труп румяный и свежий, - / Ногти выросли, как вороны когти...» (Пушкин, 1987:1. С.544); «Крест на могиле зашатался, и тихо поднялся из нее высохший мертвец. Борода до пояса, на пальцах когти длинные, еще длиннее самих пальцев. И опять вышел мертвец, еще страшнее, еще выше прежнего: весь зарос, борода по колено и еще длиннее костяные когти. Еще диче закричал он. Поднялся третий мертвец. Казалось, одни только кости поднялись высоко над землей. Борода по самые пяты, пальцы с длинными когтями вонзились в землю» (Гоголь, 1950:1. С.155). «... когтистый зверь, скребущий сердце, совесть, / Незванный гость, докучный собеседник, / Заимодавец грубый, эта ведьма, / От коей меркнет месяц и могилы / Смущаются и мертвых посылают?» (Пушкин, 1950:3. С.345); «Вдруг раздался крик: ворон бросился на одну из вереницы, схватил ее, и Левку почудилось, будто у ней выпустились когти и на лице сверкнула злобная радость. - Ведьма! – сказал он, вдруг указав на ее пальцем и оборотившись к дому» (Гоголь, 1950:1. С.83); «Большой взъерошенный медведь; / Татьяна ах! а он реветь, / И лапу с острыми когтями / Ей протянул» (Пушкин, 1950:3. С.101); «И бесы, раскалив как жар чугун ядра, / Пустили вниз его смердящими когтями» (Пушкин, 1987:1. С.506). У персонажа, находящегося по ту сторону мира человека, ногти становятся когтями, или приобретают гротескные, асимметричные очертания: «Ноги, по обычаю портных, сидящих за работою, были нагишом. И прежде всего бросился в глаза большой палец, очень известный Акакию Акакиевичу каким-то изуродованным ногтем, толстым и крепким, как у черепахи череп» (Гоголь, 1950:3. С.135).

Пушкинское обыгрывание собственных ногтей как символа литературной агрессивности («Приателям») и стиля («Ex ungue leonem») стало основой эпиграмматического дискурса («Ты хохлишься индейским петухом / И мне грозишь беззубыми стихами, - / Молчи, пискун! Ну, где ты находил, / Чтоб льва могучего, с зубами и когтями, / Когда-нибудь осел копытом бил?» (Русская эпиграмма... С.386)) и рефлексии Братынского о метаэпиграмме («Окогченая летунья / эпиграмма-хохотунья, / Эпиграмма-егоза / Трется, вьется средь народа / И завидит уроду - / Разом вцепится в глаза» (Русская эпиграмма... С.328)).

Желание романтического героя русской литературы обрести иной статус приводит к сиюминутному слиянию с диким, агрессивным хищником / «И я был страшен в этот миг, / Как барс пустынный, зол и дик, / Я пламенел, визжал, как он... Как будто сам я был рожден / В семействе барсов и волков / Под свежим пологом лесов. / Казалось, что слова людей / Забыл я...» (Лермонтов, 1958:2. С.64). Трансгрессия героя и идентификация с когтистым зверем (парадоксальная любовь в борьбе) оставляет на теле следы его животного естества («Ты видишь на груди моей / Следы глубокие когтей; Еще они не заросли / И не закрылись...» (Лермонтов, 1958:2. С.64)). Этот образ героя-преступника («тигренок Альберт, «тигры» Герман, Печорин) сливаются с образом зверя-аристократа в таких метагероях русского дендизма, как Николая Ставрогин («И вот – зверь вдруг выпустил свои когти» (Достоевский, 1991:7.

С.43)) и фон Мандро из романа «Москва», где метафоры и метонимии тигра, рыси, леопарда постоянно характеризуют звериную суть денди-декадента у А. Белого.

Достоинно завершает паноптикум аристократических чудовищ с демоническими когтями набоковский Гумберт: «... у меня явилось праздное желание выжать угри на его потном носу моими длинными блестящими ногтями... Ногти у него были черные и поломанные, но фаланги и суставы запястья, сильная изящная кисть – были гораздо, гораздо благороднее, чем у меня» (Набоков, 1991. С.280); «... равнодушная виновница его неистового припадка крепко сжимала горсть монет в кулачке, – который я потом все равно разжимал сильными ногтями» (Набоков, 1991. С.185); «Другие клочки и лоскутья (вот уж не предполагал я, чтобы у меня были такие сильные когти) явно относились к просьбе принять девушку не в пансионат Св. Алгебры, а в другую, тоже закрытую школу...» (Набоков, 1991. С.100); «... моя ревность то и дело зацепляла подломанным когтем за тончайшую ткань нимфеточного вероломства...» (Набоков, 1991. С.188); «Дикая страсть, которая разрослась во мне к этой нимфетке – к первой в жизни нимфетке, до которой, я, наконец, мог доскрестись неуклюжими, ноющими когтями, – меня бы, несомненно, загнала в санаторию, кабы дьявол не смекнул, что ему надобно дать мне небольшое удовлетворение, ежели он желает, чтобы я ему еще послужил игральным» (Набоков, 1991. С.56).

Аристократический демонизм ногтей/когтей контрастен плебейскому «маникюру» или плебейской же небрежности, а также полудетским забавам женских персонажей романа: «Когда я осмотрел ее ручки и обратил ее внимание на грязные ногти, она проговорила, простодушно нахмурясь, «*Oui, sen est pas bien*» и пошла было к рукомыйнику, но я сказал, что это неважно, совершенно неважно (Набоков, 1991. С.35); «Разглядывая ногти, она спросила еще, нет ли у меня в роду некоей посторонней примеси» (Набоков, 1991. С.75); «Ногти она (Ева - В.М.) мазала гранатово-красным лаком и (к большому лолитиному отвращению) любила говорить по-французски» (Набоков, 1991. С.192); «В веселом Лепингвиле я купил ей четыре книжки комиксов, коробку конфет, коробку гигиенических подушечек, две бутылки кока-колы, маникюрный набор, дорожные часы со светящимся циферблатом...» (Набоков, 1991. С.143); «...Агнессу с ее изгрызанными ногтями...» (Набоков, 1991. С.53); «Она сидела развалясь, выкусывая заусеницу...» (Набоков, 1991. С.206).

В восприятии Гумберта ногти Лолиты становятся паронимическим зеркалом ее имени (ла-ло): «Она была босая, ногти на ногах хранили следы вишневого лака, и поперек одного из них, на большом пальце, шла полоска пластыря. Боже мой, чего бы я не дал, чтобы тут же, немедленно, прильнуть губами к этим тонкокостным, длинопалым обезьяним ногам!» (Набоков, 1991. С.65). Мы видим здесь взаимоналожение квазиреалистических «приемов». В целом же в набоковской прозе завершается «романтическая» и «ставрогинская» семиотика ногтей/когтей аристократического чудовища, связанного с демоническими силами.

Другая сторона семиотики ногтей отражает литературную полемику (И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский) и авторефлексию (Л.Н. Толстой) вокруг противопоставления дворян и разночинцев, «отцов» и «детей», «естественного» и «неестественного». Разоблачение «пагубного, ложного понятия» о статусе светского человека и его атрибутах в рефлексии рассказчика толстовской

«Юности» имеет свои основания в наивной однозначности сатиры века Просвещения, но одновременно соединено уникальной авторской аналитикой «телесности», прежде всего контактной символики руки, пальцев, ногтей как их завершения: «Второе условие *comme il faut* были ногти длинные, отчищенные и чистые...» (Толстой, 1951:1. С.271); «Я с завистью смотрел на них и втихомолку работал ... над ногтями, на которых я резал себе мясо ножницами, - и все-таки чувствовал, что мне еще много оставалось труда для достижения цели» (Толстой, 1951:1. С.272); «Помню раз, после усиленного и тщетного труда над ногтями я спросил у Дубкова, у которого ногти были удивительно хороши, давно ли они у него такие и как это он сделал? Дубков мне отвечал: «С тех пор, как себя помню, никогда ничего не делал, чтобы они были такие, и не понимаю, как могут быть другие ногти у порядочного человека». Этот ответ сильно огорчил меня. Я тогда еще не знал, что одним из главных условий *comme il faut* была скрытность в отношении тех трудов, которыми достигается *comme il faut*» (Толстой, 1951:1. С.272); «По подразделению людей на *comme il faut* и не *comme il faut* они принадлежали, очевидно, ко второму разряду и вследствие этого возбуждали во мне не только чувства презрения, но и некоторой личностной ненависти, которую я испытал к ним за то, что не быв *comme il faut* они как будто считали меня не только равным себе, но даже добродушно покровительствовали мне. Это чувство возбуждали во мне их ноги и грязные руки с обгрызенными ногтями и один отпущенный на пятом пальце длинный ноготь у Оперова, и розовые рубашки, и нагрудники, и ругательства...» (Толстой, 1951:1. С.314); «Так что же такое было та высота, с которой я смотрел на них? Мое знакомство с князем Иван Ивановичем? Да уже не вздор ли все это? – начинало мне глухо приходиться иногда в голову под влиянием чувства зависти к товариществу и добродушному, молодому веселью, которое я видел перед собой» (Толстой, 1951:1. С.317); «Руки у него были худые, красные, с чрезвычайно длинными пальцам, и ногти обкусаны так, что концы пальцев его казались перевязанные ниточками. Все это мне казалось прекрасным и таким, каким должно быть у первого гимназиста» (Толстой, 1951:1. С.201); «Я не принадлежал ни к какой компании и, чувствуя себя одиноким и неспособным к сближению, злился. Один студент на лавке передо мной грыз ногти, которые были все в красных заусенцах, и это мне показалось до того противно, что я даже пересел от него подальше» (Толстой, 1951:1. С.290).

Оппозиция ухоженных («неестественных») и неухоженных («естественных») ногтей отчасти преодолена в повести «Казачки»: физическая сила сочетается в Оленине со светскостью («...щелкает миндаль в довольно толстых и сильных, но с отчищенными ногтями пальцами...» (Толстой, 1986. С.27), а «дикие» чеченцы с точки зрения ногтей вполне аристократичны «На маленьких кистях рук, поросших рыжими волосами, ногти были загнуты внутрь и выкрашены красным» (Толстой, 1986. С.62).

Столкновение двух поколений в романе «Отцы и дети» разворачиваются и на уровне телесной знаковости: «... крепко стиснул его (Базарова - В.М.) обнаженную красную руку, которую тот не сразу ему подал» (Тургенев, 1976:7. С.11); «Павел Петрович вынул из кармана панталон свою красивую руку с длинными розовым ногтями, - руку, казавшуюся еще красивей от снежной белизны рукавчика, застегнутого одиноким крупным опалом, и подал ее племяннику» (Тургенев, 1986:7. С.19); «А чудаковат у тебя дядя, - говорил Аркадию Базаров, сидя в халате возле его постели и посасывая корот-

кую трубочку. – Щегольство какое в деревне, подумаешь! Ногти-то, ногти, хоть на выставку посылай!» (Тургенев, 1986:7. С.20). Ногти Нулина / Онегина с приходом поколения разночинцев воспринимаются как анахронизм, чудачество, эстетская прихоть.

«Реальный» взгляд на поведение и потребности человека в это время граничит с провокацией, маркированной как социально, так и демонически («нечистые» ногти – «нечистый дух» – бесовство):

«... - Арина Прохоровна, нет у вас ножниц? – спросил вдруг Петр Степанович.

- Зачем вам ножницы? - выпучила та на него глаза.

- Забыл ногти обстричь, три собираюсь, - промолвил он, безмятежно рассматривая свои длинные и нечистые ногти.

Арина Прохоровна вспыхнула, но девице Виргинской как бы что-то понравилось.

- Кажется, я их здесь на окне давеча видела, - встала она из-за стола, пошла, отыскала ножницы и тотчас же принесла с собой.

Петр Степанович даже не посмотрел на нее, взял ножницы и начал возиться с ними. Арина Прохоровна поняла, что реальный прием, устыдилась своей обидчивости» (Достоевский, 1991:7. С.377-378); «... - Однако порядочный вздор! – как бы вырвалось у Верховского. Впрочем он, совершенно равнодушно и не подымая глаз, продолжал обстригать свои ногти» (Достоевский, 1991:7. С.380).

Верховенский и в самом деле выбрал эффектный прием: публичное подстригание ногтей, весьма запущенных, да еще во время доклада «гения» Шигалева произвело на неискушенных провинциалов шокирующее впечатление.

Итак, в разночинские стереотипы поведения прочно входит «небрежение» ногтями, своего рода антиэтикет по отношению к дворянско-аристократическому, светскому этикету. «Реальная» эстетика поведения и телесности 60-х нанесла по эстетике ногтей удар, от которого последняя уже не оправилась, по крайней мере в литературе. Ухоженные ногти уже не маркируют мужчину-дворянина, «настоящего» джентльмена, они не вызывают раздражение автора, а просто выпадают из поля его зрения, перестают быть символизирующим или дифференцирующим признаком.

Новый этап отношения к ногтям очевиден в послереволюционной литературе. С одной стороны, уход за ногтями маркирует поведение и облик «уходящего класса»: «К Тептелкину подошла Муся в старомодной соломенной шляпе с голубыми ленточками и слегка блестящими ногтями дотронулась до его руки. – Скажите, - сказала она, что значит:

Есть в статуях вина очарованье,

Высокой осень пьянящие плоды».

(Вагинов, 1991. С.69);

«- ... Мы все находимся в высокой башне, мы слышим, как яростные волны бьются о гранитные бока.

Башня была самая реальная, уцелевшая от купеческой дачи. Низ дачи был растащен <...> Стоял стол, накрытый зеленой скатертью. Вокруг стола сидело общество: дама в шляпе со страусовыми перьями и с аметистовым кулоном, собачка рядом с ней на стуле; старичок, рассматривающий ногти и делающий тут же маникюр; юноша в кителе с старозаветной студенческой фуражкой на коленях; философ Андрей Иванович Андриевский» (Вагинов, 1991. С.56).

Для К. Вагинова и его персонажей это атрибут на глазах разрушающейся маньеристской культуры, эстетского герметизма – своего рода « комплекса статуи» предполагающего прекрасно-окаменевшую телесность среди хаоса. Разумеется, авторское отношение к подобному противостоянию времени было, по крайней мере в прозе, ироническим, а не пафосным.

В «Гарпагониане» именно совокупность ногтей, отчужденных от своих ничем не примечательных владельцев, символизирует хаос, наступивший после конца культуры. Культура стала романтическим архивариусом лишённого всякого смысла собрания предметов:

«Перед человеком лежали: ногти остроконечные, круглые, женские и мужские различных оттенков. На каждом ногте чернилами весьма кратко было обозначено где, когда ноготь срезан и кому он принадлежал.

Была глубокая ночь.

<...>

И то, что спит вокруг, доставляло бодрствующему невыразимое наслаждение. Он перебирал ногти, складывая в кучки, располагал в единственно ему известном порядке.

Нет, собственно, и ему неизвестен был порядок, он искал его, он искал признаки, по которым можно было бы систематизировать эти предметы.

Он брал ногти на ладонь и читал надписи:

Самарканд 1921 г. Копошевич

Саратов 1922 г. Уленбеков

Астрахань 1926 г. Карабозов

<...>

«Он был горд, предполагал, почти был уверен, что никто в мире, кроме него, не занят разрешением некоторых вопросов» (Вагинов, 1991. С.372).

Русский концептуализм, вводящий в контекст культуры или искусства любые фрагменты обыденности, начиная с вагиновских собирателей и систематизаторов. Пожалуй, впервые в русской литературе ноготь полностью замещает своего владельца с точки зрения эстетической значимости, фрагмента тела подменяет личностную целостность:

«... к счастью, ноготь Уленбекова нашелся. Он мирно лежал у стены. Одно неловкое движения, и ноготь провалился бы в щель.

Торжествуя, человек поднялся, стал сдувать с предмета пыль, протер его тряпочкой и осторожно, как святыню, положил в коробочку» (Вагинов, 1991. С.372).

Поразительно, что подобная «дегуманизация» совмещена с крайней степени сакрализацией, как бы завершающей период внимательного разглядывания и фиксации одной из важнейших границ телесности человека. Следствием этой рефлексии, которая напоминает общебэриутское философствование об «окончаниях» тела, стала уникальная в русской литературе эпиграфика ногтей, «ногтеграфия» - надпись на ногте.

В то же время вагиновская рефлексия «отчужденного» ногтя сфокусировала процесс, который можно обозначить как разрушение телесности в после-революционной литературе. Ногти здесь – часть этого разрушающегося/разрушаемого целого, инструмент или объект садомазохистской агрессии: «не губа, а – кулак; вместо глаза пузырь обожённого века; на месте, где ноготь раздробленный, - бухало, рвалось, тяжелело. Как будто копыто, - не но-

готь – висело» (Белый, 1989. С.168); «Сергей Михайлович сидел на табуретке и листоновскими щипцами срывал помертвевшие ногти с отмороженных пальцев скорченного грязного человека. Ногти один за другим падали со стуком в пустой таз. Сергей Михайлович заметил меня. - Вчера вот полтаза таких ногтей набросал» (Шаламов, 1989. С.335); «Я готов был рвать ногтями, срезать бритвой, срывать всячески мою харю, мое земное естество, мое гнусное мясо...» (Иванов, 1991:1. С.420); «Марина разводит дрожащие ноги, и Жирная вдруг больно хватает ее между ног своей сильной когтистой пятерней» (Сорокин, 1998. С.620).

Ногти трансформируются в острый инструмент или метонимически замещаются им, ногти становятся ножом, символическая связи дополняется звуковой: «Татарин только слегка дотрагивается до проволоки, вешает ее на ногте мизинца. Профессор с любовью смотрит на длинный, как щета, острый ноготь» (Иванов, 1991. С.76); «Ногти у него скользят и срываются – они до противного мягки. Он внизу ножом гыгена расковыривает конец проволоки и тянет» (Иванов, 1991. С.54); «И выковыривал ножом / Из-под ногтей я кровь чужую» (Н.Майоров).

Итак, в русской литературе XX в. Из ногти дифференцирующего символа, принадлежащего мужчине, превращаются в абсурдный фрагмент музейной культуры, становятся средством репрессивной обработки тела или инструментом агрессивного воздействия. Ногти маркируют женскую телесность и ее функционирование, но даже в этом качестве вытесняются «советской» аскетической трудозиткой: «За неделю многое изменилось в жизни Марины. Она стала жить в комнате со Светой и маленькой Мишкой, обрезала волосы и ногти, раздала все свое ... имущество» (Сорокин, 1998. С.757).

В современной литературе «реабилитация» плоти развивается в нескольких направлениях (маньеризм постнабоковского типа, авангард и массовая литература). Актуальные семиотические процессы в символике ногтей мы проанализируем в последующих публикациях.

Литература

- Барт Р. Camera lucida. М., 1997.
 Белый А. Москва. Тула, 1989.
 Вагинов К. Козлиная песня: Романсы. М., 1950.
 Гоголь Н. В. Собрание сочинений в 6-ти т. М, 1950.
 Достоевский Ф. М. Собрание сочинений в 15-ти т. Л., 1988-1991.
 Иванов Вс. Возвращение Будды. Чудесные похождения портного Фокина. М., 1991.
 Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений в 4-х т. М., 1958.
 Набоков В. Лолита. Барнаул, 1991.
 Пушкин А. С. Сочинения в 3-х т. М., 1987.
 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в 6-ти т. М., 1950.
 Русская эпиграмма второй половины XVII – начала XX века. Л., 1975.
 Сорокин В. Собрание сочинения в 2-х т. М., 1998.
 Толстой Л. Н. Избранные произведения в 3-х т. М.; Л., 1951.
 Толстой Л. Н. Повести и рассказы. М., 1986.
 Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и поэм в 30-ти т. М., 1978-1986.
 Шаламов В. Левый берег. Рассказы. М., 1989.

Дискурс игры в русской литературе рубежа XIX–XX веков

Наталья Алексеева

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ЕКАТЕРИНБУРГ

Культура эпохи русского ренессанса представляется «культурой, дошедшей до эстетического предела» (Н. Бердяев). Символы и образы различных эпох и культур пересекаются в едином пространстве, погруженном в предельно театрализованную атмосферу. Игра при этом понимается как один из ведущих способов существования и организации пространства культуры, а также как возможный мета-язык описания культуры подобного типа.

Дискурс игры позволяет выйти к описанию коммуникативных процессов, происходящих в пространстве культуры. В данном случае коммуникация происходит в особом «игровом мире», где определенным образом маркированы пространство и время (ограничивая игровое поле от «не-игры»), и заданы коды (системы «опознавательных знаков» для игроков), а также правила поведения (сценарии) участников игрового сообщества (партнеров по игре). Условием *sine qua non* является овладение искусством одновременного пребывания в условном и реальном мирах (так называемое двуплановое поведение).

Й. Хейзинга в своем классическом труде, посвященном исследованию игрового элемента культуры, предлагает такое определение игры: «Игра есть добровольное действие либо занятие, совершаемое внутри установленных границ места и времени по добровольно принятым, но абсолютно обязательным правилам с целью, заключенной в нем самом, сопровождаемое чувством напряжения и радости, а также сознанием «иного бытия», нежели «обыденная» жизнь».¹ Для нас из всех определений игры особенно актуальным оказывается осознание ее как сферы внутренней свободы человека. При этом снимается противопоставление игры как труду (работе), так и «серьезности», а

¹ И. Хейзинга. *Homo ludens: Опыт определения игрового элемента культуры. В тени завтрашнего дня.* Общ. ред. и послеслов. Г.М.Тавризян. М., 1992. С.41.

парадигму смыслов задает важнейшая антонимическая пара: игра и насилие. Развивая логику построений французского ученого Р. Кайюа, можно определить игру как событие, снимающее с какой-то точки мира печать насилия. Следовательно, наиболее адекватным отношением к игре как феномену человеческого бытия становится отношение к ней не как к субстанции, а как к способу пребывания в действительности, к отношению человека к среде.²

Тип романтического сознания, утвердившийся в эпоху символизма, подразумевает взаимообратимость, неотделенность искусства и жизни, что проявилось, например, в известном феномене «жизнетворчества» символистов. С другой стороны, оказывается, что множества «игроков», выявленных при обособленном анализе сфер жизненного и литературного творчества, пересекаются в достаточно небольшом секторе, в который попадают те фигуры культурной жизни России рубежа веков, для которых игровое содержание было в равной степени актуально в искусстве и жизни. Для представления взаимодействий различных типов дискурса игры, проявляющих себя в культурном поведении и манифестированных в текстах, мы избрали трех «игроков» «срединного типа»: Н. Гумилева, М. Волошина и М. Кузмина. Если выделить доминирующую интенцию жизни и творчества каждого из них и расположить их в коммуникативном пространстве культуры, то преобладающую позицию Н. Гумилева можно определить как креативную, М. Волошина – как референтную, М. Кузмина – как рецептивную. При этом предполагается, что позиция, выделенная нами в качестве ведущей, проявлялась наиболее ярко и имела определяющее значение для жизни и творчества каждого из авторов. Следует заметить, что предметом нашего непосредственного изучения было творчество М. Волошина и Н. Гумилева, тогда как в отношении фигуры М. Кузмина мы вынуждены ограничиться самими общими замечаниями предварительного характера.

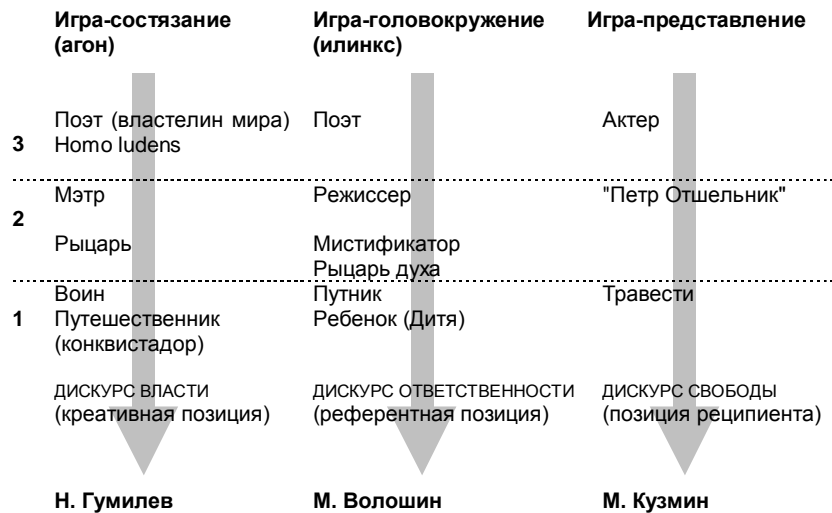
Полученная модель коммуникации рассматривается нами на трех основных уровнях:

1 – «психологический», очерчивающий роли Игрока, погруженные в реалии его действительной жизни. Речь идет, собственно, не об анализе психологии того или иного персонажа, а о тех его ролях, которые поддаются реконструкции, будучи запечатлены в культурных формах мемуаров, дневников, писем и т.д. По мере реконструкции выясняется и «ролевая раскладка» эпохи, выступающей здесь в качестве режиссера, ибо сохраниться смогли только те варианты ролей, которые образовывали «имидж» поэта или писателя; тогда как маргинальные черты (возможно, столь же значимые, но не вошедшие в культурный образ) упоминаются лишь эпизодически.³ В случае Н. Гумилева здесь можно говорить, например, о роли Путешественника и Воина; у М. Волошина – о роли Ребенка (Дитя) и Путника; у М. Кузмина – о роли Травести.

2 – «социо-культурный уровень», на котором разворачиваются процессы взаимодействия «социальных ролей». Наиболее яркими и отчетливыми видят-

² С. Миллер отмечает, что в отношении игры корректнее использовать не существительное (что?), а наречие (как?), что сопоставимо и с ролью русского творительного падежа – чем? играть (С. Миллер. Психология игры. СПб., 1999).

³ Примером может служить различное отношение к такому качеству как остроумие, склонность к шутке, очевидно, в равной степени присущая, например, В. Маяковскому, примеры остроумия которого заботливо сохранила история, и А. Блоку, поэтический облик которого сложился вне этого качества (или даже с его семиотическим «минусом»).



ся роли Рыцаря и Мэтра у Н. Гумилева; Рыцаря духа, Мистификатора - Режиссера у М. Волошина; «Петра Отшельника» у М. Кузмина.

3 – уровень миротворчества; создания «персонального мифа», формирования текста собственной жизни, который позволяет выявить стержневую направленность всего земного бытия человека и определить ведущий тип игры в его жизни. Высшей ипостасью ролевого самовоплощения Н. Гумилева становится его роль Поэта – создателя и властелина миров; М. Волошин является собой классический вариант Homo ludens (детище его жизни – Дом Поэта в Коктебеле); у М. Кузмина, предположительно, преобладает эстетическая позиция Актера.

Взаимоналожение вертикальных (ролевых) и горизонтальных (уровневых) структур дает нам приведенную выше схему:

На наш взгляд, подобным образом представленные основные коммуникативные позиции позволяют, во-первых, описывать процессы, происходящие на «горизонтальных» уровнях, то есть помогают объяснить (либо предсказать) сближение или взаимоотталкивание фигур в поле культуры. Во-вторых, становится возможным, выделив доминирующую коммуникативную стратегию, проследить варианты ее манифестации в самых различных текстах, создаваемых художниками.

В качестве иллюстрации того, как происходит поиск партнера по игре в соответствии с усвоенным культурным кодом, как возникает «игровое сообщество» и распределяются внутри него роли согласно сценарию игры, мы прибегнем к аналитическому комментарию истории появления поэтессы Черубины де Габриак - известной мистификации литературных кругов Петербурга. Нас, в основном, будет интересовать социальная проекция произошедшего в 1909 году, а не манифестации этого в текстах той эпохи и в стихотворениях Черубины, – то есть анализу мы подвергнем, прежде всего, «социокультурный» уровень взаимодействия.

Итак, инициатором всего процесса был М. Волошин, выступавший в роли Режиссера данной игры. Очевидно, эта роль сформировалась у него не сразу: в молодости М. Волошин имел опыт участия в «игре» гораздо более могущественного мастера, нежели был он сам. В 1907 году, в Берлине, чета М. Волошин – М. Сабашникова попала в орбиту столь мощной личности (по утверждению многих современников, – несомненно, одного из сильнейших и интереснейших «*homo ludens*» эпохи) – Вячеслава Иванова, что не смогла выйти из подобного испытания, сохранив свой союз: дороги Максимилиана Волошина и Маргариты Сабашниковой разошлись навсегда. Тогда М. Волошин, со своей обычной легкостью, вошел в круг любимого им поэта. Он глубоко уважал В. Иванова-поэта и разделял многие его положения: в частности, представление о действительности мира мечты, – правила и код игры, таким образом, были им приняты. М. Сабашникова, по ее собственному признанию, чувствовала себя «зайчиком в волчьем логове»⁴. Но социальные игры характерны тем, что создавшаяся «игровая ассоциация» стремится захватить все большее социальное пространство, перенося в него правила своего игрового мира, производя экспансию игры. Сама по себе игра, стоящая вне морали, вне добра и зла, за счет рождающегося в ней напряжения, всегда осуществляет испытание всех участвующих в ней. Тогда, вместе с правилами «не-своей» игры, М. Волошин принял на себя роль пациента (если описать произошедшее в терминах агональной риторики). Думается, этот жесткий опыт «не-режиссера» пьесы повлиял на ролевой выбор М. Волошина, оформив впоследствии его всегданнюю склонность мистифицировать окружающих.

М. Волошин, остро чувствующий «спрос» поэтического «рынка» Петербурга, великолепно ориентирующийся в литературной среде, некоторое время был одержим идеей создания поэта – фантома. По крайней мере, М. Цветаева упоминает о его настойчивых предложениях ей «поделиться» на нескольких поэтов, чтобы «самой себе не вредить избытком»: на юношу-поэта Петухова и поэтических близнецов Крюковых. Однако в случае с М. Цветаевой искус М. Волошина, как писала она потом в эссе «Живое о живом», разбился о «скалу моей немецкой протестантской честности, губительной гордыни – все, что пишу – подписывать»⁵. Перед нами наглядный пример того, как, при наличии игровых интенций у обоих, расходятся коды, а следовательно, становится невозможным организовать само общее поле игры.

Искомго партнера по игре М. Волошин нашел в лице Елизаветы Васильевой (Дмитриевой). Было получено согласие Второго на мистификацию. В качестве игровой площадки избрали стиль символизма, сложившийся к тому времени (1909 год) в определенную систему, вполне созревшую для пародирования. Нужна была еще не занятая культурно-поэтическая «ниша» – таковой стал иступленный католицизм Черубины, разработанный М. Волошиным и Е. Васильевой. (М. Волошин тонко чувствовал необходимость чего-то «невиданного», «небывалого» для продуцирования литературного успеха: ведь и М. Цветаевой он предлагал создать «то, чего еще не было, то есть гениальных близнецов»⁶.)

Далее, нужен был «реципиент» разделяющий правила этой игры, и, вместе с тем, не догадывающийся об истинном положении вещей (условно можно

⁴ М. Сабашникова // Воспоминания о Максимилиане Волошине: Сборник. М., 1990. С.123.

⁵ М. Цветаева. Живое о живом // М. Цветаева. Проза. М., 1989. С.210.

⁶ Там же. С.211.

назвать его игроком-пациентом). Им стал Сергей Маковский, который, кстати говоря, и послужил пусковым механизмом всей этой истории, отвергнув на правах редактора «Аполлона» стихи скромной школьной учительницы Е. Дмитриевой и спровоцировав тем самым явление красавицы-итальянки Черубины де Габриак. Ведение партии «партнера» Черубины подразумевало весьма определенные человеческие качества, которыми в полной мере обладал С. Маковский: эстет, щеголь и сноб, он гордился своим умением играть женскими сердцами. В его письмах того времени соединяются темы игры и поединка: «Какая удивительная девушка! Я всегда умел *играть женским сердцем*, но теперь у меня каждый день выбита *шага* из рук» (выделено мной – Н.А.)⁷. С. Маковский настолько явно изъявлял готовность к любовной игре – состязанию, что позднее многие подозревали его в авторстве всей мистификации в целом. М. Волошин писал об этом: «Нам удалось сделать необыкновенную вещь: создать человеку такую женщину, которая была воплощением его идеала и которая в то же время не могла его разочаровать, так как эта женщина была призраком».⁸

По иронии судьбы и в полном согласии со всей атмосферой эпохи серебряного века, С. Маковский избрал своим духовным поверенным именно М. Волошину (чьи незаурядные актерские данные известны по мемуарам современников), чем еще более усложнил и театрализовал ситуацию. Позднее М. Волошин признавался: «В стихах Черубины я играл роль режиссера и цензора, подсказывая темы, выражения, давал задания, но писала только Лиля». «Если в стихах я давал только идеи и принимал как можно меньше участия в выполнении, то переписка Черубины с С. Маковским лежала исключительно на мне. Пара Мако избрал меня своим наперсником. По вечерам он показывал мне мною же утром написанные письма и восхищался»⁹.

История Черубины де Габриак достаточно полно освещена в литературе. На всем протяжении она пронизана игровыми элементами: от выбора имени таинственной незнакомки – Лили Дмитриевой – в Коктебеле – по имени морского черта, до «создания» многочисленных родственников знатной «графини» (в числе которых был, например, кузен Дон Гарпия ди Мантилья). Поэзия Черубины, наряду с непривычными для поэтессы того времени «темпераментом, страстью и характером», от которых «слегка кружится голова»¹⁰, содержала массу пародийных элементов. Однако нас более интересует коммуникативная направленность подобных «литературных игр».

Характерно, что не только сотрудники редакции журнала «Аполлон» ощущали реальность существования вымышленной графини, но и сама Елизавета Дмитриева чувствовала, как все более наполняется жизненной плотью созданный ею самой фантом; она даже начала опасаться встречи с призраком Черубины де Габриак. Ведь Черубину искали и нашли (!) ее восторженные поклонники. Вероятнее всего, такого поворота событий не мог предвидеть и М. Волошин, хотя незадолго до этого он пророчествовал М. Цветаевой: «Петухов станет твоим *bete noir* (*наваждением*), Марина, тебя им замучат, Марина, и ты никогда – понимаешь? Никогда! – уже не сможешь написать ничего о

⁷ М. Волошин. История Черубины // Воспоминания о Максимилиане Волошине. С.184.

⁸ Там же. С.187.

⁹ Цит. по: Е. Васильева. «Две вещи для меня всегда были самими святыми: стихи и любовь» // Новый мир. 1988. № 12. С.132-170.

¹⁰ М. Волошин. Лики творчества. Л., 1988. С.517.

России под своим именем, о России будет писать только Петухов, - Марина! Ты под конец *возненавидишь* Петухова! (...) От нас ничего не останется. Ты будешь все, ты будешь – все. И (глаза белые, шепот) *тебя самой не останется. Ты будешь – те*.¹¹

Игра-мистификация неумолимо приближалась к концу: ситуация достигла предельного напряжения, и нужен был только повод, чтобы дестабилизировать всю «конструкцию». Концом Черубины стало признание Елизаветы Васильевой поэту Гюнтеру, сделанное под его психологическим давлением и сопровождаемое ее просьбой оставить все в тайне (что было вряд ли возможно в литературных кругах Петербурга). Значение игры для каждого из участников можно адекватно оценить только после ее окончания, определив ставку каждого игрока (в терминологии социолога Бурдьё, *illusio*). Прежде чем мы перейдем к этому, вспомним, что история мистификации закончилась дуэлью Н. Гумилева и М. Волошина, вероятно, последней дуэлью в истории русской литературы.¹²

На наш взгляд, «ролевая раскладка» каждого из участников этой дуэли позволяет выявить и объяснить и сам факт состоявшегося поединка, и поведение каждого из дуэлянтов. История дуэли, при всей ее кажущейся полноте изложения, оставляет ряд вопросов, главный из которых – почему же все-таки столкнулись именно М. Волошин и Н. Гумилев? Ведь роль оповестителя («сплетника» - в бытовом смысле) о реальной фигуре, скрывавшейся под именем Черубины, сыграл Михаил Кузмин. С другой стороны, в ситуации раскрывшегося обмана более чем естественно можно было предположить оскорбленное самолюбие Сергея Маковского, потерпевшего сокрушительное фиаско. Однако ни у С. Маковского, ни (тем более!) у М. Кузмина не было социальных ролей «рыцаря», наличие которых и побуждает человека начала XX века выйти к барьеру, чтобы защитить честь дамы или / и свою. Известно о неких оскорбительных словах Николая Гумилева в адрес своей бывшей возлюбленной (оставим этот вопрос без детального прояснения) – Елизаветы Васильевой. За честь дамы, вместо отсутствующего в Петербурге жениха, вступился Максимилиан Волошин – человек, способный встать на защиту Прекрасной Дамы, ибо именно рыцарскую любовь к женщине (никогда не иступленную страсть) он нес через всю свою жизнь. Итак, общий код, который объединил Н. Гумилева и М. Волошина, - это «рыцарство» как особая (культурная) роль, как тип поведения в сфере культуры и жизни. При этом ситуация резкого нарушения норм рыцарского поведения (какую и создал Н. Гумилев своими оскорбительными для Е. Васильевой словами) абсолютно равно-

¹¹ М. Цветаева. Живое о живом. С.211

¹² «Качество» литературных сплетен отразилось, например, в воспоминаниях А. Амфитеатрова о М. Волошине, написанных гораздо позже: «Однажды он дрался на дуэли с Гумилевым – за насмешки Гумилева над его фантастической влюбленностью в фантастическую графиню Черубину де Габриак. Такой графини никогда не бывало на свете, но под этим псевдонимом, ловким кокетством по телефону, переметила и перевлюбила в себя сотрудников «Аполлона» лукавая литературная авантюристка, к слову сказать, оказавшаяся, когда ее изобличили, на редкость безобразною лицом. И вот из-за этакой-то «незнакомки-невидимки» стрелялись два поэта! Правда, уже и дуэль была! Над калошей, забытой на месте поединка которым-то из дуэлянтов, фельетонисты и юмористические листки потешались не один год». А. Амфитеатров. Чудодей // Воспоминания о Максимилиане Волошине. С.134

правна с положением безоговорочного принятия этих норм, ибо показывает, что противники находятся в одном игровом поле. Ситуация, в которой М. Волошин бросает вызов Н. Гумилеву, перенасыщена театральными (то есть игровыми в квадрате!) деталями. «В мастерской было много народу, и с том числе Гумилев. Я решил дать ему пощечину *по всем правилам дуэльного искусства*, так, как Гумилев, *большой специалист, сам учил меня в предыдущем году*: сильно, кратко и неожиданно» (выделено мной – Н.А.).¹³ Действие разворачивается в мастерской театрального художника, где на полу разостланы декорации к «Орфею», Шаляпин поет «Заклинание цветов» – М. Волошин ждет конца арии, чтобы дать пощечину Н. Гумилеву, после мгновенной паузы – «голос И.Ф.Анненского: «Достоевский прав, звук пощечины – действительно мокрый». Н. Гумилев отшатнулся от меня и сказал: «Ты мне за это ответишь». (Мы с ним не были на «ты».) Мне хотелось сказать: «Николай Степанович, это не брудершафт». Но тут же сообразил, что это не вязалось с правилами дуэльного искусства...» Поединок состоялся на Черной речке, неподалеку от места дуэли Пушкина, да и пистолеты были если не те самые, то, во всяком случае, современные «солнцу русской поэзии».

Рыцарство Н. Гумилева было гораздо более укоренено в «действительной» жизни, нежели роль М. Волошина. С точки зрения Н. Гумилева, человека, по свидетельству современников, в определенном отношении принципиально «небогемного», ему было нанесено смертельное оскорбление, и разрешением ситуации могла стать только смерть оскорбленного, поэтому Н. Гумилев стреляет, тщательно целясь в М. Волошина. Роль Максимилиана Волошина, скорее, можно определить как «рыцарь духа»: он гуманист в самом высоком значении этого слова, поэтому так странно смотрится оружие в его руках и так естественен его выстрел в воздух.

Остается вопрос, почему же самой жестокой оказалась расплата за мистификацию не для «генератора идеи» – М. Волошина, а для самой поэтессы, чьи стихи (уже под настоящим именем) были опубликованы в «Аполлоне» и, кстати сказать, не вызвали особого резонанса? После разразившегося скандала Максимилиан Волошин уехал в Коктебель, а Елизавета Дмитриева на шесть (!) лет оставила какое бы то ни было литературное творчество. На наш взгляд, ответ нужно искать в понятии «ставки», а следовательно, и в связанном с ним «уровне» игры. Для С. Маковского, М. Волошина и Н. Гумилева произошедшее подпадает под тип игры-состязания, для которой характерно высокое напряжение участников; этот тип игры ориентирован на победу, но потенциально предполагает и возможность поражения. Показательно мнение М. Волошина, совпадающее с высказыванием С. Маковского, о собственной роли в этой истории как о роли Сирано (со всеми вытекающими отсюда литературными ассоциациями и культурными смыслами).

Что касается Елизаветы Дмитриевой, то здесь мы имеем с иным типом игры, выделенным французским ученым Р. Кайюа, развившим концепцию Й.Хейзинги. Р. Кайюа дополняет два исходных типа игр, обозначенных Хейзингой: игру-состяжание и игру-представление, - еще двумя: игрой марионетки и Рока и игрой-головокружением. Для Дмитриевой Черубина, несомненно, относилась к типу игры «килинкс» (головокружение).

В детстве, будучи очень болезненным ребенком (став взрослой, она ходила, прихрамывая), Лиля была практически прикована к постели, много чи-

¹³ М. Волошин. История Черубины // Воспоминания о Максимилиане Волошине. С.194.

тала и в мечтах уносились далеко, навсегда сохранив ощущение, что истинное значение имеет лишь мир фантазий, убеждений, грез; тот мир, который каждый человек сам создает в своей душе. Жажда воплощения томила ее: «И мне хочется, чтобы кто-нибудь стал моим зеркалом и показал меня мне самой хоть на мгновение. Мне тяжело нести свою душу».¹⁴ М. Цветаева тонко передает состояние, в котором находилась эта женщина, в жизни – скромная школьная учительница, в которой «жил нескромный, нешкольный, жестокий дар, который не только не хромал, но который как Пегас, земли не знал. Жил внутри, один, сжирая и сжигая».¹⁵ Однако дар этот наталкивался на чрезмерно самокритичное самосознание, на «катастрофический разрыв души и тела». В письмах Елизаветы Васильевой постоянно звучат мотивы отчаянного желания творчества: «Путь искусства – путь избранных людей, умеющих претворить воду в вино. А для других – это путь постоянной горечи; *нет ничего тяжелее, как невозможность творчества, если есть вечное стремление к нему*. Понимать, но не проникаться, – ведь это проклятие! ...у меня так много жажды творчества и так мало творчества, т.е. нет его совсем».¹⁶ «Я всегда боюсь, что больше не буду писать, и всегда когда пишу, думаю, что утратила способность писать» (выделено мной – Н.А.).¹⁷ М. Волошин почувствовал внутреннюю борьбу Е. Васильевой и смог не только, по словам М. Цветаевой, дать «дару земле, обездоленной судьбу, безымянной имя», но, защитив Лилю маской красавицы-итальянки, освободил ее «от страха своего отражения в зеркале приемной «Аполлона» и в глазах его редакторов»¹⁸, а главное – выпустил на волю ее творческий дух из-под беспощадно-оценочного контроля сознания, создав игровой мир – мир «без меча Судии». Спустя шесть лет после описываемых событий Е. Васильева писала М. Волошину: ««Черубина» для меня никогда не была игрой... «Черубина» поистине была моим рождением; увы! мертворождением».¹⁹

В том типе игры, который Р. Кайюа определяет как «опьянение» или «головокружение», человек погружается внутрь самого себя, чтобы, утратив самоидентичность со своим «я», найти и вывести на свет своего *Человека возможного*, ощутив духовную амплитуду своего существования. Драматизм подобной игры очевиден: в ней человек не защищен никакими конвенциональными условиями – такова обратная сторона безграничных возможностей духа, высвободившегося из-под гнета эмпирической реальности. Подобная игра не ограничена пространственно-временными рамками, в ней нет Другого как партнера по разыгрываемому действию... «Неготовые место и время» не пощадили и Черубину де Габриак: «Как *лунатика* – окликнули и окликом сбросили с башни ее собственного Черубинино замка – на мостовую прежнего быта, о которую разбилась вдребезги».²⁰ Дадим слово самой Елизавете Васильевой: «После дуэли я была *больна, почти на краю безумия*» (выделено

¹⁴ Е. Васильева. «Две вещи для меня всегда были самими святыми: стихи и любовь». С.138.

¹⁵ М. Цветаева. Живое о живом. С.204-205.

¹⁶ Письмо Е. Васильевой от 7 (20).12.08. Цит. по: Е. Васильева. «Две вещи для меня всегда были самими святыми: стихи и любовь». С.154.

¹⁷ Там же. С.139.

¹⁸ М. Цветаева. Живое о живом. С. 205-206.

¹⁹ Письмо Е. Васильевой от 26.05.16. Цит. по: Е. Васильева. «Две вещи для меня всегда были самими святыми: стихи и любовь». С.135.

²⁰ М. Цветаева. Живое о живом. С.208.

мной – Н.А.). Я перестала писать стихи, лет пять я даже почти не читала стихов, каждая ритмическая строчка причиняла мне боль. Я так и не стала поэтом... И вот с тех пор я жила не живой; шла дальше, падала, причиняла боль. И каждое мое прикосновение была ядом...»²¹ «Я не буду больше писать стихи. Я не знаю, что я буду делать. Макс ты выявил во мне на миг силу творчества, но отнял ее навсегда от меня потом. ...А за этот год благодарю тебя». ²² Чтобы закончить этот сюжет, скажем, что было бы упрощением считать, что образ Черубины был изжит Елизаветой Васильевой, несмотря на совет М. Волошина выбрать новый псевдоним. Новое «воплощение» состоялось незадолго до смерти Е. Васильевой – в 1928 году, уже в ссылке, под именем китайского поэта Ли Син Цзы вышел цикл ее стихов «Домик под грушевым деревом».

Если определять тип ведущей, стержневой игры в жизненном и литературном творчестве М. Волошина, то это также будет *игра-головокружение*, субъектом которой является, по определению Р. Кайюа, «скоморох божий». Высшим и главным воплощением «человека возможного» для М. Волошина стала его роль Поэта – хозяина знаменитого Дома Поэта в Коктебеле, многие годы привечавшего самых разных, порой абсолютно несовместимых творчески, писателей, художников, артистов... В своем Доме М. Волошин в годы революции и гражданской войны укрывал то красных от белых, то белых от красных, в каждом из борющихся видя прежде всего человека, в реальном мире выстраивая и проживая свою позицию Поэта - Прохожего, стоящего «над схваткой».

Несколько слов о «вертикали» М. Волошина. Детская игра представлялась ему той питательной средой, в которой берет начало любое творчество вообще. Гении – это те люди, которые сумели «не вырасти», не утратить в себе ощущение детства. Очевидно, с такой установкой связано восприятие М. Волошина как большого ребенка, сумевшего до зрелого возраста сохранить в себе чисто детские черты: радостное ощущение мира и себя в нем, жгучий интерес ко всему окружающему. Так можно выделить роль Ребенка («играющего Будды») в облике М. Волошина, которую, так или иначе, озвучивают все, знавшие его в повседневной жизни. Точка зрения М. Волошина на роль и значение игры в жизни отдельного человека и в культуре в целом манифестирована в его статьях, таких, например, как «Театр и сновидение» и «Откровения детских игр».

Что касается собственно художественного творчества Максимилиана Волошина, то наиболее игровую часть его представляют литературно-критические статьи (составившие, например, сборник «Лики творчества»). В них он выступает как *homo ludens*, воспринимающий культуру как *форму*, и с наслаждением играющий символами и образами разных эпох, культур и цивилизаций. Шедевром подобного отношения к культуре и литературе можно считать статью «Аполлон и мышь», в равной мере предполагающую как чтение в качестве чисто игрового текста, так и восприятие как мозаики энциклопедически точных фактов. В данном случае детски беззаботная игра являлась, прежде всего, живой, питательной средой, которую неустанно создавал и поддерживал Максимилиан Волошин в течение всей своей жизни. Однако

²¹ Черубина де Габриак. Исповедь // Воспоминания о Максимилиане Волошине. С.198.

²² Письмо Е. Васильевой от 15.03.10. Цит. по: Е. Васильева. «Две вещи для меня всегда были самими святыми: стихи и любовь». С.154-155.

тот текст, который оставил нам М. Волошин в своей автобиографии, говорит о том, что все его игры были устремлены в ту сферу, где царствовал дух. «Из заколдованного круга игры человеческий дух может освободиться, только направив взгляд на самое наивысшее», - писал Й. Хейзинга.²³ Над пространством игры у М. Волошина была сфера, предполагающая качества, каких по определению лишена игра. Сфера, где все содеянное поверялось добром, а значит, предполагалась *ответственность* человека за избранный путь жизни.²⁴ При этом художественное творчество (в широком смысле слова, ибо М. Волошин был не только поэтом и критиком, но еще и художником) составляло лишь часть, далеко не самую значительную, той личности, которую создал своей жизнью homo ludens – Максимилиан Волошин.

* * *

Обратимся к фигуре Николая Гумилева. Он являет собой тип человека (напомним, мы имеем в виду, прежде всего, культурную проекцию) с длительным периодом юности, что совпадало и с его достаточно поздним становлением как поэта. Вплоть до начала Первой мировой войны (в 1914 году Н. Гумилеву было 28 лет) он воспринимался как человек, живущий идеалами юности, которыми уже «переболели» его ровесники. «Ему просто всю жизнь было 16 лет. Любовь, смерть и стихи. В 16 лет мы знаем, что это прекраснее всего на свете. Потом – забываем: ... мелочи повседневной жизни убивают романтические «фантазии». Забываем. Но он не забыл, не забывал всю жизнь», - писал Э. Голлербах.²⁵ Для гумилевского восприятия жизни были чрезвычайно характерны следующие черты, нашедшие воплощение в его жизненных и литературных ролях: настороженное отношение к жизни и утверждение своей власти над ней. Роль путешественника, равно как и роль воина, для Николая Гумилева была принципиально укоренена в реальной жизни. Установка на подлинность, несомненность происходящего выделяла Н. Гумилева среди тогдашней атмосферы всевозможных мистификаций, придавая ему черты чопорности и педантизма (в глазах захваченных театрализа-

²³ И. Хейзинга. Homo ludens. Опыт определения игрового элемента культуры. В тени завтрашнего дня. С.239.

²⁴ Эта сторона личности М. Волошина была скрыта от современников, однако, все они дополняют его портреты именно этим, принципиально не манифестируемым самим М. Волошиным, тайным знанием. В качестве примеров приведем два суждения. М. Цветаева: «Макс был знающий. У него была тайна, которую он не говорил. Это знали все, этой тайны не узнал никто». «Макс принадлежал другому закону, чем человеческому, и мы, попадая в его орбиту, неизменно попадали в его закон, Макс сам был планета» (М. Цветаева. Проза. М., 1989. С. 230). Из воспоминаний Ф. Арнольд: «Есть люди, от которых исходит какой-то постоянный ровный свет. ... Их интересы, в общем, выше интересов большинства людей, их призвание заставляет их как бы смотреть поверх повседневных мелочей жизни. ... Они легко, как нечто само собой разумеющееся, отметили в жизни все, что кажется необходимым и к чему стремится большинство людей, - деньги, власть, и т.д., и прошли по жизни танцующей походкой, избранники судьбы, соль земли, ее гордость и украшение» (Ф. Арнольд. Свое и чужое // Воспоминания о Максимилиане Волошине. С.86-87).

²⁵ Э.Голлербах. Из воспоминаний о Н.С. Гумилеве // Николай Гумилев в воспоминаниях современников. Париж – Нью-Йорк - Дюссельдорф, 1989. М.,1990. С.15.

цией жизни современников).²⁶ Роль конквистадора, воина-завоевателя, была избрана поэтом уже в первом сонете (сборник «Путь конквистадора») и с тех пор сохранялась в его творчестве. И. Лапшинская обращает внимание на значимость мотива «железного панциря», в который одет конквистадор, для всего последующего творчества Н. Гумилева.²⁷ Если рассмотреть поэтические манифестации роли рыцаря в лирике, например, Н. Гумилева и А. Блока, то окажется, что при сходном культурном коде (культуры рыцарства и Прекрасной дамы) их резко отличает интенциональность: герой А. Блока *приветствует* жизнь звоном щита, принимая ее, тогда как Н. Гумилев *защищается* от нее. Такая позиция сформировала и культ личной храбрости, характерный для Н. Гумилева-человека. Уже упоминавшийся нами Э. Голлербах отмечал: «Героизм казался ему вершиною духовности».²⁸

Далее, «поднимаясь» к уровню социо-культурному, мы выделяем роль Мэтра, основой которой в психологическом плане, на наш взгляд, является потребность самоутверждения, ярко выраженная у Н. Гумилева. Ролевой (игровой) характер этой культурной позиции со всей очевидностью проявляется в ее пространственно-темпоральной локализации: по свидетельствам современников, после окончания занятий с «гумилиятами», которые Н. Гумилев проводил, находясь в образе «отца акмеизма», «Мэтр» охотно играл с ними в жмурки. Присутствие той или иной роли в «культурном облике» поэта и писателя помогает объяснить (либо – предсказать) их взаимные притяжения – отталкивания. Так, например, роль Мэтра была свойственна и В. Брюсову, обожавшему заседания различного рода и свой статус председателя на них. И действительно, известно пиететное отношение Н. Гумилева к В. Брюсову, его долговременное пребывание в позиции ученика по отношению к учителю – В. Брюсову. С другой стороны, М. Кузмин, выступавший в печати под псевдонимом «Петр Отшельник», был принципиальным противником литературных школ, борьбы течений и направлений, то есть занимал, в этом отношении, полюс, противоположный позиции Н. Гумилева. Понятие дискурса включает в себя и интенцию художника. Если позицию М. Кузмина можно описать как дискурс свободы, то Н. Гумилев проявляет себя, прежде всего, как агональный коммуникант, стремящийся подавить противника. Литературную школу Н. Гумилев воспринимал как своего рода «военный лагерь», где должна была царить групповая дисциплина. Стиль его отношений с «противниками» говорит о том, что в сознании Н. Гумилева доминировало восприятие литературного процесса более как борьбы группировок и школ, нежели чем как единой сферы служения Поэзии, для которой «техника стиха» вторична. Полувоенный «устав», введенный Н. Гумилевым в своей школе, характеризовался строгой иерархичностью, в соответствии с которой воспринимались и оценивались поэтические произведения.²⁹ Здесь мы касаемся проблемы соотношения иерархичности как необходимого условия для вынесения любых оценочных

²⁶ Так, например, известно, что чета Мережковский – Гиппиус вообще подозревала, что все свои подлинные охотничьи трофеи Н. Гумилев просто покупает на ближайшем восточном базаре.

²⁷ См. об этом Н. Лапшинская. Первый сонет Николая Гумилева // Русская речь. 1997. № 6. С.21-26.

²⁸ Э.Голлербах. Из воспоминаний о Н. С. Гумилеве. С.17.

²⁹ Иерархичность как одна из ведущих черт Н. Гумилева-критика отмечалась, в частности, О.Лекмановым. См.: О.Лекманов. Акмеисты: поэты круга Гумилева // Новое литературное обозрение. 1996. № 17. С.168-184.

суждений и догматичности мышления, сужающего кругозор (убивающей многозначность толкований) и придающего жесткость (нежизненность) всем теоретическим конструктам. Однако именно это, далеко не самое замечательное качество, во многом обеспечило Н. Гумилеву место главы литературного направления. Например, М. Кузмин, как известно, разделяющий основные принципы новой школы «не был достаточно односторонним, чтобы стать вождем всех этих молодых людей. Это качество – неоценимый дар, если хочешь или должен кем-то повелевать. И оно даже не нужно: надо только уверенно и бескомпромиссно играть в односторонность. Н. Гумилев это умел».³⁰ Догматизм мышления, характерный для военных, а также односторонность, выполняющая, кроме прочего, и функцию пробивной силы в литературной борьбе, оборачивались потерей (органической недостатчей), например, чувства юмора, разбивающего любые догмы. Это отмечали в Н. Гумилеве многие: «Я не видел человека, природе которого было бы более чуждо сомнение, как совершенно, редкостно, чужд был ему и юмор. Ум его, догматичный и упрямый, не ведал никакой двойственности», – писал А. Левинсон.³¹ Социальная проекция Н. Гумилева-мэтра характеризовалась теми же чертами, обнаруженными нами в перечисленных выше ролях: движение по линии наибольшего сопротивления, жестко регламентированные взаимоотношения между литературными «станами». Б. Лившиц свидетельствует: «Пожалуй, один только Гумилев, не отделявший литературных убеждений от личной биографии, не признавал никаких ходов сообщения между враждующими станами...»³²

Агональность проецировалась и во внутренний мир Н. Гумилева: вся жизнь этого человека была постоянным самовоспитанием и «выделыванием себя», то есть тем процессом, субъект (и объект), или – творец и результат, которого в англоязычных странах носит название *self-made man*. Практически все, чем занимался Н. Гумилев в своей жизни, он делал вопреки сложившимся либо заданным обстоятельствам. Этот стержень пронизывает все сферы жизни Н. Гумилева. Будучи от природы достаточно слабым и болезненным, он становится путешественником и военным. Имея внешние данные ниже средних, тщательно следит за одеждой, получает репутацию «денди» и эстета, особо дорожит образом «сердцееда». То же относится и к творчеству, которое никогда не было для Н. Гумилева непосредственной реакцией на событие, вольным излиянием чувств, но всегда – творением в жестко заданной системе правил. Эта позиция Н. Гумилева, ролевое воплощение которой условно можно обозначить как *Self-made man*, сближает его с А. Ахматовой, при всех отличиях их творческих миров.

Ограниченные объемом статьи, поднимаемся на третий «ролевой» уровень, где встречаются главные вертикаль и горизонталь художественного мира Н. Гумилева, рассматриваемого нами с точки зрения дискурса игры. Нервом агональной игры, пронизывающей все творчество Н. Гумилева, является власть. А ролью, в которой воплотился его поэтический талант и которая обеспечивала реализацию честолюбивых желаний быть господином собственной жизни (более того – мира, через сотворение собственных, романти-

³⁰ И. фон Гюнтер. Под восточным ветром // Николай Гумилев в воспоминаниях современников. С.140.

³¹ А. Левинсон. Гумилев // Николай Гумилев в воспоминаниях современников. С.215.

³² Б. Лившиц. Полутораглазый стрелец // Николай Гумилев в воспоминаниях современников. С.168.

чески-экзотических миров) стала главная роль Н. Гумилева – роль Поэта. Она культивировалась Николаем Гумилевым с юношеского возраста. «С отрочества, видимо, развил он свою волю к *самоутверждению*, к игре в *поэта властного*, все по-своему познающего, в *повелительного поэта-чародея*» (выделено мной – Н.А.).³³ Вершиной подобного процесса является обретение власти над жизнью, хотя бы только собственной. Е. Вагин приводит слова Н. Гумилева: «Поэт - всегда господин жизни, творящий из нее, как из драгоценного материала, свой образ и подобие. Если она оказывается страшной, мучительной и печальной, - значит, таковой он ее захотел».³⁴

В качестве манифестации роли Поэта как властелина мира мы рассмотрим драматургические тексты Н. Гумилева. Обоснованием подобного выбора служит, прежде всего, то, что театр - это игра в квадрате, игра-представление, не скрывающая своей иллюзорной природы. Следовательно, и тексты пьес несут в себе повышенный потенциал игровых ситуаций и огромное разнообразие игровых миров. С другой стороны, драматургия Н. Гумилева недостаточно известна широкому кругу читателей. Сценическая судьба его пьес, за небольшим исключением, сложилась не слишком удачно, некоторые из них так и не были поставлены. Все это позволяет рассматривать театр Н. Гумилева как одну из разновидностей «театра для себя», столь распространенных в эпоху русского ренессанса. И даже то, что художественные достоинства некоторых драматургических опытов Н. Гумилева явно уступают его лирическим произведениям, удобно для нас, так как некоторые приемы построения «персонального мифа» Н. Гумилева демонстрируются здесь в максимально прозрачной форме.

Итак, главной сферой, где разворачивается действие пьес Николая Гумилева, становятся отношения между мужчиной и женщиной, взятые в агональном аспекте. Агональность проявляется в том, что мерилем счастья (то есть ставкой, *illusio*, по Бурдые) здесь становится победа над другой стороной. Следовательно, отношения разворачиваются, прежде всего, как поединок, где возможен только один победитель.

Если обобщить типы игроков – мужчин, присутствующих в пьесах Н. Гумилева, мы получим две принципиально отличные позиции игрока-человека и сверхчеловека (это определение мы уточним ниже).

Первый, человеческий («слабый») тип встречается, например, в драматической сцене «Игра» (1913) и в одноактной пьесе «Актеон» (1913). В «Игре» главный герой – граф – сталкивается со старым, но богатым соперником, пытаясь вернуть себе благосклонность девицы легкого поведения Каролины. Место действия – игорный дом, что предполагает расширительное толкование сюжета. Ощувив ситуацию утраты чего-то значительного в реальном мире, герой пытается создать ситуацию игры как точки «возможного будущего», в которой человек способен ощутить себя хозяином своей судьбы, установить свои правила. В пьесе выстраивается синонимичный ряд: жизнь реальная (где возможно торжество случайности) - дуэль (как утверждение законов чести в своей игре и насильственное приведение жизни в соответствие с ними) – карты (как призыв Провидению открыто выразить свою волю). Даже из этого пе-

³³ С. Маковский. Николай Гумилев по личным воспоминаниям // Николай Гумилев в воспоминаниях современников. С.80.

³⁴ Е. Вагин. Поэтическая судьба и миропереживание Николая Гумилева // Н.С.Гумилев: Pro et contra. Личность и творчество Николая Гумилева в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология. СПб., 1995. С.603.

речисления видно, что круг замыкается, и карты становятся тем же самым полем, в котором, как в реальном мире, изначально отражается воля неба. Слабость графа как игрока выражается в том, что, вступив в состязание из-за женщины, не он выбирает (=формирует) внутреннее пространство игры, в которое попадает не по своей доброй воле, а вынужденно (то есть несвободно!) реагируя на действия соперника – роялиста. В «Игре» становится очевидно, что в мире Н. Гумилева ситуация ведомого – всегда проигрышна. Единственным средством «отыграться» для героя становится последняя, предельная возможность сыграть в свою игру, то есть выхватить пистолет и застрелиться, отвергая все услужливо предъявленные роялистом циничные «сценарии» собственной жизни без Каролины, без денег, без мечты, по сути, без будущего, которое и служило подлинной ставкой в их игре. Развязка (самоубийство) связана с влиянием на графа другой женщины – Берты, напоминающей (творящей) иную реальность, куда и уходит, вслед за роковым выстрелом, граф. Восторженный вскрик Берты знаменует момент триумфа графа (победа его над роялистом – а с ним и над роком – кажется почти шулерской). Однако не нужно забывать, что победить таким способом можно лишь один раз, да и то, не насладившись переживанием триумфа.

В пьесе «Актеон» роль женщины и отношение к ней в мире Н. Гумилева видны более отчетливо. Здесь главный герой – Актеон – живет иллюзией своей со-причастности божественному миру природы. Он одухотворяет окружающий мир силой своего поэтического дара и, в мечтах вознесясь на вершину мироздания, оказывается сброшенным на землю, по велению богини Дианы обращаясь в «то, что он есть» – в животное, в оленя. Охота – один из самых жестоких видов игр (так как одна из сторон участвует в ней принудительно) – излюбленное занятие Актеона, оборачивается своей зеркальной изнанкой, когда в роли гонимого, в роли затравленной жертвы оказывается сам герой. Подобная проблематика, касающаяся, в первую очередь, взаимоотношений человека и мира богов, еще не являет нам черты специфически гумилевского видения проблемы сосуществования в мире мужского и женского начал. Диана – женщина-богиня, и хотя ее женское начало нельзя сбрасывать со счетов, все же более всего ее образ соотносится с обожествлением сил природы вообще. Человеческий же уровень «женского» воплощает образ Агавы (в пьесе – жены Эхиона, друга и слуги Кадма, отца Актеона). Агава являет собой воплощенную женскую амбивалентность во всем, некий беспредельный релятивизм. В отличие от жестких убеждений, принципов, наличествующих у мужчин (и более всего – у Кадма), Агава абсолютно беспринципна, ничего святого в ее мире не существует. И это, в драматургическом мире Н. Гумилева, – типично женская черта. Это то, что резко отделяет мужчин от женщин. То, что и составляет величайшую опасность, таящуюся в любой женщине: в богине Диане, в прекрасных нимфах из ее свиты, в Агаве... Именно слова женщины (Агавы) ставят финальную точку пьесы. Свои поиски не вернувшегося с охоты Актеона Агава, наткнувшись на тело юноши, заключает словами: «А сыночек-то в шерсти и с рогами, Хуже самого последнего сатира». Здесь романтическая ирония и «светлая ирония» акмеистов перебивается вечной, все-сильной иронией торжества женщины над мужчиной.

Итак, оказывается, что игроку-человеку невозможно выиграть игру у женщины. Даже в исторической пьесе «Отравленная туника» женщина остается, помимо собственной воли, либо ядом для всех, кто любит ее (царевна Зоя), либо способна вести сложнейшую игру – придворную интригу, в резуль-

тате устранив всех своих соперников (императрица Феодора). Однако в мире Н. Гумилева были и мужчины-победители. Их не могло не быть, ибо таким образом поэт и драматург конструировал и собственный мир (миф), в котором он одерживал победу над женским сердцем. Интенция эта была столь очевидна современникам, что в критических замечаниях, касающихся пьес, упоминание о «гумилизме» героев (то есть их полной неотразимости для женщин) стало почти общим местом.

Рассмотрим, какими качествами должен обладать игрок, чтобы победить столь хитрого и опасного противника, как женщина. Наиболее яркие образы игроков-победителей запечатлены в пьесах Н. Гумилева «Дон Жуан в Египте» (1912) и «Дитя Аллаха» (1917). На наш взгляд, «Дон Жуан» представляет наиболее прозрачные и потому показательные механизмы формирования игрового пространства и выбора стратегии и тактики игры. Обратимся к тексту.

Действие пьесы происходит в 1911 году, в древнем храме на берегу Нила. Перемещая известных литературных героев в современную ему реальность, Н. Гумилев получает возможность выстроить связный фоновый код «современного» сатирического прочтения вечного сюжета. Комедийный, сатирический ключ к пьесе поворачивается дважды. Первый уровень столкновения связан с «измельчанием нравов» современного общества: пределом карьеры Дона Жуана становится статус «адъюнкта в университете», Лепорелло дослужился до декана и профессора, став известнейшим в Европе египтологом; невеста Лепорелло (и новая возлюбленная Жуана) – юная мисс Покэр (!), дочь «миллионера», торговца свиньями в Чикаго. Для тех, кому были известны обстоятельства личной жизни поэта, этот общесатирический ход легко поддавался дальнейшей расшифровке, ибо, сотворив из Дон Жуана свое лирическое «Я», Н. Гумилев вывел под маской мисс Покэр – Анну Ахматову, а Лепорелло – незадачливого соперника героя – наделил чертами К. Шилейко, известного специалиста по культуре Египта.

Однако нас более всего интересует фигура главного героя пьесы, ибо именно в образе Дона Жуана сосредоточены все основные нити игрового поведения, если понимать под таковым прежде всего способность к одновременному пребыванию в двух пространствах: игровом и реальном. Игра Дон Жуана известна: способность его воспринимать любую девушку или женщину как вызов своим мужским чарам оставлена Н. Гумилевым без изменения как стержневое «наследство» вечного образа великого соблазнителя. Таким образом, победа «на любовном фронте» становится главным средством самутверждения и самореализации Дон Жуана (а в данной пьесе – единственным, ибо Лепорелло как соперник не реализует себя).

Основу сюжета составляет история соблазнения Дон Жуаном юной американки, помолвленной к тому времени с солидным профессором (Лепорелло), - история, которая десятки раз повторялась в жизни Дон Жуана. Однако новаторство Н. Гумилева и состоит в том, что он повествует о приключениях великого испанца *после* истории с Донной Анной и Командором, которая знаменовала конец земной жизни «севильского соблазнителя». «Платой» за обретение вечной жизни становится нечеловеческая сущность героя. Дон Жуан возвращается на землю из расщелины, пребывание в аду не сломило его: «Я был в аду, я сатане Смотрел в лицо, и вновь я в мире, И стало только слаще мне, Мои глаза открылись шире». ³⁵ Выдержав взгляд сатаны, Дон Жуан

³⁵ Н.С. Гумилев. Дон Жуан в Египте // Н.С. Гумилев. Драматургические произведения. Переводы. Статьи. Л., 1990. С.49

как бы сравнился с ним могуществом; недаром не он прячется от обитателей преисподней, а «духи ада от меня Бросались в темные проходы». Земля воспринимается им теперь как один из возможных миров; космический масштаб героя подчеркивается обращением: «Привет, земля, любовных мест незабываемое место!» появляется Одновременно с «появлением на свет» героя возникает и тема азартной игры: «Я ставлю три червонца, Что наконец я вижу свет Земного ласкового солнца» (Там же. С.40).

Тема любви (любовной игры) развивается каждым героем: в зависимости от того, как и кто ее понимает. Какого рода любовь несет с собой Дон Жуан? Его первое упоминание о ней (еще до желания «любовных нег») – «Есть лодка, есть и человек, А у него сестра, невеста...» (Там же. С.41) - вносит мотив разрушения установленных уз; собственно, в этом русле и развивается его «роман» с юной американкой. Победа приобретает ценность в глазах Дон Жуана, если она была завоевана в борьбе и привела «противника» к страстно желаемой им капитуляции. Расстояние, которое должна проделать мисс Покэр, прежде чем сдаться на милость победителя, у Н. Гумилева выражено лексически: «Я не хочу! Нет, я хочу! О милый, милый!» (Там же. С.50). Именно в этой сюжетной линии (Дон Жуан – мисс Покэр) «игровое начало» пьесы наиболее важно. Первое, что делает Дон Жуан в разговоре с новой возлюбленной, - устанавливает собственные правила, по которым Он будет вести свою игру. Здесь и далее в пьесах Н. Гумилева будет выигрывать тот, кто окажется способным «заманить» противника на свое «игровое поле». Спор о «номинации» между Жуаном и мисс Покэр можно толковать, на наш взгляд, как момент определения ведущего в игре:

Дон Жуан: - Сеньора!

Мисс Покэр: - Мисс!

Дон Жуан: - Сеньора!

Мисс Покэр: Мисс, Я не желаю быть сеньорой! (Там же. С.50).

Американка сопротивляется, но уступает. Немаловажное значение при этом играет, конечно, сам «образ любви», который рисует Жуан перед ее мысленным взором. В монолог Жуана, обращенный к «единственной во вселенной», Н. Гумилев вкладывает свои самые проникновенные (в этой пьесе) строки о любви: «Победоносная любовь Нас коронует без короны И превращает в пламя кровь И в песню – лепет исступленный. Мой конь – удача из удач, Он белоснежный, величавый, Когда пускается он вскачь, То гул копыт зовется славой» (Там же. С.49). Грандиозная картина, созданная словами и масштабом чувств Жуана, не может не пленить юную леди, сдавшуюся именно после этих строк. Нам важно подчеркнуть, что в грандиозной картине мироздания, проникнутого опьяняющей любовью, Дон Жуан явно возвышается над чисто человеческим уровнем, приближаясь к божественному (и это также способствует скорости его победы). Однако игра Дон Жуана потеряла бы важную составляющую, если бы все сводилось бы только к согласию американки бежать с ним, – это было бы ближе к наваждению, словесному зомбированию, но не к игре. Победа Дон Жуана, даже «на своем поле», была бы невозможна, если бы американка не стала его истинным партнером по игре, пусть и бессознательно. Здесь Дон Жуан действует как типичный агональный коммуникант: он ничего не навязывает «пациенту», целью его является пробуждение в Другом его желаний и потребностей, которые всегда были у него,

но не осознавались им, и связать их удовлетворение со своей деятельностью. До встречи с Жуаном сознание мисс Покэр можно было оценить как спящее, хотя и воспринявшее основные установки социума. Натура Дон Жуана, самим фактом своего присутствия, пробуждает в ней жизнь души, страстность которой она, по-видимому, всегда ощущала. Именно это заставляет ее слушать Жуана, вопреки своим же словам: «Я вам не верю». - «Не говорите так, нет, нет. Ну вот, уж вы и замолчали?» (Там же. С.45, 48). Дон Жуан, несомненно обладающий хтоническими чертами, хотя бы в силу своего возникновения из царства мертвых, и в приближающихся к нему будит дремавшее подсознание. Поэтому и его реплику, обращенную к мисс Покэр: «Сойдемте три ступеньки вниз!» - можно трактовать и в символическом плане как обозначение того «маршрута», который проделает ее личность в течение следующих минут-страниц. Опьяненная новыми чувствами, девушка едва ли слышит финальную реплику сразившего ее монолога: «Дон Жуан (обнимая ее): «Тебя я счастьем научу И над твоей умру могилой» (Там же. С.50). В таком аспекте сюжет пьесы Н. Гумилева обнаруживает больше родства не с маленькой трагедией Пушкина, а с историей Лермонтова о Тамаре и Демоне.

Ограниченные объемом и основной темой статьи, мы опускаем рассмотрение взаимоотношений Дон Жуана и Лепорелло, составляющих единство, формируемое сложным символическим кодом. Именно устами Лепорелло Н. Гумилев озвучивает финальный «вывод» пьесы, утверждая лидерство героя типа Дона Жуана: «И был я счастлив, сыт и пьян, И умирать казалось рано... О, как хотел бы я, декан, Опять служить у ДЖ!» (Там же. С.51).

Таким образом, Дон Жуан является игроком, успешно проведшим свою игру, одержавшим победу на самых разных уровнях (от подсознания юной девушки до ее бегства с ним и финальных сожалений Лепорелло, касающихся службы). Более того, единственный герой, не охваченный стихией игры, носитель обывательского сознания (в безоценочном смысле этого слова) – отец юной леди - мистер Покэр – также признает лидерство Жуана репликой: «Скажите мне, который час на ваших, У меня неверны» (Там же. С. 44) – то есть запускает в пьесе «время дон Жуана» еще до того, как тот выстроит свой игровой мир.

Итак, необходимым условием победы мужчины над женщиной в драматургическом мире Н. Гумилева является нечеловеческая (очевидно, демоническая) природа такого героя. Такой вывод подтверждает и анализ пьесы «Дитя Аллаха», где поэту Гафизу удается стать возлюбленным Пери, губящей всех мужчин земного мира, желающих взять ее в жены. Гафиз становится не просто воплощением силы поэтического слова, но и владельцем ряда волшебных предметов (магического кольца и чудесного единорога), что ставит его в один ряд с фигурами высшего порядка в мироздании – аллахом и демоном зла. Укорененность подобных построений в персональном мифотворчестве Н. Гумилева очевидна, неслучайно он подписывал личные письма именем Гафиз.

Пьесой-экспериментом является для Н. Гумилева драматическая поэма «Гондла», где он пытается отойти от дискурса власти и создать героя, в котором бы принципиально отсутствовало воинское начало. Однако, как бы ни был интересен образ главного героя, он тоже погибает, столкнувшись с женщиной – «оборотнем», соединяющей в себе две ипостаси: «дневную» (Леру) и ночную (Лаик).

Итак, мы попытались проследить, как связаны коммуникативные стратегии, избираемые тем или иным художником, с типами игр, преобладающими в его жизненном и литературном творчестве. Доминантная позиция креатора воплощается в дискурсе власти, который, в свою очередь, предпочитает азартные и жестокие типы игр (азартная игра в карты, дуэль, охота и др.), то есть, в широком понимании, агон (состязание) как таковой. Кроме Н. Гумилева, тот же дискурс преобладал, по-видимому, в творчестве В. Брюсова. Доминирующая референтная позиция связана с дискурсом ответственности, как мы показали на примере миротворчества М. Волошина (близкую ему позицию во многих отношениях занимала М. Цветаева). Ведущим типом игры для художника такого типа можно считать игру типа «илинкс» (опьянение, головокружение). Что касается М. Кузмина, то в его творчестве преобладает позиция реципиента. По своему способу бытия в культуре М. Кузмин близок пушкинскому типу, обращающемуся к самым разным традициям и эпохам, стилизующему и синтезирующему их. Для подобной культурной позиции естественен дискурс свободы, воплощенный в актерском типе игры – представлении.

Три основные коммуникативные позиции, равно как и соответствующие им типы дискурсов и игр, будут по-разному относиться к любым элементам культурного кода, помещенным в коммуникативное пространство культуры. Например, если мы возьмем значимое понятие «тела» и телесности как таковой, то в дискурсе власти тело будет преодолеваться, порабощаться и т.д. (см. связанные с этим жестокие типы игр); в дискурсе свободы телесность окажется неразрывно связанной с душой и духом; это субстанции взаимопроникающие и нерасторжимые в земной жизни (известный «культ мелочей» М. Кузмина); для дискурса ответственности тело окажется лишь вместилищем души и духа (образ Сивиллы в лирике Марины Цветаевой ярко иллюстрирует подобное отношение). Внося в коммуникативное пространство культуры новые понятия либо оппозиции, актуальные для той эпохи, мы получаем огромное количество векторов притяжения и отталкивания, которые порождают к жизни новые сценарии жизненных и литературных игр.

Воскресение слова (функции жанра проповеди в последнем романе Л. Н. Толстого)

Татьяна Волкова

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, МОСКВА

Исследователи романа “Воскресение” уже давно обратили внимание на то, что одна и та же цитата из Евангелия от Матфея повторяется в произведении дважды¹. Это свойство романа, насколько нам известно, до сих пор никто не связал с поэтикой его названия. Между тем, сам принцип цитирования Евангелия в произведении, несомненно, обусловлен авторской концепцией воскресения Христа. Очевидно также, что свое представление о центральном евангельском событии автор облекает в форму проповеди. Первые читатели романа “Воскресение” практически единодушно отмечают его учительную, проповедническую тенденцию²: на фоне проповедей-поучений – неотъемлемой части религиозной жизни русского человека этого времени. Аналогичное представление существует и в научной традиции³. Учительность толстовского слова отмечена, в частности, в работе М. М. Бахтина “Слово в романе”⁴. В

¹ На такую особенность цитирования евангельских текстов в романе обращает внимание, в частности В.Г. Одинокое. См. В.Г. Одинокое. Толстой-художник. Новосибирск, 1967. С.168.

² См., например, весьма показательное замечание в “Миссионерском обозрении”: “Прежде читали Евангелие Иисуса Христа и его клали в основу воспитания и всего уклада жизни, а теперь зачитываются до одурения “евангелием” гр. Толстого!..” (К.Н. Ломунов. Кто же воскресает в романе Толстого? Споры о финале “Воскресения” // К.Н. Ломунов. Над страницами “Воскресения”. М., 1979. С. 322).

³ См., например: Л.Д. Опульская. К творческой истории романов Льва Толстого // Динамическая поэтика. От замысла к воплощению. М., 1991. С.130; Н.Д. Тмарченко. “Монологический” роман Л. Толстого (опыт реконструкции и применения созданной М.М. Бахтиным “модели” жанра) // Проблемы поэтики реализма. Куйбышев, 1984.

⁴ М.М. Бахтин. Слово в романе // М.М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 210.

статье, посвященной уже непосредственно “Воскресению”, ученый повторяет эту мысль. По его мнению, автор в романе Л.Н. Толстого для выражения своей позиции использует “форму проповеди”⁵.

Подчеркнем, что специальный жанровый анализ авторского слова в романе Л.Н. Толстого не входил в задачу М.М. Бахтина. Подобным образом и другие исследователи “Воскресения” ограничиваются указанием на саму проповедническую тенденцию толстовского слова⁶, подтверждая свое наблюдение всего лишь некоторыми (но, безусловно, очень важными) фактами⁷.

Жанр проповеди⁸, в отличие от философско-публицистической статьи и трактата, с которыми также сближали иногда авторское слово у Толстого, рассчитан на публичное произнесение и на немедленную, непосредственную реакцию слушателя. Задача проповеди – изменение поведения человека – обуславливает стилистические и тематические особенности этого жанра. Проповедник всегда рассуждает о человеческих грехах и добродетелях, а потому общим местом самых разных проповедей является перечисление самих грехов и добродетелей⁹. Интересно, что среди пороков древнерусский проповедник особенно выделяет скупость богатых и их жестокое обращение со слугами¹⁰. Среди добродетелей же, конечно, любовь к ближнему и “попечение об убогих, странниках, гонимых и преследуемых людях”¹¹.

В стилистике жанра обращает на себя внимание тенденция к простоте и понятности изложения. Безусловно, существуют и такие образцы проповеди, в которых риторическая задача оказывается более важной, чем собственно прагматическая. Однако, как правило, и древнерусский¹², и средневековый западноевропейский проповедники имели дело с “разными категориями населения”¹³, а потому избегали сложных риторических украшений. Другая стилистическая особенность проповеди является следствием первой. Стремление проповедника быть понятным для каждого слушателя приводило к необходи-

⁵ М.М. Бахтин. “Воскресение” // Толстой Л. Полн. собр. худож. произв. М.-Л., 1930. Т. 13. С. 8.

⁶ Л.Д. Опульская. Указ. соч. С. 130.

⁷ См. анализ художественного времени в эпизоде пасхальной заутрени и финальной сцене романа в указ. работе Н.Д. Тмарченко.

⁸ О жанре проповеди см.: В.И. Набиева. Модель контекста дискурса проповеди // Дискурс. Новосибирск. 1997. № 3-4.

⁹ А. Орлов. Древнерусские поучения с апокрифическим элементом. М., 1907. С. 6.

¹⁰ См., например: А.Х. Гольдберг. Традиция древнерусских поучений в поэтике “Мертвых душ”. Н.В. Гоголь и русская литература XIX века. Л., 1989. С. 48.

¹¹ Н.К. Гудзий. О национальной приуроченности древнерусских церковных поучений // Вопросы русской литературы. Вып. 2 (8). Львов, 1968. С. 14.

¹² “.авторы стремятся сделать свои наставления, предостережения и обличения наиболее убедительными для своего адресата – “всякого христианина” и поэтому разъясняют пользу или вред определенных душевных свойств, “помыслов” не с помощью сложных рассуждений или символических сопоставлений, а с помощью примеров, прямо выхваченных из быта” (В.П. Адрианова-Перетц. К вопросу об изображении “внутреннего человека” // Вопросы изучения русской литературы X-XX веков. М.-Л., 1958. С. 22). О простоте изложения в древнерусских проповедях см. также: И.П. Еремин. Лекции и статьи по истории древнерусской литературы. Л., 1987. С. 65-72.

¹³ А.Я. Гуревич. Культура и общество средневековой Европы глазами современников: (Ехемпла XIII в.). М., 1989. С. 319.

мости пояснять свои мысли рядом примеров¹⁴. Эти примеры проповедник заимствовал как из священных текстов¹⁵, хорошо знакомых слушателям, так и из бытовой жизни паствы¹⁶. Для убеждения слушателей в верности своих слов проповедник иногда использовал и такой вид примера¹⁷: он описывал сцену другой проповеди, оценивая ее как истинную проповедь добра или, наоборот, как проповедь ложную. Сбывающаяся пророческая проповедь должна была наглядно продемонстрировать силу учительного слова и, тем самым, подтвердить право самого говорящего на поучение. Проповедь же ложная была необходима в качестве отрицательного примера, отвращающего слушателей от ложных проповедников. Косвенным образом (по принципу контраста) она так же свидетельствовала о качестве произносимой в данный момент проповеди.

Отмеченные нами черты жанра проповеди оказываются характерными для прямого слова повествователя “Воскресения”. Наиболее ощутимо влияние проповеди в четырех фрагментах повествования романа – в описании весны (глава I), характеристике богослужения в тюремной церкви (глава XL), рассуждениях о людях “дурной профессии” (глава XLIV) и о сложности человеческой природы (глава LIX). Стиль, тематика и ценностная позиция повествователя в перечисленных фрагментах обнаруживают черты, свойственные проповеди-поучению.

Последний роман Л.Н. Толстого, как известно, начинается описанием весны. По единодушному признанию толстоведов, картина весны необходима повествователю для наглядной демонстрации и пояснения собственной “философско-публицистической” мысли¹⁸. Но это и означает связь его слова с одним из нехудожественных “убеждающих” жанров. Этим жанром, как мы покажем ниже, является проповедь.

Пространственная точка зрения повествователя в начале романа характеризуется не просто значительной степенью удаленности от изображенного мира, но и особым положением. Перечисление объектов, доступных для наблюдения повествователя (земля, люди, “всякая пробивающаяся травка”, каменный уголь, нефть, животные, птицы), говорит о том, что наблюдающий взгляд устремлен вертикально вниз. Только при такой точке зрения на “землю” могут быть видимы не конкретные человек, животное, птица, растение, а “несколько сот тысяч людей”, “собравшихся” на “земле”, животные, птицы и деревья вообще.

Пространственная точка зрения повествователя не остается неизменной на протяжении всего фрагмента. Во втором предложении, описывающем наступление весны в природе, повествователь использует другую позицию.

¹⁴ О функциях жанра примера в западноевропейской средневековой проповеди см.: А.Я. Гуревич. Указ. соч.

¹⁵ “Поучения” или “наказания”, “Измарагда” являются морализирующими рассуждениями на какую-то определенную тему, которые иллюстрируются библейскими притчами, рассказами из патериков и Пролога...” (А.Х. Гольдберг. Указ. соч. С. 46).

¹⁶ См. примечание № 13.

¹⁷ А.Я. Гуревич. Указ. соч. С. 71-73.

¹⁸ “В своеобразном философско-риторическом вступлении к роману поставлен вопрос об отношении людей к “этой красоте мира божия, данной для блага всех существ” и “располагающей к миру и согласию”, т.е. о неосознанном отпадении людей от Бога” (Н.Д. Тамарченко. Л.Н. Толстой (1890-е-1900-е годы). С. 52. В печати).

Начало предложения – “солнце грело” – указывает на то, что свое наблюдение за жизнью природы повествователь осуществляет на “земле”, а потому вместо “деревьев” он видит “березы”, “тополи”, “черемуху”, “липы”; вместо “птиц” – “галок, воробьев и голубей”. Однако, как только повествователь обращается снова к миру людей, пространственная дистанция вновь увеличивается. Называние каждого видимого предмета “по имени” и описание его индивидуальных качеств сменяется рассуждением о “людях” (“существах”) вообще.

Подобно пространственной изменяется и временная позиция повествователя. Наступающая весна в первой и последней частях фрагмента – это не переход от зимы к лету, а время, которое, с одной стороны, включено в вечное круговое движение (“весна была весной”), и которое, с другой, в наибольшей степени обнаруживает вечный диссонанс человека с “Божьим миром”. Совсем другая временная точка зрения организует повествование во втором предложении фрагмента. Здесь повествователь отмечает как раз противоположные вневременным индивидуальные проявления наступающей весны. “Клейкие и пахучие листья” черемухи, “лопающиеся почки” липы, жужжащие “мухи” и т.п. детали составляют картину именно этого времени года (весна) и именно этого отрезка весны (наступающая весна).

Особенности пространственно-временной точки зрения повествователя в начале романа, безусловно, связаны со спецификой его ценностной позиции. Однозначно отрицательное отношение к “людям” обуславливает использование дистанцированной точки зрения: именно такая точка зрения позволяет увидеть истинное (отрицательное) значение действий людей. Истинный же смысл мира природы (“мир Божий”) можно уяснить, напротив, только при близком и внимательном его рассмотрении.

Обе пространственно-временные точки зрения повествователя оказываются недоступными самим “людям”. Точка зрения “людей” не может быть ни строго внешней, ни принципиально внутренней, так как цель их жизни – “власть друг над другом” и над окружающим миром – исключает необходимость понимания (друг друга и окружающего мира) и адекватной оценки. Неспособность “людей” занять верную позицию в окружающем их мире, в конечном счете, и осуждается повествователем. Не знание истины обуславливает отрицательное отношение повествователя к “людям”, которым истинное знание недоступно, а само их положение, исключающее необходимость в этом знании. Позиция повествователя в начале романа, как видим, во многом совпадает с позицией проповедника. На традицию поучающего слова указывает, прежде всего, сам факт обличения человеческих действий, причем не как социально отрицательных (точка зрения публициста), а как противоречащих устройству “мира Божьего”. Важно также и то, что повествователь в начале романа использует свойственную учительной литературе точку зрения вечности. Как и проповедник, повествователь романа обнаруживает “общий, вневременный смысл”¹⁹ происходящего на “земле”. Не конкретный человек со своей судьбой интересуется повествователя, а “люди” вообще, не отдельный,

¹⁹ О “настоящем времени богословского обобщения” см.: Д.С. Лихачев. Аспекты “вечности” в проповеднической литературе // Д.С. Лихачев. Историческая поэтика русской литературы. Спб., 1997. С.70-71. В рассматриваемом нами фрагменте “Воскресения” используется грамматическое прошедшее время, однако, художественная функция его совпадает с грамматическим “настоящим богословского обобщения”.

совершенный кем-то, безнравственный поступок, а безнравственное устройство всей жизни “людей”²⁰.

Во втором фрагменте – характеристике тюремного богослужения – позиция повествователя меняется. Тот мир “людей”, за которым повествователь наблюдал со значительной высоты в начале романа, теперь рассматривается им с противоположной точки зрения – участника самого “земного” события (тюремного богослужения). Использование такой позиции позволяет повествователю увидеть то, что в начале романа было недоступно его взгляду. Теперь он может прокомментировать действие каждого человека в отдельности: не “людей” вообще, а священника, дьячка, начальника тюрьмы, надзирателей и арестантов. Две противоположные пространственно-временные точки зрения на мир “людей” используются повествователем с одной и той же целью: для обличения существующих отношений между людьми. В этом смысле начало романа является своеобразным представлением темы, второй же фрагмент (характеристика тюремного богослужения) развивает, уточняет и доказывает заявленный тезис.

В тематическом отношении анализируемый фрагмент вполне соответствует традиции учительной литературы. Грехи и добродетели человека – общая для всех проповедей тематика. Нетрадиционно само решение этой темы повествователем романа. Как и всякий проповедник, повествователь черпает свое представление о должном и не должном в Евангелии, однако, его прочтение Святого писания значительно отличается от общепринятой трактовки. Интерпретация евангельских заповедей традиционным проповедником никогда не расходится с принятым церковью ортодоксальным прочтением, повествователь же романа, напротив, намеренно противопоставляет представление об истине самого Христа официально признанному толкованию священных текстов. Это противопоставление позволяет повествователю выявить причину общего греховного устройства мира человека. Стремление людей “властвовать друг над другом”, как оказывается, узаконено самой церковью, то есть тем самым институтом, который призван сохранять и передавать истину, открытую человеку Христом. Противоречие, очевидное для повествователя, не осознается самими участниками тюремного богослужения. Ни арестанты, ни те, кто “властвует” над ними не замечают абсурдности того положения, которое каждый из них занимает.

Позиция повествователя во втором фрагменте, как видим, несколько отличается от позиции обычного проповедника. В противоположность последнему, повествователь романа не обнаруживает в мире настоящих последователей Христа. Поскольку человек руководствуется в своей жизненной практике не самим Словом Христа, а только неадекватной ему интерпретацией церкви, его действия всегда противоречат настоящему смыслу заповедей. В отличие от обычного проповедника, с другой стороны, повествователь не находит и авторитетного толкования Слова. Существующее официальное понимание представляется повествователю не просто неадекватным, а в корне неверным.

Позиция повествователя, полемизирующего с общепризнанной точкой зрения на истину, может быть соотнесена, очевидно, с установкой первых

²⁰ О специфике предмета проповеди см. также: А. Мень. Ветхозаветные пророки. М., 1991.

проповедников христианства²¹. Подобно первым ученикам Христа, он видит в Слове прямое и непосредственное (но, безусловно, не буквальное) выражение истины. Кроме того, он обличает языческие традиции. “Кошунственным волхвованием” называет он один из основных обрядов христианства – причащение²².

Два первых фрагмента – начало романа и характеристика тюремного богослужения – объединены не только в тематическом, но и в стилистическом отношении. Обратим внимание на особую торжественную интонацию слова повествователя в этих фрагментах, которая создается повторами ключевой фразы (“Как ни старались люди” и “Никому из присутствующих не приходило в голову...”²³) и длинными периодами (в главе XL первое предложение составляет целый абзац).

Использование такой интонации в обоих фрагментах связано, прежде всего, со спецификой заявленной темы. “Высокая” тема – устройство “Божьего мира” и заповеди Христа – должна быть подана в соответствующей ей форме. Торжественная интонация, кроме того, обусловлена и целью высказывания повествователя. Повествователю важно привлечь внимание читателя к неочевидной для последнего проблеме – абсурдности действия “людей”.

Стиль слова повествователя в двух других фрагментах романа изменяется. Торжественный тон повествования, длинные периоды, повторы фраз, полемически апеллирующих к читателю, – все это не характерно для стиля рассуждений о представителях “дурной профессии” и о сложности человеческой природы. Спокойная интонация почти частной беседы определяет лексические и синтаксические особенности этих двух фрагментов. Вместо “высокой” лексики (“мир Божий”, “благо всех существ”, “бессмысленное многоглаголанье и кошунственное волхвование”) здесь используется в основном нейтральная или даже несколько сниженная лексика (“богачи, хвастающие своим богатством”). Вместо длинных сложных предложений – вполне разговорные конструкции. (Так, например, в главе XLIV повествователь задает читателю вопрос, а в главе LIX заканчивает перечисление “свойств” человека типично разговорным “и так далее”).

Изменение стиля повествующего слова в начале глав XLIV и LIX, безусловно, указывает на изменение самой позиции повествователя. В противоположность двум первым фрагментам, в этих фрагментах повествователь не только не противопоставляет себя всем остальным “людям”, но, наоборот, включает себя в их круг.

Смена пространственно-временной и ценностной точек зрения происходит в главе XLIV. В начале рассуждения о представителях “дурной профессии” (“Всякому человеку...”) повествователь занимает объективно-отстраненное положение: он рассуждает о таком свойстве человека, как

²¹ Мы имеем в виду, в первую очередь, послания апостола Павла. Об апостоле Павле как одном из первых проповедников христианства см.: А.С. Жебелев. Апостол Павел и его послания. Пг., 1922.

²² Точка зрения повествователя, обличающего языческий культ, во многом сходна с позицией не только первых проповедников христианства, но и ветхозаветных пророков. Подробный анализ ветхозаветной пророческой литературы см. в указ. работе А. Меня.

²³ Л.Н. Толстой. Полн. собр. соч. в 90 т. Т. 32. М., Л., 1933. С. 3, 137-138. Текст романа далее везде цитируется по этому изданию с указанием страниц в скобках после цитаты.

оправдание избранного им рода деятельности. Однозначно отрицательная оценка, которая сопровождала повествующее слово в двух предыдущих фрагментах, не характерна для начала этого рассуждения. Можно говорить даже о значительной доле сочувствия повествователя к “человеку”, который делает все возможное, чтобы его “деятельность” была признана окружающими как “важная и хорошая”. Если ответственность за ложные действия участников тюремного богослужения повествователь возлагает на самих героев, то в этом случае он видит и другую причину: в “известное положение” человека приводят не только собственные “грехи-ошибки”, но и “судьба”.

Сочувствие повествователя к людям “дурной профессии” проявляется также и в том, что он опровергает сложившееся представление о таких людях. Для повествователя в начале рассуждения важно показать, что те, кто принадлежат к этой “профессии”, и те, кто к ней не относятся, на самом деле нуждаются в одном и том же, в оправдании собственной деятельности: “Всякому человеку, для того чтобы действовать, необходимо считать свою деятельность важною и хорошею” (С.151) (выделено мной — Т.В.).

Объединяя две противоположные группы людей, повествователь, однако, исключает из этого объединения самого себя. Знание того, что один человек похож на другого, недоступное “человеку”, возвышает повествователя, делает его точку зрения объемлющей по отношению к двум противоположным точкам зрения на “дурную профессию”.

Единство точки зрения повествователя во второй части рассуждения – в характеристике другой группы людей – распадается. Здесь повествователь, с одной стороны, отождествляет себя с теми, кто, не по своему социальному положению, а по существу самой деятельности является “вором”, “убийцей”, “шпионом” и “проституткой”; именно поэтому он употребляет местоимение “мы”. С другой стороны, в этой части рассуждения используется и та точка зрения, с которой осуществлялось повествование в начале рассуждения. Такая принципиально внешняя по отношению к “людям” обеих групп позиция позволяет повествователю верно оценить действия “богачей”, “военноначальников” и “властителей” и, кроме того, свои собственные действия. Только внешняя точка зрения дает возможность увидеть в “этом кругу людей” то же “извращение понятия о жизни, о добре и зле, для оправдания своего положения”, что и у людей “дурной профессии”.

Подобным образом и в главе LIX повествующее слово имеет две тенденции. С одной стороны, повествователь утверждает свою принадлежность людям, среди которых “распространено суеверие” о том, что “каждый человек имеет одни свои определенные свойства”. С другой, анализирует это “суеверие” и опровергает его. Отличие организации повествования в этих рассуждениях заключается в распределении двух разных точек зрения. В противоположность рассуждению о представителях “дурной профессии”, в рассуждении о “распространенном суеверии” анализирующая и опровергающая точка зрения “обрамляет” высказывание. В первом предложении рассуждения повествователь описывает само “суеверие”, а в предпоследнем (“Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда другие и бывает часто совсем непохож на себя, оставаясь все между тем одним и самим собою”) (С.194) – опровергает его. Если в начале и заключении рассуждения о “суеверии” повествователь противопоставляет свое мнение о “каждом человеке” собирательному мнению людей, то в основной части, напротив, включает в эту собирательную точку зрения и свою собственную.

Внутренняя по отношению к заблуждающимся людям точка зрения, однако, сопровождается его внешней анализирующей и опровергающей точкой зрения: в одном и том же предложении и даже в самом местоимении “мы” ошутимо присутствие двух разных тенденций слова повествователя.

Итак, во всех четырех фрагментах романа повествователь использует “далевую” точку зрения, отделяющую его в пространственно-временном и ценностном отношении от людей. Эта точка зрения обуславливает такую особенность повествующего слова, как “абстрагирование”: повествователя интересует не конкретный случай, произошедший с конкретным человеком, а общие законы человеческого существования. Дистанция между повествователем и “людьми”, как мы выяснили, не остается неизменной: в каждом следующем фрагменте она уменьшается, так что в рассуждениях о представителях “дурной профессии” и о “суевериях” становится возможным появление другой точки зрения, объединяющей повествователя со всеми людьми. Использование этой, объединяющей, точки зрения не означает, однако, смещение внимания повествователя с закономерностей устройства жизни человека на конкретный случай. Даже местоимение “мы” употреблено здесь в абстрактно-обобщенном значении.

Отмеченные особенности организации повествующего слова указывают на то, что все четыре фрагмента романа представляют собой своеобразное единство. Каждый из четырех фрагментов выполняет в рамках проповеди повествователя свою функцию. Во-первых, каждый последующий фрагмент разъясняет и уточняет тему, заявленную в начале романа: устройство мира “людей”. В первой главе романа повествователь характеризует этот мир как абсолютную противоположность “Божьему миру” природы. В следующем фрагменте он выясняет причину несовершенства человеческого мира (“люди” не только не выполняют заповеди Христа, но и сознательно нарушают их). В рассуждениях же о представителях “дурной профессии” и о “суевериях” рассматривается само устройство жизни “людей”. Стремление “властвовать” оборачивается для человека невозможностью адекватно понять не только другого, такого же, как и он сам, человека, но и самого себя.

Каждый из четырех фрагментов, во-вторых, по-своему участвует в организации диалога повествователя с читателем. В первых двух повествователь открыто осуждает действия “людей”, полемически апеллируя тем самым к читателю. В третьем фрагменте использование “внутренней” точки зрения дает повествователю возможность включить в “круг людей” не только самого себя, но и читателя, а значит, позволяет перевести размышление о далекой, неактуальной для читателя проблеме на вполне понятный ему язык. Наконец, если в рассуждении о представителях “дурной профессии” повествователь стремился продемонстрировать читателю его (читателя) собственные заблуждения, то в рассуждении о “суеверии” он тем же способом (внутренне близкий читателю язык) пытается показать сложность человеческой природы – сосуществование в человеке доброго и злого начал. Очень важно, что свою “речь” повествователь заканчивает именно утверждением сложности человека, а не обличением его “грехов-ошибок”. Светлое начало, которое обнаруживает повествователь в “людях”, а, следовательно, и в самом читателе, является залогом будущего воскресения человека.

Проповедь повествователя, которую составляют, таким образом, рассмотренные четыре фрагмента романа, безусловно, нельзя назвать вполне традиционной. Здесь, например, не соблюдаются требования к композиции

проповеди-поучения: отсутствуют традиционные начало и концовка, где проповедник обращается к пастве с прямыми указаниями²⁴. В отличие от традиционной проповеди, здесь также не содержатся необходимые для этого жанра примеры (причем, не только “из жизни”, но и из Евангелия) и цитаты из авторитетных текстов, в том числе евангельские.

Функцию примера выполняет в романе, прежде всего, сама основная история главных героев. За каждым фрагментом проповеди следует эпизод из истории Нехлюдова и Катюши Масловой, поясняющий мысль повествователя. Причем во всех четырех случаях переход от общего суждения к примеру обозначен одним и тем же способом – разными вариантами слова “так” (С.3, 139, 152, 194). Аналогичную функцию имеют и многочисленные истории второстепенных персонажей, включенные в роман. Наконец, использует повествователь и такой вид примера, как другая проповедь. Подобно традиционному проповеднику, он соотносит свое поучающее слово с другим – Кизеветера, путешествующего англичанина, священника острожной церкви, старика на пароме и Нехлюдова. Во всех пяти случаях слово повествователя противопоставлено другому поучающему слову, однако, каждый раз по-разному.

Первые три проповедника повествователем разоблачаются. Особенно очевидно это в отношении Кизеветера, проповедь которого представляет собой хорошо отрепетированный спектакль. Поучающее слово повествователя и Кизеветера противопоставлены, прежде всего, в стилистическом плане. Проповедь последнего перегружена разного рода риторическими конструкциями (восклицаниями, риторическими вопросами, усиливающими эмоциональное напряжение повторами и т.д.), которые в смысловом отношении не выглядят необходимыми. Поучающему слову повествователя, напротив, не свойственно преобладание орнаментальных элементов над элементами собственно смысловыми. Использование риторических конструкций (повторы) в начале романа и в сцене тюремного богослужения обусловлено общей задачей проповеди: необходимо привлечь внимание читателя к неактуальной для последнего проблеме. В двух других фрагментах повествователь, как мы помним, вообще отказывается от подобного приема.

Две указанные проповеди противопоставлены, кроме того, и в тематическом отношении. Тема одной из них – человеческие грехи и их искупление – вполне традиционна для этого жанра; нетрадиционна ее трактовка английским проповедником. В отличие от канонического проповедника, он никак не поясняет, о каком конкретно грехе идет речь в его проповеди и что необходимо делать человеку для его искупления. Поучающее слово повествователя романа в большей мере соответствует традиции. Если Кизеветер рассматривает саму ситуацию грех-искупление, то повествователь – конкретное проявление этой ситуации. В стремлении людей “властвовать друг над другом” он видит нарушение основной заповеди Христа – о необходимости любви.

Стиль и трактовка темы в проповеди Кизеветера указывают на то, что ему важно установить эмоциональный контакт, довести своего слушателя до состояния экстатического возбуждения. Пребывание человека в таком состоянии, по всей видимости, и понимается проповедником как очищение от грехов. Повествователь же апеллирует не к эмоциям читателя, а к его разуму. Вот почему он, во-первых, отказывается от риторических украшений, а во-

²⁴ О композиции древнерусских поучений и слов см. И.П. Еремин. Указ. соч. С. 67, 75.

вторых, стремится разъяснить читателю свою основную мысль – о власти людей друг над другом – тщательно и подробно.

По-разному используются проповедниками и типичные для жанра проповеди приемы. Так, местоимение “мы” и сравнение выполняют у Кизеветера и повествователя романа совершенно разные функции.

Оба проповедника вводят в свою речь сравнение: первый сравнивает духовное состояние грешника с положением человека, находящегося в горящем доме, второй – “людей” с “реками”. Очевидно, что первое сравнение выполняет в проповеди функцию украшения, поэтому его можно удалить из речи, несколько не изменив ее значения. В слове же повествователя сравнение “людей” с “реками” важно, наоборот, именно в смысловом отношении: оно устанавливает равновесие между началом и концом проповеди. Повествователь сначала обнаруживает разъединение “людей” и “мира Божьего” природы (первый фрагмент), а затем устанавливает их единство (последний фрагмент): “люди как реки”. “Каноничность” сравнения в речи Кизеветера очевидна: при описании положения грешника средневековый проповедник очень часто использовал мотивы огня²⁵ и замкнутого пространства²⁶. Знакомое сравнение, в отличие от нового, вызывает у слушателя ряд устойчивых ассоциаций и направляет его мысль в необходимое строго определенное русло. Повествователю же пассивный читатель, роль которого ограничена непосредственной реакцией на знакомые сигналы, не интересен.

В проповеди Кизеветера формально по своему значению и местоимению “мы”. Объединяя себя и слушателей в одно целое, он в то же время внутренне ощущает свою отдельность от своей аудитории. “Я” “оратора” и “актера” в сознании Кизеветера не совпадает с “мы” грешников. Это несовпадение особенно отчетливо проявляется в реакции английского проповедника на то место проповеди, где речь идет о предстоящих человеку (а значит и ему самому) “вечных мучениях”. Вместо ужаса перед ожидающими всякого грешника страданиями проповедник испытывает чувство “умиления” собственным ораторским мастерством. Совсем иначе использует местоимение “мы” повествователь. Оно появляется, как мы помним, только в двух последних фрагментах и означает не равенство проповедника и воспринимающего его читателя, а равенство одного человека другому. В противоположность Кизеветеру, повествователь романа ощущает себя не только проповедником, но и простым человеком, который, как и любой другой, “носит в себе зачатки всех свойств людских”.

Итак, проповедь Кизеветера выполняет в романе функцию ложного получающего слова. Основным средством убеждения здесь является слово, “разыгранное” проповедником. Об этом, между прочим, говорит и тот факт, что свою речь он произносит на языке, не доступном аудитории. Рыдания и т.п. сильные эмоции, которые во время проповеди испытывают слушатели, безусловно, не могут быть вызваны переводом “молодой худой девушки”. Синхронный перевод, доводящий до сознания слушателя смысл речи английского проповедника, всего лишь дополняет основное впечатление от устроенного им спектакля.

²⁵ Об этом см., например, А.Я. Гуревич. Указ. соч. С.95.

²⁶ См. анализ “анекдота о грешнике, который, находясь на корабле, понял, что разразившаяся на море буря вызвана грузом его грехов” (А.Я. Гуревич. Указ. соч. С.169).

Эта проповедь, как видим, во многом похожа на исполнение шаманского обряда или “волхование”²⁷. Подобно языческому “проповеднику” Кизеветер воздействует на слушателя не значащим, а звучащим словом²⁸: сам звук, интонация и жест приобретают в его речи значение. Это “волхование” и осуждает повествователь. С его точки зрения, Слово Христа о спасении каждого человека может быть передано только словом же, которое, в отличие от “волхования”, апеллирует к сознанию. Другим примером ложной проповеди является учительное слово путешествующего по Сибири англичанина. Оно существенно отличается от речи Кизеветера. Прежде всего, отметим стилистическую простоту, которая обусловлена спецификой аудитории этого проповедника – русские заключенные. Кроме того, обратим внимание и на тематику проповеди. Английский путешественник рассуждает о конкретной ситуации (тюремное заключение) и о конкретном, только что произошедшем случае (драка арестантов). И, наконец, укажем на то, что основным способом убеждения слушателей в данном случае является само слово: проповедник разъясняет арестантам смысл сказанного Христом.

Несмотря на все перечисленные отличия, и эта проповедь показана повествователем как ложная. Развенчанию здесь подвергается, однако, не способ убеждения, а само понимание Слова Христа. Благая весть о возможности спасения человека, о необходимости прощения ближнего и любви к нему понимается английским путешественником односторонне. “Закон Христа” он применяет только к самим заключенным, а не ко всем без исключения людям, в том числе и к тем, кто судит и наказывает. В этом смысле весьма показательно отсутствие в речи этого проповедника местоимения “мы”. Английский путешественник не допускает даже формального, как у Кизеветера, объединения себя со своими слушателями: люди, осужденные обществом, не могут претендовать на равенство самому проповеднику.

Еще один пример ложного поучающего слова — проповедь священника острожной церкви. Она отчетливо выделяется на фоне двух уже рассмотренных. Во-первых, только здесь проповедник отказывается от собственного слова и поучает слушателей посредством другой проповеди: священник читает то место из Евангелия Марка, в котором “сказано было, как Христос, воскресши, ... явился сначала Марии Магдалине ..., и потом одиннадцати ученикам, и как велел им проповедовать Евангелие всей твари” (С.135). Во-вторых, только здесь цитируется, а не интерпретируется Евангелие. В-третьих, в отличие от речей Кизеветера и английского путешественника, перед нами единственная полностью пересказанная повествователем проповедь.

Она представляет собой ряд последовательных включений “чужого” поучающего слова в “свое собственное”. Отправной точкой этого ряда являются последние слова Христа одиннадцати ученикам. Следующее звено цепи – Евангелие от Марка: евангелист, передавая Слово Христа, поучает своих читателей. В свою очередь священник демонстрирует арестантам возможности “поверившего” человека при помощи Евангелия от Марка. Наконец, переска-

²⁷ О способах воздействия шаманов и волхвов на свою аудиторию см.: А. Мень. Доисторические мистики // А. Мень. История религии. Т.2. М., 1991. С.36-51; С.А. Токарев. Шаманизм // С.А. Токарев. Ранние формы религии. М., 1990. С.255-266.

²⁸ Так, А. Мень отмечает, что “в пении сибирских шаманов порой звучат слова не известного никому языка, который непонятен и самому шаману” (А. Мень. Указ. соч. С.46).

зывая от своего лица прочитанный священником фрагмент Евангелия, повествователь выступает в роли учителя, который должен сформировать у читателя романа представление об истинной и ложной проповедях, а следовательно, научить его адекватному пониманию Слова. У каждого из четырех субъектов речи свой взгляд на нее. Для Христа слово – это сама истина, а значит и основное средство убеждения слушателя в необходимости веры. Другое средство – чудо – понимается Христом как атрибут и следствие веры, а не аргумент и причина ее. Оно используется только в тех случаях, когда слово оказывается бессильным. Так, воскресши, Христос не сразу обращается к своим ученикам. Он делает это только после того, как все возможности “чужого” свидетельствующего о воскресении слова (Марии Магдалины и двух учеников) оказываются исчерпанными. На приоритет слова над чудом в ценностной системе Христа указывает, между прочим, и тот факт, что своих учеников он призывает к “проповеди Евангелие всей твари”, а не к творению чудес. Чудо, говорит своим ученикам Христос, будет сопровождать действия “поверившего” человека, однако, ему всегда будет предшествовать вера.

Точка зрения евангелиста Марка отделена от точки зрения Христа незначительной пространственно-временной дистанцией. Для евангелиста проповедь Христа – совсем недавнее прошлое, непосредственно связанное с его настоящей “обычной” жизнью. В отличие от пространственно-временной, ценностная позиция евангелиста в большей степени расходится с точкой зрения Христа. Если Христос доказывает, убеждает и проповедует, то евангелист, наоборот, является тем, к кому непосредственно обращено Слово. То, что сам Христос знает из своего внутреннего опыта, знакомо евангелисту Марку из опыта внешнего – как одному из первых очевидцев воскресения. Разница точек зрения Христа и Марка, таким образом, это разница “звучащего” слова и слова, которое воспринимается и затем записывается. Функция записывания, как известно, всегда связана не только с сохранением, но и с искажением того, что “слышит” воспринимающий.

В противоположность евангелисту, священник острожной церкви находится на значительной пространственно-временной дистанции от проповеди Христа. И само Слово, и проблемы, о которых рассуждает Христос, знакомы священнику не из личного жизненного опыта, как это было в случае с евангелистом, а из книги, а потому там, где евангелист видит непосредственную связь жизни и Слова, священник обнаруживает только связь метафорическую. На метафорическое восприятие Слова священником указывает, в частности, выбор самого фрагмента из Евангелия Марка. Священник, безусловно, ощущает несоответствие ситуаций двух проповедей (своей собственной и проповеди Христа). Он понимает, что обещание Христа, о котором идет речь, не представляет для арестантов никакой ценности: способность изгонять бесов и понимать “новые языки” нисколько не облегчит настоящего положения заключенных. Выбор священника, очевидно, можно объяснить только тем, что обещанные Христом чудесные возможности “поверившего” человека он рассматривает не как реальные, а как метафорические. Точно так же хлеб и вино представляются священнику не самим “Богом”, а только его символом.

Точка зрения повествователя отличается от двух других точек зрения. В противоположность священнику и евангелисту Марку, повествователь романа рассматривает Слово Христа в “исторической” перспективе.

Как мы уже отмечали, позиция евангелиста в отношении учительного слова Христа характеризуется незначительной пространственно-временной

дистанцией. Такая дистанция и определяет во многом специфику восприятия Слова евангелистом. В отличие от священника и повествователя романа, евангелист имеет возможность “видеть” деяния Христа, а значит, имеет и доказательства истинности Благой вести. Отношение священника осторожной церкви к Слову формируется на иной основе. Так же, как и евангелист, священник не обладает опытом внутренней веры. Не обладает он, одновременно с этим, и доказательствами истинности Слова, которые известны евангелисту - очевидцу воскресения. Слово Христа авторитетно для священника не потому, что его правота очевидна и не потому, что опыт духовной жизни свидетельствует об этом, а потому, что другое отношение к Слову оказывается в данном случае абсолютно невозможным. То социальное положение, в котором находится герой, обязывает его к строго определенному, раз и навсегда установленному, пониманию Слова.

Внешне убедительное для евангелиста и авторитарное для священника Слово Христа в кругозоре повествователя становится “внутренне убедительным”. И дело здесь вовсе не в абсолютном совпадении сказанного и воспринятого. Как раз такого, абсолютного, совпадения точек зрения – Христа и повествователя романа – не происходит. Наоборот, повествователь настоятельно подчеркивает (в основном интонационными средствами) неуместность обещаний Христа в современных условиях: так, чудесные способности “пове-рившего” человека оцениваются им как возможности сказочного героя, которым можно удивляться, но которыми нельзя воспользоваться. Чужое слово Христа становится “внутренне убедительным” для повествователя Словом только тогда, когда оно рассматривается им в “исторической” перспективе. “Историческая” точка зрения позволяет обнаружить в Слове как в высказывании неизбежное и даже необходимое противоречие: непреходящий, понятный каждому из собственного опыта духовной жизни, смысл и обусловленное совершенно конкретными историческими условиями, содержание. Соглашаясь с вечным смыслом Слова, повествователь полемизирует не с конкретно-историческим его содержанием, а с той точкой зрения, которая не учитывает условного характера проповеди Христа. Такая точка зрения абсолютизирует все высказывание в целом, лишая его тем самым возможности нормального функционирования. Слово Христа в этом случае превращается в мертвый текст, понимание которого не может быть событийным, так как не требует обнаружения вечного смысла в ходе все время обновляющейся жизни.

Поучительное слово священника осторожной церкви, таким образом, занимает особое положение среди ложных проповедей романа, и не только среди них. Тематически оно выделено повествователем в общей системе образов этого жанра, в которую входит и поучающее слово самого повествователя): как и весь роман в целом, эта речь посвящена проблеме воскресения. Полемизируя с точкой зрения священника по отношению к Слову Христа, повествователь противопоставляет общепринятое представление о физическом воскресении Христа своему собственному пониманию Благой вести. Для того, чтобы подтвердить правоту своего нетрадиционного понимания, повествователь и использует другую группу примеров – истинные проповеди.

Речь старика на пароме – первый пример истинного поучающего слова – во всем противоположна ложным проповедям романа. Прежде всего, отметим, что она произносится на родном и понятном для окружающих языке, а потому вызывает ответную *словесную* реакцию слушателей. Кроме того, она спонтанна: звучит в ответ на вопросы окружающих старика людей (мужиков

и Нехлюдова). И, наконец, отличается эта проповедь и самим подходом к Христу и его Слову. Для всех ложных проповедей романа характерна, как мы помним, внешняя точка зрения по отношению к Слову. И “волхвование” Кизеветера, и отделение себя-проповедника от слушателей-арестантов английским путешественником, и отказ священника острожной церкви от собственного прочтения Евангелия повествователь связывает с этой важнейшей особенностью ложного поучающего слова. Внешняя точка зрения в этом случае так же, как и в случае с оценкой людей “дурной профессии” людьми “другого круга”, не может быть адекватной.

Позиция старика на пароме в отношении Христа абсолютно противоположна. В этом смысле особенно показателен рассказ героя о том, как его “гонят”. Отвечая на вопрос Нехлюдова, старик сравнивает свою жизнь за последние двадцать три года с судьбой Христа. Такое сравнение звучало бы весьма двусмысленно, если бы не прямые свидетельства того, что судьба Христа действительно повторяется в судьбе старика. Два момента подтверждают верность самооценки героя. Во-первых, сцена допроса старика “книжниками и фарисеями”, о которой рассказывает герой. Совершенно очевидно, что эта сцена полностью дублирует допрос Христа “книжниками и фарисеями” и Понтием Пилатом. В отличие от старика, допрашивающие не могут сознательно исполнять роль евангельских персонажей. Они невольно становятся участниками когда-то произошедшей и повторяющейся вновь драмы. Об адекватной самооценке старика на пароме говорит, во-вторых, и сам смысл его проповеди. Этот герой, подобно Христу, проповедует единство и равенство всех людей перед Богом, которое предполагает соблюдение заповедей всеми без исключения людьми. Уравнивая в разговоре с путешественником осужденных и осуждающих перед заповедями Христа, старик поступает так же, как и сам Христос, который указал “книжникам и фарисеям” на то, что они первыми нарушили закон Моисея, а потому не имеют право на осуждение женщины, совершившей прелюбодеяние (Ин.8, ст.7).

Как видим, позиция старика на пароме в отношении к событию воскресения качественно отличается от точки зрения священника острожной церкви. Священник понимает воскресение как возможность преодоления физической смерти. Возрождение Христа для этого героя является гарантом предстоящего каждому обычному человеку воскресения. В противоположность священнику, старик на пароме не связывает событие воскресения с событием физической смерти. Для него воскресение – сугубо духовный и, притом, трехсторонний акт. Воскресение человека – это возрождение в нем Бога и Слова Бога (и о Боге) – Христа и наоборот. Именно с такой точки зрения рассматривает старик на пароме центральное событие своей собственной судьбы. Он не отделяет собственное возрождение к новой жизни (или – выражаясь словами самого старика – осознание присутствия в себе самом “духа едина”) и обретение личного слова от воскресения в своей душе самого Бога и его Слова. Вот почему жизненный путь Христа видится герою не как “далекий”, а как осуществляемый им самим здесь и теперь.

Проповедь Нехлюдова – второй пример истинного поучающего слова – занимает особое место в романе. В качестве финальной она оказывается противопоставленной всем остальным, предшествующим ей, проповедям-примерам и сопоставленной с поучающим словом самого повествователя.

Прежде всего, отметим, что в сцене тюремного богослужения, как и в финале произведения, повествователь изображает читающих героев, причем,

читающих именно Евангелие. Вместе с тем, принципиально важно то, что Нехлюдов и священник острожной церкви обращаются к разным Евангелиям – от Марка и от Матфея. В обоих случаях повествователь оставляет за собой право на комментарий евангельского текста. Но тот факт, что один текст все же “звучит” в романе, а другой, напротив, только пересказывается и комментируется, недвусмысленно указывает на разницу позиции повествователя в двух эпизодах.

Поучающее слово главного героя, в отличие от проповедей Кизеветера, английского путешественника и старика на пароме, предстает не как уже сформированное, а как становящееся на глазах читателя. В этом процессе особое значение имеет, по всей видимости, возможность слышать и оценивать чужое поучающее слово. Нехлюдов, действительно, оказывается слушателем всех “звучащих” в произведении проповедей. В этом смысле можно говорить о неравнозначном влиянии трех встреч главного героя с другими проповедниками. Если первые две встречи (с Кизеветером и стариком на пароме) не оказывают *прямого* воздействия на Нехлюдова, то последняя, напротив, становится для героя решающей. И дело здесь вовсе не в свойствах самой проповеди английского проповедника, а в том, что она “звучит” на фоне другой проповеди – старика на пароме. Необходимость выбора между двумя абсолютно противоположными точками зрения на истину, в конечном счете, и подталкивает Нехлюдова к чтению Евангелия, первоисточника этих точек зрения.

Проповедь главного героя романа противопоставлена трем “звучащим” проповедям и в другом отношении. В отличие от поучающего слова Кизеветера, английского путешественника и старика на пароме, слово Нехлюдова обращено не к слушателю, а к самому себе. Нарушая один из основных принципов жанра, высказывание Нехлюдова, вместе с тем, по самому способу организации дискурса вполне соответствует “канону” истинного поучающего слова. Как мы помним, для ложного слова характерен сугубо формальный диалог проповедника и слушателя: Кизеветер, английский путешественник и священник острожной церкви разыгрывают перед своей аудиторией заранее подготовленный спектакль. В сравнении с ложной, истинная проповедь представляет собой своеобразную импровизацию, звучащую в ответ на вопрос окружающих проповедника людей. И старик на пароме, и сам Христос в Евангелии от Матфея проповедуют не с кафедры; они окружены слушателями, которые задают проповеднику вопросы, непосредственно связанные с их (слушателей) будничной жизнью.

Подобно Слову Христа и поучению старика на пароме, слово Нехлюдова построено как диалог двух людей: обладающего истинным знанием проповедника и вопрошающего слушателя. В этом смысле проповедь главного героя романа несколько не нарушает “канона” истинной проповеди. Не соответствует “канону” здесь не сам способ организации дискурса, а распределение функций проповедника и слушателя. Если в проповеди старика на пароме и Христа эти функции были разделены, то в проповеди Нехлюдова, напротив, сам герой одновременно предстает и как человек, ищущий ответа, и как тот, кто знает верный ответ. Во время чтения Евангелия два голоса постоянно звучат в душе Нехлюдова: “Да неужели только это? – вдруг вскрикнул Нехлюдов, прочтя эти слова. И внутренний голос всего существа его говорил: “Да, только это” (С.441).

Рождение собственного учительного слова Нехлюдова связано с событием неожиданного обретения героем смысла Слова Христа. Наугад открыв

Евангелие, Нехлюдов сначала читает тот фрагмент, в котором Христос говорит о необходимости “умаления”. Язык этого фрагмента и следующих за ним 7-го, 8-го, 9-го и 10-го стихов оказывается для героя абсолютно непонятным. Читая “стихи о соблазнах, о том, что они должны прийти в мир, о наказании посредством геенны огненной, в которую ввергнуты будут люди, и о каких-то ангелах детей, которые видят лицо отца небесного” (С.440), Нехлюдов попадает в положение арестантов, слушающих чтение Евангелия от Марка. Реалии евангельского мира оказываются в той же мере не понятными ему, образованному князю, в какой непонятны они для “людей из народа”.

Точка зрения Нехлюдова изменяется при чтении фрагмента, наиболее связанного с его собственной судьбой. Герой ищет в Евангелии разрешения того же самого вопроса о необходимости прощения, который задает Христу Петр. Читая ответ Христа, Нехлюдов уже не замечает “отталкивающих” “нескладностей” Евангелия. Чужой, непонятный язык отходит на второй план по сравнению с самим смыслом Слова, а потому становится понятным.

Понимание смысла Слова влечет за собой возможность перевода чужого Нехлюдову языка на язык свой собственный. Первый прочитанный героем фрагмент принципиально не мог быть пересказан своими словами; он требовал от Нехлюдова точного воспроизведения чужих, непонятных слов. Второй фрагмент, напротив, легко трансформируется в свое собственное высказывание о преступниках.

Однажды обретенное понимание смысла Слова Христа уже не может быть утрачено Нехлюдовым. Вот почему повторное прочтение героем Евангелия и, в частности, Нагорной проповеди Христа, дает результаты, совершенно другие в сравнении с чтением первого фрагмента и с более ранними по времени прочтениями. Повествователь отмечает, что теперь всегда казавшиеся “отвлеченными” “прекрасные мысли” Нагорной проповеди воспринимаются Нехлюдовым как “простые, ясные и практически исполнимые заповеди”.

Как видим, знание, открывшееся Нехлюдову во время чтения Евангелия, несколько отличается от того, которым обладает старик на пароме. Последнему доступно понимание не только своей собственной судьбы (проповедника Слова), но и судьбы Слова, воскресающего в каждом истинном проповеднике. В отличие от старика, Нехлюдов во время чтения Евангелия постигает только одну сторону истины, а именно смысл Слова. Другая сторона – знание о судьбе Слова – остается за границами кругозора героя.

Поучающее слово Нехлюдова, противопоставленное повест-вователем романа всем остальным проповедям-примерам, введенным в его высказывание, вместе с тем, обнаруживает тенденции, свойственные учительному слову самого повествователя. Об этом говорит более всего та позиция, которую занимает герой в своем поучении по отношению к “людям”.

Позиция Нехлюдова в рассуждении о преступниках во многом сходна с позицией повествователя. Как и первым двум фрагментам проповеди последнего, этому рассуждению свойственна значительная ценностная и пространственно-временная дистанция, отделяющая Нехлюдова от тех, кого он обличает. Знание, которым теперь обладает герой, позволяет ему оценивать действия людей не с точки зрения современности, как это было до момента чтения Евангелия, а с позиции вечности. Вот почему в рассуждении о преступниках речь идет о самом устройстве общества и о “нескольких столетиях” непрерывного преступления. В комментариях к притче о виноградарях позиция Нехлюдова меняется. Подобно повествователю двух последних фрагментов,

Нехлюдов здесь не противопоставляет себя другим (“вы”), а наоборот, объединяет себя со всеми остальными людьми (“мы”). Размышляя о виноградарях, нарушивших наставления своего хозяина, герой обнаруживает сходство их действий с действиями людей, в число которых он включает и себя самого. Несмотря на это, точка зрения Нехлюдова все-таки существенно отличается от “коллективной” точки зрения. В противоположность всем остальным людям, Нехлюдов обладает истинным знанием, а значит, обладает и возможностью адекватной оценки своих поступков. О людях и о себе самом он, подобно повествователю романа, и во втором рассуждении судит не с позиции современности, а с позиции вечности.

Проведенный нами анализ позволяет сделать ряд важных выводов. Во-первых, совершенно очевидно, что примеры, которые использует повествователь в своей проповеди, организованы им в целую систему. В этой системе, во-вторых, существуют две группы примеров – истинные и ложные поучения. Истинное и ложное поучающее слово, в-третьих, вступают в проповеди повествователя в своеобразный спор. Для противопоставления двух типов поучающего слова принципиально важной оказывается последовательность введения или порядок расположения примеров в проповеди. За исключением первого (“проповедь” священника острожной церкви) и последнего (поучение Нехлюдова) примеров, ряд проповедей героев выстроен повествователем таким образом, чтобы каждое ложное поучение опровергалось следующим за ним поучением истинным. Абсолютная симметрия достигается в этом случае благодаря тому, что слово старика на пароме вводится в проповедь повествователя дважды. Сначала слово этого героя косвенно опровергает проповедь Кизеветера (в отличие от него, старик на пароме видит равенство людей не в том, что все греховны, а, напротив, в том, что каждый человек заключает в себе “дух един”), затем старик на пароме вступает в открытый спор с английским путешественником. Третья пара примеров – поучения священника острожной церкви и Нехлюдова – нарушает отмеченную закономерность расположения примеров в проповеди повествователя. Помещая учительное слово Нехлюдова в конце ряда примеров, а не непосредственно за проповедью священника, повествователь следует, однако, вовсе не хронологии. Расположение третьей пары примеров свидетельствует о том, что дискредитация слова священника острожной церкви не может быть осуществлена тем же, что и в других случаях, способом. Не только слово Нехлюдова, но и вся система примеров (то есть все составляющие ряд примеров звенья) необходима для опровержения этой ложной проповеди. Расположение третьей пары примеров, с другой стороны, указывает на то, что и поучение Нехлюдова не может состояться вне зависимости от остальных проповедей. И само становление поучающего слова главного героя, и понимание его читателем романа возможны только в условиях функционирования всей системы примеров в целом. Наконец, в-четвертых, отметим, что, создавая абсолютно симметричную систему примеров, повествователь в то же время намеренно выделяет в ней слово главного героя романа. Для того, чтобы выяснить, какая именно роль предназначена в “Воскресении” поучению Нехлюдова, необходимо обратиться к другой характерной особенности учительного слова повествователя.

При его анализе мы уже обращали внимание на то, что проповедь повествователя не содержит традиционных цитат из Евангелия. Это утверждение теперь требует уточнения. Евангельское Слово, действительно, не используется повествователем непосредственно в проповеди, но оно предваряет

весь роман в целом и, в частности, саму проповедь повествователя²⁹. Вводится евангельский текст в проповедь повествователя и другим способом - в составе примера истинного поучающего слова Нехлюдова.

Слово Христа необходимо повествователю романа, прежде всего, в качестве своеобразного эталона для всех других слов, претендующих на истинность. Характерной особенностью Слова является совмещение двух функций: самого названия истины и проповеди ее. Ни одна из функций не может быть осуществлена Словом в отдельности от другой – свое знание Христос передает только в форме проповеди, и, наоборот, его проповедь всегда оказывается сообщением человеку истинного знания.

Подобное совмещение двух функций присуще и всякому другому истинному слову романа. В финале понимание вечной истины героем и обретение им собственного индивидуального слова оказываются связанными с ситуацией проповеди. Сначала Нехлюдов становится участником проповеди Христа: он внутренне отождествляет себя со слушателями Христа и, прежде всего, с вопрошающим Петром. Открывшееся знание герой затем переводит на свой собственный индивидуальный язык, который оказывается ничем иным, как новой проповедью, обращенной уже к другому непосвященному слушателю³⁰.

Отмеченной ролью – эталона истинного слова – использование евангельского текста в романе не ограничивается. В противном случае никакой необходимости в дублировании одной и той же цитаты не было бы. Дело в том, что Слово показано в романе с двух разных точек зрения. В эпиграфе оно представлено как безусловно авторитетное: именно в этом качестве, в качестве истины, оно и необходимо повествователю. Совсем с другой стороны воспринимается евангельский текст в финале романа. Здесь истинное Слово оказывается значимым не как таковое – само по себе – а как воспринимаемое Нехлюдовым, во-первых, и как “звучащее” в контексте совершенно определенных обстоятельств жизни героя, во-вторых. В противоположность ценностно дистанцированному эпиграфу, Слово Христа, которое читает Нехлюдов, является “близким”: и для самого героя, и для читателя романа. Это уже не авторитарный текст, который истинен, а потому всегда равно далек от каждого человека. Это “внутренне-убедительное” именно для Нехлюдова Слово, ставшее таковым благодаря личному прочтению, то есть благодаря тому, что герой оказался способным соотнести вечный смысл с конкретно-историческим моментом своей собственной жизни³¹.

Две точки зрения на Слово, как видим, указывают в романе на два модуля его существования: не зависимое от воли человека и, в частности воли Нехлюдова, вечное существование и конечная жизнь в самом возрожденном герое. Если в эпиграфе Слово предстает всему человеческому миру и развер-

²⁹ В этом смысле повествователь несколько не нарушает учительной традиции, так как и традиционная средневековая проповедь, как мы уже отмечали, нередко начиналась цитатой из священных текстов.

³⁰ Неважно в данном случае, что этим слушателем является сам Нехлюдов. Анализируя особенности слова Нехлюдова, мы отмечали, что оно построено как диалог двух людей.

³¹ Ср.: «Авторитарный текст» не выпадает из контекста соответствующего эпизода “Воскресения” именно потому, что этот эпизод представляет собою, как свидетельствует специальный анализ отношения в нем героя к чужому слову <...>, превращение “чисто авторитарного слова” во “внутренне убедительное” (Н.Д. Тамарченко. “Монологический” роман Л.Н. Толстого. С.46).

тыванию этого мира в сюжете романа, то в финале произведения оно рождается, становится в мире людей.

Осуществляемое на глазах читателя в конце романа событие возрождения Слова повествователь противопоставляет событию воскресения Христа, о котором читает священник. Этот проповедник рассматривает центральное евангельское событие, во-первых, как событие мистическое, недоступное рациональному толкованию, а во-вторых, как событие, давно произошедшее, которое в настоящий для героя момент времени является принадлежностью текста Священного писания, а не окружающей жизни. Понимая таким образом воскресение Христа, священник лишает возможности возрождения не только себя, но и само Слово. Точно так же, как обычные вино и хлеб не могут превратиться в кровь и тело Бога, не может событие, о котором читает священник, стать событием его собственной судьбы.

В финале романа отношения между читающим героем и евангельским миром построены на принципиально иной основе. Граница, отделяющая реальную жизнь Нехлюдова от изображенной, сначала возникает и здесь: как мы помним, реалии Евангелия и его язык сначала кажутся Нехлюдову непонятными. В отличие от священника и его слушателей, однако, герой преодолевает границу условности, что для него самого оборачивается обретением смысла проповеди Христа, а для Слова – новым рождением или воскресением.

Мистическому воскресению Христа, описанному в Евангелии от Марка, повествователь, таким образом, противопоставляет духовное возрождение Слова в Нехлюдове. Полемизируя с традиционным представлением о событии воскресения, повествователь, очевидно, претендует на роль нового евангелиста. Именно этим стремлением повествователя стать новым свидетелем, а значит и проповедником, Благой вести и можно, по всей видимости, объяснить отсутствие цитат из Евангелия Марка в романе. Только само истинное и вечное Слово Христа обладает здесь правом “звучания”. Комментирующее же слово евангелиста расценивается повествователем как преходящее, равное по степени близости к истине его собственному слову, а потому не цитируется, а пересказывается в произведении.

Мотив творчества в поэзии и прозе К. К. Вагинова

Станислав Сойнов

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Творческое наследие К. Вагинова не так уж и велико: четыре романа и несколько поэтических сборников, при жизни автора издававшиеся очень небольшими тиражами. Тем не менее, в 20-е и 30-е годы К. Вагинов был фигурой весьма заметной в литературной жизни Ленинграда, его творчество привлекало внимание достаточно большого круга читателей и литературоведов, в особенности его близких друзей Л. Пумпянского и М. Бахтина. Впоследствии, когда М. Бахтина попросили рекомендовать для издания в Италии какой-либо русский роман начала XX века, он предложил опубликовать именно роман К. Вагинова "Труды и дни Свистонова". В послевоенные годы произведения К. Вагинова были забыты (это объясняется причинами идеологического характера). Они не переиздавались и хранились либо в архивах, либо в памяти знавших его людей. В последние годы интерес к произведениям К. Вагинова возобновился с новой силой: его произведения переиздаются, началось исследование его поэзии и прозы как в нашей стране, так и за рубежом.

Творчество К. Вагинова исследовано далеко не полностью, пока еще нет больших монографий и теоретических работ, но в то же время такие ученые, как Б. Я. Бухштаб, Т. Л. Никольская, О. В. Шиндина, А. Герасимова, Й. Ван Бак, А. Пурин уже наметили в своих работах ряд основных тем и мотивов, характерных для художественного мира К. Вагинова.

При исследовании мотива творчества в произведениях К. Вагинова важным представляется рассмотрение проблемы поэтического слова и ритма.

Один из героев романа «Козлиная песнь» — Неизвестный поэт - так говорит о словах: «Поэзия — это особое занятие... страшное зрелище и опасное, возьмешь несколько слов, необыкновенно сопоставишь и начнешь над ними ночь сидеть, другую, третью, все над сопоставленными словами думаешь. И замечаешь: протягивается рука смысла из-под одного слова и пожимает руку, появившуюся из-под другого слова, и третье слово руку подает, и поглощает

тебя совершенно новый мир, раскрывающийся за словами»¹. Название одного из прижизненных сборников К. Вагинова «Опыты соединения слов посредством ритма» раскрывает для нас конструктивную модель этого соединения или сопоставления слов в стиховом ряде. Ритм становится той силой, которая, соединяя, организуя слова в стиховом ряде, заставляет их взаимодействовать: «...протягивается рука смысла из-под одного слова и пожимает руку, появившуюся из-под другого слова...»². Ю.Н. Тынянов так пишет об этом взаимодействии: «... стих обнаружился как система сложного взаимодействия, а не соединения; метафорически выражаясь, стих обнаружился как борьба факторов, а не как содружество их»³, и далее «...специфический плюс поэзии лежит именно в области этого взаимодействия, основой которого является конструктивное значение ритма и его деформирующая роль относительно факторов другого ряда.»⁴.

Взаимодействие, возникающее между словами как элементами ряда, синтагмы носит смысловой характер (это видно на примере ранее приведенной цитаты из «Козлиной песни»), то есть слова, подчиняясь конструктивному фактору ритма, определенным образом деформируясь, раскрывают свои смыслы: «Слова должны сочетаться так, чтобы от соседства их возникло сияние и некое волшебство, именуемое очарованием. Для сего не надобно и недопустимо брать слова, означающие один разряд предметов, но необходимо сочетать до сих пор не сочетаемые» («Монастырь Господа нашего Аполлона»)»⁵.

В этом и заключается особый динамизм поэзии как художественной формы, а именно, предельная насыщенность стиха смыслами, прорастание смыслов из взаимодействующих элементов стихотворного ряда (слов). «Будучи внесен в стиховой ряд, любой элемент прозы (в нашем случае слово - С.С.) оборачивается в стихе своей иной стороной, функционально выдвинутой, и этим дает сразу два момента: подчеркнутый момент конструкции - момент стиха - и момент деформации необычного объекта»⁶. Слово предстает как некий сосуд, в котором заключены смыслы, актуализация их возможна лишь в случае внесения слова в ряд однородных элементов - слов, которые заставляют слово «сиять» («чтобы от соседства их возникло сияние»), то есть наполняться смыслом, значением.

Таким образом, область смыслов в линейном ряде стиха перемещается из слова как звуковой оболочки на границу между словами. Как мы уже замечали выше, это происходит в результате взаимодействия слов как элементов стихотворного ряда, взаимодействия, возникшего на основе ритма.

Ритм выступает в стихе как фактор содержательный: «Как всякий элемент поэтической формы, ритм участвует в конструировании содержания. Ритм сопоставляет явления близкие и далекие, сходные и противоположные... Многообразные сопоставления, осуществляемые посредством ритма, дают, в частности, возможность достижения той сжатости, которая является внутрен-

¹ К.К. Вагинов. Козлиная песнь: Романы. М., 1991. С.83.

² Там же. С.83.

³ Ю.Н. Тынянов. Проблема стихотворного языка // Литературный факт. М., 1993. С.33.

⁴ Там же. С.34.

⁵ К.К. Вагинов. Указ. соч. С.485.

⁶ Ю.Н. Тынянов. Указ. соч. С.52.

ним законом поэтического искусства (максимально широкое содержание, выраженное на минимальном словесном пространстве)»⁷.

Следует сразу оговориться о том, какой смысл мы вкладываем в понятие ритма. Стиховой ритм, с точки зрения Е.Г. Эткинда, может быть: тоническим (соотношение между стиховыми строками по количеству ударений), силлабическим (соотношение между стиховыми строками по количеству слогов), синтаксическим (соотношение между стиховыми строками по наличию определенных синтаксических конструкций), строфическим (членение произведения на строфы), каталектическим (соотношение клаузул), интонационным (наличие интонационных конструкций). Как видно из этой классификации, виды стихового ритма весьма разнообразны и метрическая организация стиха (ее часто и называют ритмом) является лишь одним из его видов: «Ритм иногда совпадает с метром, но чаще не совпадает, хотя строится на метрической основе»⁸. Мы придерживаемся концепции ритма Е. Г. Эткинда и вслед за ним считаем, что существует несколько уровней ритмической организации материала.

Кроме того, взаимодействие слов происходит в результате простого соположения их в синтагме, то есть при непосредственном акте употребления. В.М. Солнцев пишет: «В силу принципа линейности расположения единиц языка при функционировании и обусловленного этим принципом линейного развертывания речевой цепи, единицы языка, образующие эту цепь, непосредственно следуют одна за другой, вступая в отношения актуального взаимодействия»⁹. Слова, являясь единицами языка, вступают во взаимодействие в силу принципа линейности и в обычной речи, в прозаическом тексте и т. д. Стихотворная форма актуализирует данное взаимодействие, усиливая его и делая его одним из своих характерных признаков.

Идеи формалистов о конструктивной, деформирующей роли факторов одного ряда относительно факторов другого ряда оказались актуальными и для другой поэтической среды — для заумников. А. Крученых в своей работе «Фактура слова» говорит о том, что существует структура слова или стиха и существует фактура, то есть преобразование составных частей слова или стиха: «Структура слова или стиха — это его составные части (звук, буква, слог и т. д.)... Фактура слова — это расположение этих частей... фактура - это делание слова, конструкция, наложение, накопление, расположение тем или иным образом слогов, букв и слов»¹⁰. Ж.-Ф. Жаккар замечает, что А. Крученых выделяет наряду со множеством фактур, ритмическую фактуру, но актуальным для зауми является прежде всего звуковая и слоговая фактуры, то есть конструирование, построение новых слов за счет разрушения старых. Конструирование словесного материала на фонетическом и слоговом уровнях своей целью имеет такую же смыслоизвлекающую функцию, какую мы отметили у К. Вагинова при конструировании словесного материала на уровне лексем с

⁷ Е.Г. Эткинд. Ритм поэтического произведения как фактор содержания // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974. С.120.

⁸ Е.В. Волкова. Ритм как объект эстетического анализа // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. С.76.

⁹ В.М. Солнцев. Язык как системно-структурное образование. М., 1977. С.267.

¹⁰ А. Крученых. Фактура слова. М., 1923 (цит. по: Ж.-Ф. Жаккар. Даниил Хармс и конец русского авангарда. СПб., 1995. С.19).

помощью ритма: «... воздействуя на внешние структуры языка влиять на его внутреннюю структуру, а именно - на смысл»¹¹.

Заметим еще раз, что слова, согласно концепции К. Вагинова, раскрывают свои смыслы не столько в парадигматическом плане, то есть как носители определенных значений, сколько в плане синтагматическом, в самом процессе внесения их в линейный ряд. Сопоставленные, соединенные ритмом слова только в своем динамическом взаимодействии способны актуализировать смыслы. Безусловно, это объясняется порождающими свойствами контекста — непосредственного акта словоупотребления, при котором слова «обрастают» смыслами, но слово, по К. Вагинову, имеет их в себе изначально, а контекст лишь только актуализирует аккумулярованные в лексеме значения.

В книговрацалищах летят слова.
В словохранилищах блуждаю я.
Вдруг слово запоет как соловей -
Я к лестнице бегу скорей,
И предо мною слово точно коридор,
Как путешествие под бурною луной
Из мрака в свет, со скал береговых
На моря беспредельный перелив.
«Музыка» (1926)

Слово в данном поэтическом тексте предстает бесконечным пространством, которое мы можем интерпретировать как бесконечное пространство смысла, заложенного в слове. Это бесконечное пространство представлено образами лестницы и коридора. Эпитет «беспредельный», использованный по отношению к морю, которое появляется в последней строке, подтверждает наше предположение о бесконечности смыслового пространства слова. Слово и морская стихия оказываются связанными. Эта связь представляется нам весьма содержательной и требующей отдельного рассмотрения.

М. Эпштейн следующим образом объясняет связь поэтической стихии и морской стихии: «... ритм - явление настолько универсальное, что поэтические размеры вполне органично находят себе соответствие в музыке планетных сфер, в гармоническом говоре валов... Стихи и море - две стихии, которые переливаются одна в другую, катя по всему мирозданию упругие волны»¹². Это уподобление морской стихии и поэзии проявляет себя в так называемом поэтическом комплексе моря (по выражению В.Н. Топорова). Поэтический комплекс моря, то есть непосредственно проявляющая себя в стихах «морская ситуация», достаточно традиционен. Широкое развитие данная тематика получила, например, в поэзии русского и зарубежного романтизма. Для романтической традиции, по замечанию В.Н. Топорова, было характерно изображение моря как некоего реального природного объекта, обладающего к тому же свойствами, которые «... легко становятся знаком иных семантических матриц... и «заместителем» других образов - человека, в частности само-

¹¹ Ж.-Ф. Жаккар. Даниил Хармс и конец русского авангарда. С.19.

¹² М.Н. Эпштейн. «Природа, мир, тайник вселенной...»: Система пейзажных образов в русской поэзии. М., 1990. С.13.

го поэта».¹³ В.Н. Топоров называет такого рода ситуацию «традиционным» типом морского комплекса. Как мы увидим ниже, этот тип морского комплекса важен и для творчества К. Вагинова.

В.Н. Топоров выделяет также и «нетрадиционный» комплекс моря, в котором «описывается не собственно море (или, если сказать точнее, описание моря не является в этом случае главной целью, но подчинено существенно иным, более важным задачам), а нечто иное, для чего море служит лишь формой описания («морской» код «неморского» сообщения), своего рода глубинной метафорой. Точнее было бы сказать, что описывается не само море, не только оно, а нечто с морем как зримым ядром связываемое, но неизмеримо более широкое, чем просто море; скорее - «морское» как некая стихия и даже - уже и точнее - принцип этой стихии, присутствующий и в море и вне его, прежде всего в человеке»¹⁴.

«Принцип» морской стихии - постулировал М. Эпштейн — ритмичность. Заметим, что ритм возводится К. Вагиновым в один из основных принципов поэзии. Морская стихия является, по выражению В.Н. Топорова, «своего рода глубинной метафорой»¹⁵ чего - то «более широкого и глубокого», в нашем случае — поэзии.

В стихотворении «Поэзия есть дар в темнице ночи струнной» (1924) К. Вагинов пишет:

Припоминаю лестницу в цвету,
По ней взбирался я со скрипкой многотрудной,
Чтоб волнами и миром управлять.

Становится ясно, что под словом «волны» подразумевается морская стихия, которая выступает «глубинной метафорой» поэзии (собственно, она и является темой данного стихотворения). Объектом авторских интенций является как раз стихия поэтического, наделяемая разного рода содержательными характеристиками, которые станут важными для нас при дальнейшем рассмотрении природы поэтического у К. Вагинова:

Поэзия есть дар в темнице ночи струнной
Пылающий, неожиданный и глухой.

В одном из стихотворений 1923 года речь идет о стихе, шире - поэзии. Это заявлено в первых двух строках:

Крутым быком пересекая стены,
Упал на площадь виноградный стих.

К. Вагинов следующим образом уподобляет стих (поэзию) морской стихии:

И возвышает голос он (стих - С.С.),

¹³ В.Н. Топоров. О «поэтическом» комплексе моря и его психофизиологических основах // В.Н. Топоров. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М., 1995. С.578.

¹⁴ Там же. С.578.

¹⁵ Там же.

И голосом подобен
Набегу волн, сбивающим дома.

Целый ряд поэтических текстов К. Вагинова позволяет говорить об устойчивой «морской» метафоре, встречающейся практически во всех сборниках и циклах поэта (исключением в данном случае является сборник «Путешествие в хаос», где такого рода метафоры не были нами обнаружены)¹⁶.

Выше мы цитировали слова В.Н. Топорова о том, что в «традиционном» типе морского поэтического комплекса море становится «заместителем» других образов - человека, в частности самого поэта.¹⁷ Позволим себе процитировать полностью стихотворение 1930 года:

Хотел он, превращаясь в волны,
Сиреною блеснуть,
На берег пенистый взбегая,
Разбиться и лететь.
Чтобы опять приподнимаясь,
С другой волной соединяясь,
Перегонять и петь,
В высокий сад глядеть.

В этом стихотворении лирический герой изъявляет желание превратиться в волны, то есть слиться с морской стихией. Кроме того, одним из его желаний является желание «петь» для нас важное, потому что оно является синонимом творения, написания стихов¹⁸. В другом стихотворении лирический герой воплощает в себе морскую стихию как пространственный объект:

Темнеет море и плывет корабль
От сердца к горлу сквозь дожди и вьюгу
Но нет пути и пухнут якоря
Горячим сургучом остекленели губы...

Количество текстов, в которых эксплицировано уподобление лирического героя и морской стихии столь велико в поэтическом наследии К. Вагинова, что мы ограничимся лишь отдельными примерами.

Поэт, ты должен быть изменчивым, как море, -
Не заковать его в ущелья гулких скал.
(Ноябрь 1922)

О море, нежный братец человеческий,
Нечеловеческой тоски исполнен я.
(1923)

¹⁶ Так или иначе мотив моря присутствует и в этом сборнике, но на наш взгляд не обладает той значимостью, которую он принимает в позднем творчестве.

¹⁷ В.Н. Топоров. С.578.

¹⁸ Это актуально не только для творчества Вагинова, но и для культуры вообще. Достаточно вспомнить миф о певце-поэте Орфее, являющимся одним из центральных в творчестве Вагинова.

Да, человек подобен океану,
 А мозг его подобен янтарю,
 Что на берегах лежит, а хочет влиться в пламень...
 ... Да, тело - океан, а мозг над головою
 Склонен в зрачки и видит листный сад...
 («Поэма квадратов»)

Таким образом, поэт становится воплощением морской, а точнее, поэтической стихии, тем локусом, в котором поэтическое сосредотачивается и проявляется. В.Н. Топоров пишет о «соотношении сил, которые управляют творчеством... о том, что говорит через поэта, который в таком состоянии ощущает себя только поводом и опорой для чего-то другого, большего, чем он»¹⁹. Это большее и есть поэзия, которая говорит за поэта, выступающего скриптором в первоначальной стадии творения. В романе «Козлиная песнь», возникающий время от времени в ткани повествования образ автора, являющийся одним из полноправных героев романа (на это указывает и О.В. Шиндина²⁰) говорит: «Художнику нечто задано вне языка, но он, раскидывая слова и сопоставляя их, создает, а затем познает свою душу. Таким образом в юности моей, сопоставляя слова, я познал вселенную и целый мир возник для меня в языке и поднялся от языка. И, оказалось, что этот поднявшийся от языка мир совпал удивительным образом с действительностью»²¹.

Морская стихия в понимании поэта - творца становится тождественна поэзии, являясь ее источником²², порождающим началом. Можно предположить, что если морская стихия является «глубинной метафорой» поэзии, то она соответственно становится изоморфна и языку вообще. В.Н. Топоров цитирует слова Б. Пастернака из романа «Доктор Живаго»: «Соотношение сил, управляющих творчеством, как бы становится на голову. Первенство получает не человек и состояние его души, которому он ищет выражения, а язык, которым он хочет его выразить»²³.

К. Вагинов пишет: «целый мир возник для меня в языке и поднялся от языка». Мир, о котором говорит К. Вагинов, есть результат непосредственного акта творения и это указывает на его связь с языком, поэзией и самим творческим актом. Еще одним доказательством того, что мир этот связан с языком, является то, что «возник» он от сопоставления слов. Специфике этого мира будет уделено место ниже, заметим лишь, что он осмысливается поэтом-творцом как сакральная реальность, альтернативная присутствующей здесь и сейчас. Этой альтернативной реальностью является литература, понимаемая с точки зрения ее креативности, то есть реальности, искусственно созданной поэтом-творцом.

Теперь мы подходим вплотную к еще одному аспекту этой проблемы - связи поэзии и поэтического творчества с морской стихией в свете архаичной

¹⁹ В.Н. Топоров. Указ. соч. С.593.

²⁰ О.В. Шиндина. Роман Вагинова «Козлиная песнь» в античной перспективе // Все для студента: Выпуск 2 (лазерный носитель информации).

²¹ К.К. Вагинов. Указ. соч. С.86.

²² Заметим, что одной из основных мифологических аналогий поэзии, является Кастальский ключ и источник Ипокрена, из которых должны были пить поэты, дабы стать таковыми.

²³ В.Н. Топоров. Указ. соч. С.615.

мифологема творения из моря (или океана как первичной субстанции), которая прослеживается практически во всех архаичных техниках мифотворения.

Е.М. Мелетинский, рассматривая различные типы мифов, говорит об их особом типе - мифах о творении из морской стихии как одних из самых распространенных в древнем мире: «Представление о первичности морской стихии, из недр которой возникает и создается земля, имеет в сущности, универсальный характер, и это представление можно найти почти во всех мифологиях мира, начиная с австралийской»²⁴. Мифы о творении из первичного океана Нун были распространены в древнем Египте, в Шумере центральным мифом - творения является миф о происхождении всего живого из Абцу - первоначальной морской бездны.

В.Н. Топоров излагает ряд древнеиндийских мифов двух типов, точнее двух типов версии творения «... из мирового яйца (hiraṇya- garbha-) ведийской и индуистской традиций, плавающего, покачиваясь, на волнах первозданного океана, и из уплотнения водной стихии»²⁵.

Актуальным для нас является не аксиология данного типа мифов, а лишь сам факт наличия такого рода практик в культуре. Сравнение и уподобление поэзии морской стихии, рассмотренное в ракурсе такого рода архаичных мифологических практик, становится для нас значимым с точки зрения присутствия и в поэзии, и в морской стихии элемента творчества, столь важного для К. Вагинова. Лирический герой, имеющий в стихах статус поэта и воплощающийся в морской стихии, уподобляемый ей, становится не просто носителем поэтического, но и его непосредственным творцом, приобретая таким образом статус мифологического культурного героя, творящего миры.

Для того чтобы тот или иной набор слов, записанный поэтом, стал эстетическим фактом, то есть наполнился художественным смыслом, необходимо определенным образом организовать, упорядочить элементы ряда. В одном из стихотворений 1924 года К. Вагинов пишет:

Но забываюсь часто, по-прежнему
Безмысленно хватаю я бумагу -
И в хаосе заметное сгущенье,
И быстрое движенье элементов,
И образы под яростным лучом.

В этом стихотворении появляется мотив хаоса. В хаосе происходит «...заметное сгущенье / И быстрое движенье элементов...» лишь только начинается творческий акт («Безмысленно хватаю я бумагу»). Смысл данного отрывка становится достаточно прозрачным, если рассматривать его в ракурсе представлений о ритме как конструктивной силе упорядочивающей («заметное сгущенье») элементы стиха - лексемы и несущей смыслоизвлекающую функцию.

Данный отрывок приобретает дополнительную значимость, если анализировать его с точки зрения древнейших мифологических практик. Мы постарались показать действующую взаимосвязь между поэзией и морской стихией, которая в стихах К. Вагинова предстает «глубинной метафорой» (Топоров) поэзии и творчества вообще. Е.М. Мелетинский пишет: «Хаос большей частью конкретизируется как мрак или ночь, как пустота или зияю-

²⁴ Е.М. Мелетинский. Поэтика мифа. М., 1976.

²⁵ В.Н. Топоров. Указ. соч. С.584.

шая бездна, как вода или неорганизованное взаимодействие воды и огня... Превращение хаоса в космос оказывается переходом от тьмы к свету, от воды к суше... от бесформенного к оформленному»²⁶.

Мы уже ссылались на представления о первичности морской стихии, которая в мифологических представлениях реализуется как первичный океан, первоначальная бездна и т. д. Таким образом мотив хаоса становится практически равнозначным мотиву морской стихии. Можно сделать вывод, что поэзия, следовательно, уподобляется хаосу, который должен быть организован, упорядочен, стать «оформленным». Поэзия в хаотическом состоянии оформляется, упорядочивается прежде всего ритмом, который организует элементы хаоса (поэзии) - слова.

Поэт предстает как творец - демиург, созидающий космос, другую реальность («Таким образом в юности моей, сопоставляя слова, я познал вселенную и целый мир возник для меня в языке и поднялся от языка»²⁷). Е.М. Мелетинский пишет: «В космогонических мифах развитых мифологических систем упорядочивающая деятельность богов более ясно и полно осознается как преобразование хаоса, то есть состояния неупорядоченности, в организованный космос, что составляет в принципе главнейший внутренний смысл всякой мифологии»²⁸. Поэт предстает в демиургической функции создателя космоса. Именно в силу этого поэт, по К. Вагинову, ощущает магическую силу поэзии, связанную со своими сверхличностными характеристиками.

Искусство по К. Вагинову требует превращения хаоса в космос, то есть упорядочивания, осмысления: «Вы стремитесь к бессмысленному искусству. Искусство требует обратного. Оно требует осмысления бессмыслицы. Человек со всех сторон окружен бессмыслицей. Вы написали некое сочетание слов, бессмысленный набор слов, упорядоченный ритмовкой, вы должны взглянуть, вчувствоваться в этот набор слов; не проскользнуло ли в нем новое сознание мира, новая форма окружающего»²⁹. И еще одно высказывание неизвестного поэта о природе творчества: «Мои стихи... может быть, совсем не стихи. Может быть, они оттого так действуют. Для меня они иносказание, нуждающийся в интерпретации специальный материал»³⁰.

Первоначальная стадия творения — «бессмысленное» выписывание слов творцом. Уже после этого происходит осмысление, интерпретация, упорядочивание написанного. Нас будет сейчас интересовать именно эта первая стадия творения текста, в которой проявляется иррациональная природа творческого акта у К. Вагинова.³¹

В одном из ранее цитированных нами стихотворений К. Вагинов пишет: «Поэзия есть дар в темнице ночи струнной / Пылающий, неожиданный и глухой».

В стихотворении 1922 года есть такие строки: «Я потерял морей небесных пламень, / Я потерял лирическую кровь». В повести «Монастырь Господа нашего Аполлона» К. Вагинов пишет: «Что есть кровь стиха? Ритм его от

²⁶ Е.М. Мелетинский. Указ. соч. С.206.

²⁷ К.К. Вагинов. Указ. соч. С.86.

²⁸ Е.М. Мелетинский. Указ. соч. С.205.

²⁹ К.К. Вагинов. Указ. соч. С.73-74.

³⁰ Там же. С.44.

³¹ Вторую стадию, следуя логике наших рассуждений, назовем «рациональной», так как именно на этой стадии происходит превращение текста в эстетический объект.

начала печали или радости бегущий». Как мы уже говорили выше, ритм является одной из наиболее значимых характеристик поэтического текста. Одной из характеристик становится, таким образом, огонь, «пламень», так как под «лирической кровью», опосредованно, через ритм, подразумевается поэзия. Морская стихия, в свою очередь, является «глубинной» метафорой поэтического. С этой точки зрения большую значимость приобретает следующий отрывок из «Поэмы квадратов»:

Да, человек подобен океану,
А мозг его подобен янтарию,
Что на берегах лежит,
А хочет влиться в пламень...
Да, тело - океан, а мозг над головою
Склонен в зрачки и видит листный сад...

В этом отрывке актуализируется антиномия: мозг/океан, пламень. Выше мы привели ряд примеров, доказывающих то, что «пламенность» — одна из характеристик поэзии. Океан же является неким «символом» поэзии, ее «глубинной метафорой». Мозг, то есть рациональное, организующее начало отъединяется от поэзии («океана»), становится противопоставленным ей. (В стихотворении это представлено в пространственном соотношении: берега и океан).

Поэзия, как и морская стихия, что уже отмечалось, несет в себе хаос, то есть то, что принципиально противоположно какой-либо организованности, упорядоченности. Под словом «мозг» имеется в виду именно это упорядочивающее, разумное начало, мозг «лежит на берегах», то есть не имеет отношения к природе поэтического. Вспомним, что в самом процессе творческого акта, первоначально имеет место лишь беспорядочное, бессмысленное написание слов («Безмысленно хватаю я бумагу»), а уже после этого наступает осмысление, организация хаоса поэтического текста.

В уже приводившемся нами стихотворении «Поэзия есть дар...» мы отметим следующие строки:

Так в юности стремился я к безумью,
Загнал в глухую темь познание мое,
Чтобы цветок поэзии прекрасной
Питался им как пищею родной.

Непременным условием существования поэзии является не столько отсутствие познания, рационального упорядочивания хаоса, сколько наличие у поэта - творца безумия, без которого процесс творчества становится невозможным. Мы уже говорили о том, что бессмысленность, безумие, иррациональность, хаотичность характеризуют первый этап творческого акта — беспорядочное выписывание слов на бумагу, затем наступает следующий этап — организация написанного при помощи ритма, осмысление, организация хаоса, который является внутренним содержанием поэтической стихии. К. Вагинов пишет: «Вот человек ... у которого было в руках безумие и он не обуздал его, не понял его, не поставил служить человечеству»³².

³² К.К. Вагинов. Указ. соч. С.45.

Именно в этом «обуздании безумия» и заключается уже момент рационального, упорядочивающего действия, направленного на осмысление данного поэту безумия. Герой романа «Козлиная песнь» Неизвестный поэт, чувствуя упадок творческих сил и невозможность, что-либо писать, искусственно пытается сойти с ума, то есть вернуть безумие, «чтобы цветок поэзии прекрасной питался им как пищею родной». Попытка Неизвестного поэта завершается неудачей и выглядит как профанация сакральной для творца, по К. Вагинову, категории безумия. Наличие антиномии сакральное / профанное по отношению к безумию как к необходимому условию творения поэтического текста представляется нам закономерным. В романе «Козлиная песнь» Образ автора говорит о безумии: «...он ищет опьянения, не как наслаждения, а как средства познания, как средства ввергнуть себя в то священное безумие (*amabilis insania*), в котором раскрывается мир, доступный только прорицателям (*vates*)»³³. Безумие наделяется содержательной характеристикой «священное», то есть становится сакральной категорией. Опьянение, появляющееся в связи с сакральным безумием, отсылает нас к культу умирающего и воскресающего бога Диониса. Одним из обязательных атрибутов дионисийских шествий, проводившихся в рамках праздников урожая, в частности, во время сбора винограда в Древней Греции было опьянение, воспринимавшееся как сакральное, посредством которого адепты приобщались к своему божеству — Дионису.

О.В. Шиндина так пишет об отражении дионисийского культа у К. Вагинова: «Разнообразно представленная в "Козлиной песни" дионисийская тема обусловила исключительную насыщенность романа описаниями необычных, ненормативных психических состояний, "восходящими", вероятно, к экстатическому характеру культа Диониса, насылающего на человека священное безумие, лишаящего его памяти. Сказанное, в частности, относится к стремлению НП к сумасшествию, понимаемому как обязательное условие художественного постижения мира»³⁴.

Священное безумие и опьянение — есть погружение в иррациональное, неупорядоченное, есть погружение в хаос (Вспомним один из первых сборников К. Вагинова «Путешествие в хаос»). «В этом священном хмеле и оргийном самозабвении мы различаем состояние блаженного до муки переполнения, ощущение чудесного могущества и преизбытка силы, сознание безличной и безвольной стихийности, ужас и восторг потери себя в хаосе»³⁵.

В. Иванов говорит в этом отрывке об ощущениях человека, причастного мистериальным таинствам культа Диониса. Важно то, что адепт ощущает стихийность, хаос как доминанту своего мировосприятия, в то же время чувствуя собственное могущество и силу. Сходным образом и поэт - творец является, по нашему мнению, в первоначальной стадии творения безличным субъектом, вмещающим в себя хаос, эксплицированный в образе морской стихии, которая в свою очередь есть метафора поэтической стихии, а шире - языка.

Главная антиномия космос / хаос, включающая в себя следующие пары признаков: упорядоченное/ неупорядоченное, разумное / безумное проявляется в своем новом аспекте, если рассмотреть ее в контексте противопоставле-

³³ Там же. С.25.

³⁴ О.В. Шиндина. Указ. соч.

³⁵ В.И. Иванов. Ницше и Дионис // В.И. Иванов. Родное и вселенское. М., 1994. С.29.

ния Дионис/Аполлон. В. Иванов в своей работе³⁶ излагает миф об Эврипиле. Во время захвата Трои Эврипилу, фессалийскому царю, достался ковчег, в котором находился идол Диониса, увидев изображение бога, царь становится одержимым и за излечением отправляется к Аполлонову треножнику. Там Эврипил получает ряд указаний, следуя которым он исцеляется от своего недуга и, учредив почитание Диониса, умирает.

Таков миф. Наиболее значимым для нас является то, что Эврипил обращается за исцелением от одержимости к Аполлону, который манифестируется как бог, принципиально отрицающий безумие и следовательно могущий излечить от него. В. Иванов замечает о чертах культа Аполлона: «...оформливающие, скрепляющие и центростремительные»³⁷. Становится ясно, что антиномия Аполлон / Дионис с ранее описанными нами антиномиями упорядоченное / неупорядоченное, разумное / безумное соотносится как центральная и периферийные. Аполлон становится олицетворением разумного, упорядочивающего начала в культуре, противопоставление его Дионису в этом аспекте укладывается в рамки антиномии космос / хаос.

Выше мы разделяли творческий акт на две стадии: первая - безумная, «безмысленная», иррациональная; вторая - упорядочивающая, разумная. Первую стадию творческого акта можно соотнести со стихией хаоса, который должен, упорядочиваясь творцом, осмысливаясь, превратиться в космос на второй стадии творения. Исходя из вышеизложенного, назовем первую стадию творческого акта - дионисийской, вторую - аполлонической. Следует заметить, что две эти стадии ни в коем случае ни вступают в противоречие друг с другом, они лишь две ступени одного процесса, необходимые, взаимодополняющие и не могущие существовать одна без другой. К. Вагинов пишет: «Оно (искусство) требует осмысления бессмыслицы»³⁸, то есть искусство является осмысленной бессмыслицей. Поэтому творческий акт состоит из описанных нами двух стадий, которые находятся в отношениях противопоставления, но не могут существовать раздельно. Именно в нераздельности и неслиянности двух стадий творческого акта и заключается особенность поэтического творчества, искусства.

Позволим себе еще раз обратиться к ранее цитированному отрывку из романа «Козлиная песнь»: «Здесь нельзя говорить о сродстве поэзии с опьянением, они ничего не поймут, если я стану говорить о необходимости заново образовать мир словом, о нисхождении во ад бессмыслицы, во ад диких и шумов, и визгов, для нахождения новой мелодии мира. Они не поймут, что поэт должен быть во что бы то ни стало Орфеем и спуститься во ад, хотя бы искусственный, зачаровать его и вернуться с Эвридикой — искусством... Неразумны те, кто думает, что без нисхождения во ад возможно искусство. Средство изолировать себя и спуститься во ад: алкоголь, любовь, сумасшествие...»³⁹ Таким образом, опьянение (алкоголь) и сумасшествие являются не только атрибутами культа Диониса, весьма значимого для К. Вагинова, но еще и способом спуститься в ад. Миф об Орфее и Эвридике становится мифом о поэте - творце, достигающем искусства, поэзии. К. Вагинов называет ад — «адом бессмыслицы». Вспомним, что на первой, дионисийской, стадии творения поэт погружается в хаос, бессмысленное, иррациональное, безум-

³⁶ Там же.

³⁷ Там же. С.28.

³⁸ К.К. Вагинов. Указ. соч. С.73.

³⁹ Там же. С. 80.

ное, создавая из него осмысленную бессмыслицу, то есть поэзию, искусство. Ад становится воплощением хаоса, который нужно преобразовать в поэзию. Воплощением хаоса является и морская стихия (этот вопрос мы рассматривали в первой главе), которая в некоторых древнейших мифологиях рассматривалась как первоначальная бездна, первоокеан. Морская стихия и ад коррелируются на основании того, что они являются метафорами поэтического в творчестве К. Вагинова.

Миф об Орфее и Эвридике становится своеобразной метафорой творения, мифологемой, в которой проявляются обе стадии творческого акта: хаотическая и рациональная.

И обожгло: ужели Эвридикой
Искусство стало, чтоб являться нам
Рассеянному поколению Орфеев,
Живущему лишь по ночам.
(1926)

К. Вагинов актуализирует универсальность мифа об Орфее и Эвридике: любой поэт — творец является Орфеем, спускающимся в ад поэтического за Эвридикой — искусством. Еще одним доказательством того, что ад, в который спускается поэт - творец воплощает в себе хаос поэтического и соотносится с дионисийской стадией творения является следующее стихотворение К. Вагинова:

Я видел образ женщины, она
С лицом, как виноград, полупрозрачным,
Росла со мной и пела и цвела.
Я уменьшал себя и отправлял свой образ
На встречу с ней в глубокой тишине...
Как листья скорчились и сжались мифы.
Идололатрией в последний раз звеня,
На брег один, без Эвридики,
Сквозь Ахеронт пронесся я.
(1926)

Безусловно, речь здесь идет о встрече Орфея (в данном случае это сам лирический герой) и Эвридики. Сравнение лица Эвридики с виноградом не выглядит случайным поэтическим образом, хотя бы потому, что утверждает связь данной ситуации (спуска в ад) с дионисийским началом в поэзии К. Вагинова. Виноград является неизменным атрибутом дионисийских шествий, которые, проводились в канун сбора винограда. Опьянение, как известно, достигается с помощью вина, которое производится из винограда. Следовательно, дионисийское начало проявляется здесь еще и в связи с опьянением, как обязательным атрибутом культа Диониса и с опьянением как средством спуска в ад.

На основании вышеизложенного можно утверждать, что миф об Орфее и Эвридике становится одним из центральных в творчестве Вагинова. Для нас важным является и то, что Орфей спускается за Эвридикой в ад.

Ад, в который спускается поэт - Орфей за искусством-Эвридикой — ад поэтического, тот хаос, из которого поэт путем осмысления создает искусство. Ад поэтического и есть в некотором смысле литература.

В романе «Труды и дни Свистонова» главный герой, писатель Андрей Свистонов говорит: «Я потом перенесу их (людей) в другой мир, более реальный и долговечный, чем эта минутная жизнь... Искусство — это извлечение людей из одного мира и вовлечение их в другую сферу. Немного в мире настоящих ловцов душ... у них... нет ни рожек, ни копытец... любят они одно только искусство. Это (литература) — борьба за население другого мира... Литература по-настоящему и есть загробное существование. Вообразите... некую поэтическую тень, которая ведет живых людей в могилку. Род некоего Вергилия...»⁴⁰.

Литература становится воплощением мира иного, другой реальности. А. Пурин замечает: «Культура и есть элизиум, а искусство в некотором смысле — Бог, так как обещает бессмертие»⁴¹. Поэт-творец выступает проводником душ в иную реальность — литературу. Достигается это при помощи перенесения живых людей в произведения литературы. Один из героев романа «Труды и дни Свистонова», Иван Иванович Куку, был описан Свистоновым в его новом романе: «Иван Иванович спустился в настоящий ад. Образ Кукуреку стоял перед ним во всей своей нелепости и глупости... Иван Иванович почувствовал самое ужасное, что, собственно, он стал получеловеком, что все, что было в нем, у него похищено... Совершив духовное убийство, Свистонов был спокоен»⁴².

Еще одним примером (даже, скорее, описанием способа) перенесения людей в литературную реальность и извлечения их души является стихотворение 1928 г. «Слова из пепла слепок»:

Слова из пепла слепок,
Стою я у пруда,
Ко мне идет нагая
Вся молодость моя.
Фальшивенький веночек
Надвинула на лоб.
Невинненький дружочек
Передо мной встает.
Он боязлив и страшен,
Мертва его душа,
Невинными словами
Она извлечена.
Он молит, умоляет,
Чтоб душу я вернул —
Я молод был, спокоен,
Души я не вернул.
Любил я слово к слову
Нежданно приставлять,
Гадать, что это значит,
И снова расставлять...

⁴⁰ Там же. С.183-184.

⁴¹ А. Пурин. Опыты Константина Вагинова // Новый мир. 1993. №8.

⁴² К.К. Вагинов. Указ. соч. С.218-219.

Поэт-творец наделяется магической способностью при помощи слов извлекать душу человека и переносить ее в мир литературы. Логичным будет предположить, что столь специфическую способность поэта - творца обуславливает не столько само слово, сколько сопоставление слов (Любил я слово к слову / Нежданно приставлять...). Слова, соединяясь посредством ритма, дают магическую силу, К. Вагинов называет ее «очарованием»: «Слова должны сочетаться так, чтобы от соседства их возникало сияние и некое волшебство, именуемое очарованием»⁴³.

Литература и слово как непосредственный материал литературы соотносятся еще и в том плане, что литература является миром иным, а создается он как раз при помощи сопоставления слов: «Таким образом в юности моей, сопоставляя слова, я познал вселенную и целый мир возник для меня в языке и поднялся от языка»⁴⁴. Мир, о котором идет речь в этом отрывке — поэзия, искусство, литература. Мир, созданный сопоставлением слов.

⁴³ Там же. С.485.

⁴⁴ Там же. С.86.

Циклизация как коммуникативная стратегия в современной культуре

Леонид Яницкий

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

В данной работе мы исходим из предпосылки, что объединение произведений в ряды, последовательности, группы, серии, ансамбли было характерно для искусства изначально или, другими словами, всегда являлось органичной чертой существования искусства. С нашей точки зрения, у феномена циклизации нет ни временных, ни культурных рамок, он присущ всем историческим эпохам в развитии литературы и всем национальным культурам. Скульптурная группа, музыкальный альбом, подборка стихов, выставка картин – все это явления одного ряда, хотя и с разным организующим субъектом (автор, редактор, читатель/интерпретатор).

Необходимо сделать в этой связи оговорку, что само понятие «цикл» обладает зачастую разным содержанием в различных национальных литературоведческих традициях. Даже сами термины, используемые для обозначения этого понятия, различны в разных языках: немецкий *Zyklus*, английские *sequence* и *cycle*, французские *ensemble* и *serie*, греческий *κύκλος* отражают разное понимание и истолкование данного явления.

Например, два таких термина как «цикл» и «последовательность» - *sequence* - отражают два аспекта рассматриваемого понятия. Цикл, по самому значению этого слова в языке, подразумевает цикличность и может больше подходить для форм с выраженной циклической структурой, таких, например, как «венки сонетов». Со своей стороны, «последовательность» выражает в большей степени идею последовательности стихотворений как линейной структуры. Как нам кажется, данное терминологическое различие говорит об определенной разнице подходов к пониманию лирического цикла как явления. Если для отечественной литературоведческой традиции более свойственно понимание цикла как некоего замкнутого и устойчивого образования, то западные исследователи часто видят в цикле лишь простую последователь-

ность, своего рода формальный прием, не нуждающийся в установлении концептуальных связей между стихотворениями.

Хотя, как мы предположили, циклизация всегда была характерна для искусства, в то же время есть периоды времени и разновидности искусства, когда цикл приобретает наибольшее распространение. Во-первых, циклизация наиболее характерна для лирики¹, а во-вторых, для эпохи неклассической художественности, нетрадиционной литературы, в целом для художественного творчества XX в.

Попробуем ответить на вопрос о причине широкого распространения этого явления в литературе и, шире, в культуре XX в. Как нам кажется, причин может быть несколько. Попытаемся их идентифицировать:

1. Компенсаторная функция цикла. Когда разрушаются традиционные формы целостности, цикл как бы удерживает художественные произведения от распада и энтропии, выполняет объединяющую функцию, связывая воедино различные произведения. Так развивается цикличность художественного мышления, когда автор задумывает и создает свое произведение в рамках более широкого контекста из нескольких произведений.

2. Архетипическая функция цикла. В периоды кризисов, когда ставятся под сомнение устоявшиеся представления о произведении искусства, реализуется процесс возвращения искусства к первоосновам, к глубинным проявлениям человеческой культуры, мифам и архетипам. Цикл связан с архетипами колеса, змеи, кусающей свой хвост, спирали, цепи, круга, кольца, яйца, шара, сферы, общее значение которых может быть сведено к нескольким основным смысловым пластам: 1) единство, нераздельность, целостность; 2) вечная повторяемость и круговой характер всего сущего; 3) происхождение всего сущего из единого источника, от одной первоосновы и возможное возвращение всего сущего к той же первооснове в конечном итоге; 4) идея нераздельности-неслиянности множественных явлений, континуального коммуникативного процесса как формы существования многочленных феноменов; 5) идея круга в интерпретации или герменевтического круга; 6) идея диалектического развития – триада Гегеля «тезис-антитезис-синтез». На основе этих архетипов развиваются мифы, как архаические, так и современные: колесо Фортуны, циклическое развитие мироздания во многих мифологиях, колесо сансары, мировое яйцо, круг мифов, связанных с умирающим и воскресающим божеством, мифологическое значение кольца, перстня как знака власти (в том числе и в современной мифологии, где образ «нового русского» неизбежно наделяется такими атрибутами, как цепи и кольца/перстни, смысл которых восходит именно к магическому циклическому знаку власти и силы, заложенному в этих реалиях), хрустальная сфера, в которую заключена Земля, «Властелин колец» Толкина. Цикл потому так и устойчив как композиционная форма, что зиждется на этих первоосновных архетипах и мифах, которые складываются в мифотектонику цикла, а иногда преломляются в мотивы на содержательном уровне цикла. Так современное циклическое художественное мышление охотно возвращается к мифологическим образам в поисках новой целостности в наиболее архаических мифологических образах. В этом заключается мифологический фон цикла.

¹ Причины данного явления подробно описываются в работах М.Н. Дарвина. См., например: М.Н. Дарвин. Проблема цикла в изучении лирики. Кемерово, 1983. С.15-18; М.Н. Дарвин. Художественная циклизация лирических произведений. Кемерово, 1997. С.7-8.

Попробуем проиллюстрировать несколькими примерами высказанное предположение относительно того, что в стихотворных циклах часто могут проследиваться мотивы, обладающие круговой динамикой.

«Четыре квартета» Т.С. Элиота (1943)² представляют собой интересный образец лирического цикла, характеризующийся высокими художественными достоинствами. В композиции цикла заложен принцип четверичности: он состоит из четырех частей, кроме того, слово «квартет», вынесенное в заглавие, несет в себе ту же идею четырехчастности. В цикле пересекаются различные культурные традиции. С одной стороны, он ориентирован на музыкальные образцы и построен как подражание произведениям Бетховена. С другой стороны, идея четверичности, формирующая композиционное построение цикла Элиота, на наш взгляд, восходит к значению числа «четыре» в культуре коренных обитателей Америки, для которых оно виделось как способ осмысления миропорядка (четыре стороны света, четыре стихии, четыре периода суток и др.). Части «Четырех квартетов», в свою очередь, делятся на меньшие разделы. Все части цикла связаны мотивом вечности и повторяемости:

Настоящее и прошедшее
Возможно оба присутствуют в будущем,
А будущее содержится в прошедшем.
В моем начале - мой конец.
Один за другим
Поднимаются и рушатся дома, перестраиваются,
Сносятся, восстанавливаются, или на их месте
Открытое поле, или завод, или дорога.
То, что мы называем началом, - это часто конец,
И закончить - значит начать.
Мы начинаем с конца...
(Здесь и далее перевод стихов мой - Л.Я.)

Философская идея круга, выраженная в этих строках, на уровне формы художественного произведения реализуется как цикл стихотворений. Таким образом, структура «Четырех квартетов» связана с выражаемыми в них авторскими идеями. Это является хорошим примером того, как лирический цикл распространяется в литературе двадцатого века для воплощения представлений о повторяемости, взаимозависимости и взаимосвязанности мироздания на формальном уровне.

Еще один цикл, интересный для рассмотрения в связи с нашей проблемой, - это «Осенние авроры» Уоллеса Стивенса³. Данный цикл состоит из десяти частей равной длины (двадцать четыре строки каждая), разделенных на трехстишия. Такая структура цикла Стивенса позволяет провести параллель между «Осенними аврами» и сонетными циклами эпохи Ренессанса, а также такой устойчивой поэтической формой как венок сонетов.

В первом стихотворении цикла создается образ гигантской змеи, ключевой для понимания сложной образности «Осенних аврор»:

² T.S. Elliot. *Four Quartets*. London, 1970.

³ W. Stevens. *The palm at the end of the Mind: Selected poems and a play*. New York, 1972.

Вот где живет змея, бестелесная.
Ее голова - воздух.
Ночью ее глаза открываются и смотрят на нас.

Вот где живет змея.
Вот ее гнездо.
Эти поля, эти холмы, эти пространства.
И сосны над и вдоль и рядом с морем.

Как уже указывалось ранее, образ змеи в мифологии тесно связан с важными образами круга и кольца, которые лежат в основе архитектоники цикла как художественной формы. Таким образом, на первом уровне символики образ змеи выступает как символ самого цикла Стивенса. С другой стороны, змея символизирует космос, мироздание в целом, которое, таким образом, также строится как круг, цикл.

Если мы попытаемся включить в сферу анализа факты других литератур и эпох, то удачным и уместным представляется использование метафоры круга в работе М.Н. Дарвина о русском лирическом цикле. Как пишет исследователь, в русской анакреонтической лирике был распространен сборник стихотворений, строящийся по принципу венка: «Образ венка был не только составной частью поэтического сборника, но и глубоко внедрялся в его художественную структуру, способствуя его внешней и внутренней завершенности и закругленности»⁴.

С нашей точки зрения можно говорить о динамике указанных мотивов в их историческом развитии. В двадцатом веке формируется новая целостность лирического цикла, когда на смену центробежным приходят центростремительные тенденции в построении циклической формы, на смену одноцентричности - многоцентричность, на смену логичности - ассоциативность. В связи с этим по-новому осмысливается ряд мотивов, включающих образ круга. Зачастую меняется эмоционально-смысловая окрашенность образа круга, он мыслится как «безысходно-мучительный», если мы воспользуемся цитатой из И.Ф. Анненского, или бессмысленный. В этом смысле важную роль играет распространенный в некоторых современных лирических циклах образ змеи, возвращающий к мифологическому образу круга как символа вечной повторяемости в поисках нового основания художественной целостности. Что касается традиционных лирических циклов, то для них важное значение имеет мотив венка, воплощающий идею гармонической эстетической взаимосвязанности и завершенности.

3. Наконец, еще одна причина широкой распространенности циклизации в современном искусстве заключается в том, что цикл представляет собой коммуникативное или, можно сказать, гиперкоммуникативное событие, в котором сообщаются в полилоге, с одной стороны, части между собой, а, с другой стороны, - части и целое. Будучи композиционной и дискурсивной суперструктурой, цикл становится осуществлением процессов диалога и коммуникации на уровне композиции и архитектоники художественного произведения. Следует отметить, что цикл может реализоваться как коммуникативное событие при совпадении читательского рецептивного и авторского интенционального векторов, а для такого совпадения существенное значение имеет

⁴ М.Н. Дарвин М.Н. Русский лирический цикл. Проблемы истории и теории. Красноярск, 1988. С. 26.

фон верований или допредикативная очевидность циклического характера или природы современной художественной культуры. Цикл представляется нам динамическим эстетическим феноменом, поскольку читательское сознание актуализирует в нем все новые циклообразующие связи и скрепы, но восприятие цикла как художественной суперструктуры происходит в читательском сознании только при наличии читательской цикловоспринимающей готовности, а такая готовность активизируется в современную эпоху, когда цикл становится доминирующей формой художественного выражения. Иными словами, готовность к циклообразованию постоянно заложена в природе художественности литературного произведения, а цикл становится своего рода реализацией этой готовности и потенции, ее энтелехией, которая возможна лишь при определенных условиях.

Таким образом, широкое распространение циклизации в современную эпоху связано с тем, что цикл становится наиболее адекватной формой бытия литературного произведения, композиционной формой, в наибольшей степени соответствующей глубинным процессам, протекающим в природе искусства в двадцатом веке, и моделью реализации этих процессов.

Специфика массовой культуры в России и методология педагогической науки

Илья Кузнецов

НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Последнее десятилетие в России ознаменовалось возвратом к отечественной религиозной философии конца XIX - начала XX вв. как перспективной методологической составляющей новейшей научной мысли. При этом философия, естественно, мыслится как основа общей методологии знания, в том числе и педагогической науки. Педагогика предстает религиозно ориентированной дисциплиной, имеющей в своей целевой перспективе формирование этической позиции, свойственной носителям конкретного вероисповедания - поскольку *credo* человека есть основа его личной этики.

Однако такой подход к педагогике чреват серьезным перекосом. Во-первых, дело в том, что Россия - это страна, где религиозная ситуация плюралистична: здесь сосуществует множество разных религий, ни одна из которых не признана в качестве государственной. Одно это служит серьезнейшим доводом в пользу светского характера образования (которое, кстати, имеет уже почти вековую традицию, и отменять ее значило бы провоцировать очередную идеологическую контрреволюцию). Во-вторых, и это главное, сам по себе состав христианства как конфессии, определяющей религиозный облик России, неоднороден. Речь идет не о догматических или историософских концепциях, вступавших в полемику и взаимодействие как на рубеже XIX - XX в., так и теперь. Речь идет о принципиально различных структурно-мировоззренческих нормах, укорененных в различных общественных стратах и объединяемых православным обрядом как формой. Об их специфическом соотношении - наш небольшой очерк.

Наблюдение о плюрализме внутреннего состава христианства касается не только православия. Как в России, так и в Европе христианство изначально было религией привнесенной, не органичной для посвящаемых народов. Обращение совершалось с известным драматизмом, которого Русь в X веке тоже

не избежала. Но главное - характер этого обращения. В ходе его сохранялся лишь очень небольшой слой людей, верующих рационально, то есть понимающих интеллектуальную составляющую православия. А ведь христианство немислимо без своей утонченной рационалистической догматики, унаследовавшей глубочайшие достижения античной философии... Основная же масса мирян обращалась формально, через обряд, будучи внутренне, по духу, приверженцами иного мировоззрения. В результате возникла известная ситуация "двоеверия", при которой большая часть верующих, соблюдая православный литургический канон, мыслила его средствами иных концептуальных структур.

Такая разновидность верования известна еще под именем "народного православия". И если рассмотреть народное православие с семиотической точки зрения, то оно представляет собой специфический язык, формально-знаковая сторона которого совпадает с языком "официального", или "нормативного" православия, а концептуальная сильно от него отличается. Блестящее исследование инверсирования концептуализации христианского мифа средствами народных представлений предпринял Г. Федотов, обобщив свои наблюдения в книге "Стихи духовные: русская народная вера по духовным стихам". Он, в частности, говорит о том, что в народной религии «искажение христологии, потемнение веры в Христа-Спасителя обуславливает трагическую безнадежность эсхатологии»¹.

Эти наблюдения Федотова подкрепляются серьезным филологическим анализом русских духовных стихов, в которых нашло выражение мироощущение части общества, определяемой ученым как "близкий к Церкви слой народной полунинтеллигенции". Вера и мировоззрение этого слоя отличается как от книжного православия социальных верхов и клира, так и от вполне языческих взглядов огромной массы крестьянского населения. Именно это мировоззрение дало о себе знать в XIX в., поднявшись в дневную культуру в ходе процессов ее демократизации. Поэтому осознание его специфики очень важно для всякого, кто имеет дело с феноменами русской культуры, особенно последних двух столетий, - и для академического ученого, и для школьного педагога.

Говоря о социальной базе «народного православия», Г. Федотов определяет ее как промежуточный слой между церковными верхами и крестьянством с его фольклорными верованиями. «Выше его стоит слой или книжный, или строго церковный, который в своей религиозной жизни всецело сливается с культурой духовенства... Огромные массы народа стоят не ближе, а дальше от церковной культуры, чем слепые певцы «духовных стихов», и в их фольклоре мы найдем черты, слабо или вовсе не представленные в «стихах»². Специфическое содержание духовных стихов является для Г. Федотова показательным для народной веры.

В другом источнике мы находим иное свидетельство неоднородности социальной базы и, соответственно, мировоззренческого состава русского православия. "Если говорить обобщенно о генезисе русской духовной культуры до XVIII в. и части ее, называемой не всегда достаточно точно "народной", до XX в., то приходится признать, что эта культура построена... на основе "троеверия", которое в синхронном плане в народной среде воспринималось

¹ Г.П. Федотов. Стихи духовные: русская народная вера по духовным стихам. М., 1991. С. 120.

² Там же. С.123.

как единоверие... Это троеверие складывалось на Руси из исконного славянского язычества, христианства, воспринятого в прошлом со стороны, и импортированного вместе с ним ахристианства, преимущественно византийского образца³. Речь идет по сути о тех же трех пластах, соответственно: о крестьянском язычестве, книжном православии и народной вере. Последняя у Н.И. и С.М. Толстых, авторов процитированной статьи, прямо характеризуется как «ахристианство». Взгляд на народную веру как проникнутую манихейским онтологическим дуализмом и потому в принципе ахристианскую широко распространен. Г. Федотов оспаривает этот взгляд, однако признает присутствие элемента «этически обоснованного» дуализма в народном православии. Так или иначе, наличие существенной специфики в этом мировоззрении не подвергается сомнению.

Представление о существовании «народного» культурно-мировоззренческого пласта приобретает особый вес, демонстрируя сохранность в отрыве от религиозной точки зрения. К мысли о тройке дифференциации пластов в культуре подводят поздние работы М. М. Бахтина, известнейшая из которых - "Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса". Здесь М. М. Бахтин объединяет такие на первый взгляд различные явления, как карнавал, жанры "демократической" литературы и площадное просторечие в принадлежности их к целостному пласту культуры, которую ученый называет "народно-смеховой" и обособляет от культуры официальной, "серьезной". Внимание к "народно-смеховой" культуре М.М. Бахтин считает привлеченным впервые: "Проблема этой культуры вовсе и не ставилась"⁴, - пишет он. Одной из характеристик этой культуры, по М.М. Бахтину, является то, что она урбанистического происхождения, и в этом смысле противостоит собственно фольклору. Соответственно, в целом организме культуры и этому ученому видятся три пласта: "официальная" культура и литература, демократическая смеховая культура и фольклор, сохраняющий бытование преимущественно в деревнях.

В недавние годы увидела свет монография, составленная из статей крупнейшего российского музыковеда В. Д. Конен, под названием "Третий пласт". На склоне жизни автор размышляет о происхождении таких феноменов современной массовой культуры, как джаз и рок, и сравнивая их типологически с явлениями более ранних периодов европейской музыки, делает вывод о необходимости относить их к особому культурному пласту. «Этот пласт не укладывается в традиционное деление всей музыки на композиторское творчество оперно-симфонического плана и фольклор. В музыковедческой литературе он, насколько можно судить, не подвергался изучению как самостоятельный слой культуры»⁵. Формулируя проблематику работы, В.Д. Конен, в частности, пишет: "В какой среде возникали и развивались массовые жанры начиная со средневековья; в чем их отличие от профессионального композиторского творчества и фольклора? <...> они образуют особый, самостоятель-

³ Н.И. и С.М. Толстые. О целесообразности применения некоторых лингвистических понятий к описанию славянской духовной культуры // Вторичные моделирующие системы. Тарту, 1979. С.53.

⁴ М.М. Бахтин. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990. С.24.

⁵ В.Д. Конен. Третий пласт: Новые массовые жанры в музыке XX века. М., 1994. С.4.

ный пласт музыкальной культуры»⁶. Сферу бытования фольклора В.Д. Конен ограничивает только деревней. Соответственно, «демократические жанры», как и у М.М. Бахтина, коренятся в урбанистической среде.

Мы, исходя из сказанного, вправе констатировать историческую неоднородность православного (и не только) христианства как мировоззрения. Факты культуры, наблюдения ученых свидетельствуют о том, что *за формой православия скрываются как минимум три составляющие*. К специфике одной из них - «народной религии» - мы сейчас вкратце обратимся, апеллируя к литературному материалу.

Демократическое мировоззрение «третьего пласта» впервые нашло себе выход, параллельно с духовными стихами, в рукописных повестях XVII столетия. Важная составляющая этого мировоззрения - фатализм. Фатум - рок, злая судьба, от которой не укрыться. Вспомним замечание Г. Федотова о «трагической безнадежности эсхатологии» демократической культуры. Вторая половина XVII века вся была проникнута этим ощущением неизбежности надвигающегося зла. Прямым свидетельством тому явился церковный раскол. Накануне пришествия антихриста, которого все ждали в 1666 г., обрядовая реформа Никона, проведенная грубо и безапелляционно, была воспринята многими с острой болезненностью, как начало конца. Возникла мысль, что и в церкви нет спасения. «Несмотря на божественную красоту и благость земли, несмотря на заступничество стольких небесных сил, зло торжествует в мире и шансы на спасение в вечности ничтожны»⁷. Отсюда безысходность.

Начала фатализма заметны в "Повести о Савве Грудцыне". Невинный отрок, праведный сын почтенных родителей, исправно посещающий церковь и послушный воле отца, неожиданно для себя оказывается затянутым в сети греха. В "Повести о Горе и Злочасти" образ рока персонифицировался, став непосредственным предметом повествования. Горе-Злочастье привязывается к молодцу, не давая ему устроить нормальную жизнь. Спасение лишь одно - постричься в монастырь: тогда "Горе у святых ворот остается, к молотцу впряде не привяжетца." Горе - персонифицированное начало бытия - в повести всесильно. Оно занимает своей активностью весь сюжет: его цель - подчинить себе молодца, и оно этой цели добивается. Молодец выступает в повести в роли статиста.

Пассивный характер положительного героя - вторая черта демократической повести, прямо связанная с фатализмом. Молодец сам спровоцировал появление Гора, нарушив родительский наказ. После этого ему ничего не остается, кроме как «покориться Горю нечистому» и жить, как оно повелит. Спасается молодец лишь покаянием, которому здесь придаются религиозные черты. Заметим, что это один из специфических "секретов" русской литературы, обусловленных национальным менталитетом. Двести лет спустя герои Ф. Достоевского, как правило, всю свою видимую жизнь идут именно к покаянию, и оказываются оправданы автором и спасены именно постольку, поскольку делают этот шаг, снимая тем самым с себя избыток индивидуальной свободы. То же и у Л. Толстого: его герои постольку положительные, поскольку они осознают избыток своей индивидуальности и примиряются с тем, чтобы от него отказаться, искупив тем самым свой сословный «первородный грех»: таковы Безухов, Левин, Нехлюдов. Смирение «гордыни», нормальной среди дворянства, для них становится делом жизни.

⁶ Там же. С. 10.

⁷ Г.П. Федотов. Стихи духовные... С.120.

Третья особенность демократического мировоззрения, проявившаяся в повестях XVII в., такова, что оно изначально осознает свою ущербность по отношению к некой абстрактно сущей норме. «Для авторов-компиляторов прозаических повестей это положение не было противоестественным: они понимали, что есть «благородная» дневная культура, и есть почвенная культура народа»⁸. Поэтому аксиологический ценз, в Европе ограничивающий распространение подобных повестей, в русском варианте не работает: их носители смиренно мыслят себя в принадлежности к особому культурному слою - «третьему пласту» - и не оглядываются на нормативы «высокой» культуры. Но поскольку «третий пласт» весьма обширен, его искусство, ценностно ориентированное интроспективно этому пласту, создает массу образцов; и целостный облик культуры начинает определяться под воздействием этой массы.

Если мыслить русскую культуру как целое, то названные особенности ее «третьего пласта» - *фатализм, аксиологическое доминирование личной пассивности и значительная автономность* - создают ощущение разрыва между логической и этической составляющими этого целого. Причем этический компонент носит своеобразный сектантский характер.

На парадоксальный разрыв национальной русской души указывал еще Н. Бердяев - в «Русской идее», потом в «Судьбе России», в статьях, относящихся к революционным десятилетиям. В статье из сборника «Вехи» Н. Бердяев как раз ставит проблему несоответствия между истиной философии и этической нормой - кружковой «правдой» русской интеллигенции. «Интерес широких кругов интеллигенции к философии исчерпывался потребностью в философской санкции ее общественных настроений и стремлений»⁹, - утверждает философ. Иными словами, для русской интеллигенции не философия являлась методологией этики, а наоборот. И что очень важно: интеллигенция, мыслявшая себя носительницей этического идеала, тем самым отрицала возможность обладания таковым для остальной части общества.

Так названный нами разрыв становился фактом. Современному философу интуиция этого разрыва дает право заявить: «Русская этика, в основном избравшая для себя моралистический путь развития, т. е. беспроигрышную во многих отношениях позицию нравственной опеки человека и человечества, противопоставила себя тем самым русской религиозной философии, провозгласившей принципиально иную стратегию духовного действия»¹⁰.

Последний тезис имеет большое значение для современности. Если религиозная философия оказалась в разрыве с этикой - а мы здесь постарались показать, что это значит разрыв мировоззрения двух общественных страт - то возникает вопрос о правомерности этой философии как методологического центра гуманитарных наук в России. *Не окажется ли ориентация на религиозную философию, восходящую к «книжному православию», очередной попыткой идеологического диктата культуре, доминанты которой существенно иные?*

Автор этой статьи хотел бы оговориться, что для него лично близки и дороги нормативы «книжного православия»; однако адекватность методоло-

⁸ И.В. Кузнецов. Жанровая модель притчи и тип героя в русской литературе XVII - XVIII в. // Молодая филология. Вып. 2. Новосибирск, 1998. С.29.

⁹ Н.А. Бердяев. Философская истина и интеллигентская правда // Вехи: сборник статей о русской интеллигенции (репринт. изд. 1909 г.). М., 1990. С.10.

¹⁰ О.С. Соина. Феномен русского морализаторства: этические очерки. М., С.190.

гии социальной базе гуманитарной науки представляется важнее всего. И если массовая культура в России зиждется на «моралистических», по определению О.С. Соиной, основаниях, то не следует ли дать ей возможность развиваться в соответствии с этими основаниями, сориентировав соответствующим образом и педагогику? В противном случае мы рискуем усугубить имеющуюся ситуацию отрыва школьного знания от жизненно-практического, что может обернуться либо глубоким падением престижа среднего образования, либо ханжеским отношением к последнему.

Другой способ решения нашей методологической проблемы заключается в углублении *стратификации* образования. На этом пути следовало бы принципиально развести два типа школ: массовую и «элитную». Но развести не только по принципу оснащённости кабинетов или количества преподаваемых языков (как это практикуется в подходе к лицеям и гимназиям), а и по принципу воспитательно-мировоззренческой ориентации. Подобно тому как религиозные школы открыто делают целью воспитать своих слушателей в духе Закона Божья, светские лицеи и гимназии должны сосредоточиться на том, чтобы оторвать своих питомцев от демократической идеологии массовой культуры с ее моралистическими доминантами и эгалитаризмом внутрисекторного типа. Соответствующим образом должны быть сориентированы учебные программы, особенно по гуманитарным дисциплинам, и направлена воспитательная работа.

Но и в этом случае массовая школа - в силу ряда социологических причин, таких как методические и дидактические традиции, социальная база образования - не должна нарушать установившейся инерции. Это необходимо как гарантия преемственности поколений в культуре и, соответственно, общественной стабильности.

Конфликт факультетов: возможна ли междисциплинарная коммуникация?

Алдис Гедутис*

УНИВЕРСИТЕТЫ ВИЛЬНЮСА И КЛАЙПЕДЫ, ЛИТВА

Введение

Данная статья основывается на докладе, прочитанном на Летней школе «Коммуникативные стратегии культуры» (Новосибирск, 21 июля – 15 августа 1999 г.). Доклад планировался как провокационный и служил одной цели - вызвать дискуссию. По этой причине мой ответ на вопрос - «Возможна ли междисциплинарная коммуникация?» – является отрицательным. По этой же причине заключение может выглядеть опрометчивым и неприемлемым для тех, кто поддерживает идею междисциплинарного взаимодействия и пытается расширить границы различных дисциплин (прежде всего я имею в виду организаторов Новосибирской летней школы, замысливших ее как междисциплинарную). Для поддержки своей точки зрения я подробно остановлюсь на двух примерах: 1) «дело Сокала» и «научные войны», которые «ведутся» Северо-американской академией; 2) дискуссия о развитии гуманитарных и социальных наук в Литве.

В данный момент важно объяснить заголовок статьи. «Конфликт факультетов» – это произведение Иммануила Канта (Kant, 1979), предметом которого является конфликт во взаимоотношениях между «низшим» факультетом философии и тремя «высшими» факультетами теологии, права и медицины. Проблема сформулирована так, что любой консенсус (или хотя бы дискуссия) между этими факультетами выглядят невероятным и даже невозможным. По этой причине необходимо найти критерий, с помощью которого можно было

* E-mail: aldevinas@yahoo.com

бы определить, какой из этих факультетов лучше или выше по сравнению с другими. Этой работе И. Канта близка книга Поля Рикера «Конфликт интерпретаций», где также исследуется понятие конфликта (Ricoeur, 1974). По П. Рикеру, в настоящее время можно наблюдать явное непонимание между представителями различных интерпретационных позиций.

И, наконец, в качестве теоретического базиса выбрано понятие *различия* (differend), сформулированное Жану-Франсуа Лиотару. По Ж.-Ф. Лиотару, «различие было бы предметом конфликта между (по меньшей мере) двумя сторонами, и этот конфликт не может быть справедливо разрешен из-за отсутствия правил суждения, применимых к аргументациям обеих сторон. Легитимность одной стороны вовсе не предполагает отсутствие легитимности с другой стороны» (Lyotard, 1988. XI).

Вслед за И. Кантом, П. Рикером и Ж.-Ф. Лиотаром мы выбираем две основные конфликтующие ветви, когда говорим о невозможности междисциплинарной коммуникации, т.е. естественных наук с одной стороны и гуманитарных и социальных – с другой. Этот конфликт далеко не нов, и его корни прослеживаются в разделении Вильгельмом Дильтеем *Naturwissenschaften* и *Geisteswissenschaften*, а также в том, что Чарльз П. Сноу первым назвал «проблемой двух культур» (Snow, 1959.). В настоящей статье мы предлагаем нашу интерпретацию того, как этот конфликт проявляется в наши дни.

Дело Сокала

Американский журнал *Social Text* в выпуске, озаглавленном «Science Wars» («Научные войны») и посвященном критике науки (1996, 46/47, весна/лето), опубликовал статью Алана Сокала (Alan Sokal) «*Transgressing the Boundaries: Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity*» - «*Пазрушение границ: к трансформационной герменевтике квантовой гравитации*» (Sokal, 1996a). А. Сокал предпринял эту публикацию в качестве эксперимента, который позволил бы ответить на вопрос: «сможет ли ведущий североамериканский журнал по культурным исследованиям <...> опубликовать статью, обильно одобренную чепухой, если (а) она была бы хорошо написана и (б) она польстила бы «идеологическим предубеждениям» редактора? (Sokal, 1996b). Побудительным мотивом этого эксперимента, по А. Сокалу, явилось «очевидное снижение стандартов интеллектуальной строгости в некоторых областях гуманитарного знания в Америке» (там же). В провокационной манере А. Сокал создал пародию на стиль и приемы аргументации в пост-модернистских, пост-структуралистских и социо-конструктивистских текстах. Такой стиль, по мнению автора, подходит для маскирования ошибок и чепухи. Центральный тезис его статьи - «Квантовая гравитация <...> имеет глубокие политические импликации» - поддерживается псевдонаучной аргументацией вроде такого: «аксиома равенства в математической теории множеств в определенном смысле аналогична такому же понятию омонима в феминистских политических убеждениях», или: аксиома равенства отражает «либеральные основания девятнадцатого века» в теории множеств; или: «психоаналитические предположения Лакана подтверждены недавними работами в квантовой теории поля», или: «квантовая физика глубоко созвучна 'эпистемологии постмодернизма'», или: «освободительная наука не может быть полной без полного пересмотра канонов математики», и т. п. Статья, распространяю-

Когда говорят представители STS...	Ученые слышат...
Наука является социально конструируемой.	Наука – это то, чем ее представляет большинство людей.
Обоснованность научных суждений должна решаться с точки зрения рассуждающего.	Нет различия между реальностью и тем, как люди ее представляют.
Направление STS автономно от науки.	Направление STS невежественно относительно науки и относится к ней без должного уважения.
Наука – это всего лишь один из нескольких возможных способов интерпретации опыта.	Наука – всего лишь интерпретация, которая извращает действительную природу опыта.
Гравитация - это понятие, при помощи которого ученые обычно объясняют, скажем, почему мы падаем вниз, а не вверх. Существуют другие способы объяснения того же явления.	Гравитация существует только в нашем воображении; если бы мы думали иначе, мы бы падали вверх, а не вниз.
Собственная оценка ученым его действия – не обязательно лучшее объяснение этого действия.	Собственная оценка ученым его действия может быть проигнорирована при объяснении этого действия.

Источник таблицы - (Fuller).

щая такие идеи, была опубликована. Таким образом, выяснилось, что редакторы журнала *Social Text* были не только неспособны критически оценить технические аспекты статьи, но они даже не позаботились о том, чтобы проконсультироваться со специалистами в квантовой физике. Оказалось достаточно важным того факта, что автор является признанным специалистом в области физики и его взгляды совпадают со взглядами редакторов. По заключению А. Сокала, эксперимент обнаружил тот факт, что представители гуманитарных наук критикуют естественные науки и в то же время не знают о положении в них и процессах, которые в них происходят. «И интенсивность их обвинений могла бы показать безнадежность при нахождении общих основ науки между учеными и всеми теми, кто вовлечен в научные исследования» (Dadachanji, 1998). А. Сокал опубликовал результаты своих экспериментов в статье - «A Physicist Experiments with Cultural Studies» - «Эксперимент физика над гуманитарными исследованиями» (Sokal, 1996b) и «Transgressing the Boundaries: An Afterword» - «Разрушение границ: развитие событий» (Sokal, 1996c).

По словам Уорка Мак-Кензи, А. Сокал добавил больше жара, чем света к так называемым «научным войнам» и «не к дебатам, а к охоте на ведьм» (McKenzie, 1996). Похоже, что редакторы журнала *Social Text* - Брюс Роббинс и Эндрю Росс (Robbins & Ross, 1996) – думают так же, полемизируя с А. Сокалом. Они опубликовали ответ редколлегии. Критическими доводами против позиции А. Сокала являются следующие: А. Сокал не понимает специфики гуманитарных исследований, и его провокация является абсолютно неадекватной. Во-первых, редакторы заявляют, что они не связаны обязательствами о соответствии своих стандартов критериям профессионального научного

журнала. Иными словами, не существует абсолютных стандартов для публикаций, и редакционный совет оставляет за собой право решать, опубликовать статью или нет. Во-вторых, как отмечают Б. Роббинс и А. Росс, статья А. Сокала была опубликована скорее как знак доброй воли физика (в поисках диалога между наукой и постмодернистской эпистемологией), а «не как набор аргументов, с которыми мы согласны». Поэтому, если бы автор был представителем гуманитарных или социальных наук, статья никогда бы не появилась в *Social Text*.

Из случая с А. Сокалом можно заключить, что публикация научным журналом чепухи можно было бы интерпретировать по крайней мере двумя различными и даже противоположными способами – «научным» и «гуманитарным». И эти две точки зрения кажутся несоизмеримыми или даже находящимися в ситуации *различия* (differend).

В ситуации «научных войн» можно было обнаружить и другие примеры взаимного непонимания. Оно проявляется не только в двух вышеупомянутых интерпретациях, но и в противоположном восприятии одних и тех же высказываний. Как указывает Стив Фуллер (Fuller), ученые по-разному интерпретируют утверждения, развиваемые таким направлением, как исследование науки и технологии (*Science and Technology Studies* -STS) - направлением, тесно связанном с гуманитарными и социальными науками. Важно подчеркнуть, что А. Сокал – один из тех ученых, кто играет важную роль в этих процессах взаимного непонимания. Поэтому с помощью С. Фуллера становятся ясными дополнительные причины мистификации А. Сокала.

Дискуссия о состоянии гуманитарных и социальных наук в Литве

Говоря о проблемах развития гуманитарных и общественных наук в Литве, специалисты делают акценты на их непростой судьбе в прошлом и на недостаточности их финансирования в настоящем (Nekrasas, 1995. С. 10; Samalavicius, 1998. С.16). Мы ограничимся только анализом финансовой стороной проблемы. Если принять мнение, что недостаточное финансирование является одной из причин трудностей внутри гуманитарных или социальных наук, то следует сделать вывод, что деньги могут улучшить состояние этих дисциплин. Гуманитарные и социальные науки должны делить бюджетные ассигнования с естественными, медицинскими, сельскохозяйственными и техническими науками (Asmontas, 1998). Такое распределение требует специальных критериев, которые позволили бы оценить условия, нужды и перспективы этих наук. С учетом аспекта государственного финансирования, предельно важной становится оценка гуманитарных и социальных наук - в более широком аспекте, нежели с использованием собственного инструментария и критериев этих дисциплин.

Большой интерес в этом отношении вызывает дискуссия, посвященная состоянию гуманитарных и социальных наук в Литве и опубликованная в журнале 'Kulturos Barai' (1998, № 3–5; 1999, № 1–2). В этой дискуссии можно выделить два основных направления:

1. Целью научного поиска, включающего в себя и гуманитарные и социальные науки, является новое знание/информация. Важнейший результат этого поиска – «научные публикации». Локальная наука невозможна в принципе, и научный поиск направлен на глобальную или мировую науку.

2. Гуманитарные науки – инонаучная форма знания, которая связана «не только с накоплением знания, не только с эпистемологической, но и аксиологической и онтологической истиной. Истиной, которая могла наполнить смыслом и личную, и общественную жизнь» (Kuolys, 1998. С.18). По этим причинам гуманитарные науки по своей сути являются несомненно локальными.

Налицо ситуация взаимного непонимания. Представители первого направления пытаются найти критерии, допускающие оценки гуманитарных исследований. В то же время представители второго направления подчеркивают уникальность гуманитарных и социальных наук, но их позиция не содержит позитивных положений для оценки этих наук. О нестыковке данных направлений говорит анализ и сравнение аргументаций сторон.

Глава группы экспертов Ромуалдас Апанавичиус, комментируя оценку научной работы в гуманитарных областях, выделил основной набор критериев (которые он назвал международными). Во-первых, оценка должна производиться на основе среднего числа публикаций (монографий) ученого. Во-вторых, следует учитывать значимость этих публикаций: «впервые применялось требование считать публикации в международной научной прессе, в международных журналах, которые цитируются и публикации которых используются учеными всего мира» (Kulturos Barai. 1998. № 3. С.7). Третий критерий предназначался для экспертов: «ценными являются те монографии, результаты которых были объявлены в международной прессе до публикации» (Там же. С.9). В-четвертых, следует учитывать, «существует ли баланс между фундаментальными и прикладными исследованиями» (Там же. С. 8). Экспертиза обнаружила, что только одна публикация среди опубликованных государственными институтами по гуманитарным исследованиям удовлетворяет второму критерию. Кроме того, «даже местные публикации у каждого ученого в течение 3 лет не во всех случаях достигают минимума, требуемого правительством, т. е. 1 публикация в год» (Там же. С.7). В дополнение Р. Апанавичиус замечает, что «слишком много внимания уделялось прикладным исследованиям: сбору материала и его обработке. Эксперты отметили отсутствие теоретических исследований, выдающихся по своему фундаментальному характеру. <...> Нам стало очевидным – если исследования будут проводиться только в области литовского государства или литовской нации, уровень фундаментальных исследований вряд ли будет достигнут» (Там же. С.8). Все вышесказанное означает, что гуманитарные исследования в Литве не соответствуют критериям экспертов. По мнению экспертов, основная проблема гуманитарных институтов следующая: литовские гуманитарные исследования «все еще слабо интегрированы в мировую науку. <...> Похоже, что литовские гуманитарии все еще изолированы» (Там же. С.7). Р. Апанавичиус определяет наиболее важные причины этой изоляции: «нелегко опубликовать статьи в международных журналах. Прежде всего, человек должен публиковать только новые идеи, компиляции не допускаются. В то же самое время в Литве еще можно что-то компилировать. Во-вторых, страх рецензирования» (Там же. С.10).

Другой член экспертной комиссии – биохимик и заместитель министра образования Йозас Кулис неудачу интеграции объясняет следующим образом: «многие гуманитарии очень смутно представляют, что такое наука <...> несмотря на то, что научный рынок переполнен во всем мире. Если кто-то желает принимать участие в этом рынке, если он хочет быть признанным, если он

хочет распространять свои идеи, ему следует включиться в мировой процесс и следовать правилам, установившимся в мировом научном сообществе. <...> Невозможно утверждать, например, что литовский язык – исключительный объект науки. Чтобы утверждать, что это наука, должны быть установлены новые обобщения и новые закономерности. Если этого нет, то это не наука, а всего лишь компиляция» (Kulturos Barai. 1998. № 3. с. 8). И далее: «Тенденция должна быть единственной - наука должна быть наукой в прямом смысле этого слова. Она обязана быть интегрированной в мировую науку. Не существует локальной науки. <...> Современная наука – это то, что распространено по всему миру, обсуждено специалистами в определенной области, дискутировано и признано» (Там же. С.9).

Представители второго направления - гуманитарии Дариус Куолис (который является также советником Президента) и Алмантас Самалавичиус - стремятся к выявлению дефектов и слабых мест в аргументации экспертов. Прежде всего, они не соглашаются с требованиями экспертами относительно ориентации на глобальную или мировую науку. Д. Куолис подчеркивает, что гуманитарные науки отличаются от естественных: «гуманитарные науки <...> являются локальными по своей сути. Они имеют свои родные страны – в лингвистическом, культурном, этническом, региональном и цивилизационном плане» (Kuolys, 1998. С.18). Большая часть публикаций в гуманитарной сфере может быть выпущена только в Литве. А это означает, что подобные публикации не могут соответствовать второму критерию экспертов. Таким образом, как заявляет А. Самалавичиус, можно обсуждать «формальные критерии (участие ученых в международных проектах, коэффициент публикаций за границей), но они ни в коей мере не могут считаться основными или тем более абсолютными показателями» (Samalavicius, 1998. С.17–18). Кроме того, некоторые идеи кажутся гуманитариям весьма сомнительными, как то: расширить интересы исследований, не ограничивать себя только «областью Литовского государства или литовской нации», потому что невозможно достичь уровня фундаментальных исследований на базе узких исследований. «Подобные тезисы подразумевают новую идеологию, декларирующую, что глобальность объекта исследований отождествляется с фундаментальностью исследований, что в корне неверно. Конечно, можно стимулировать и поддерживать исследовательские проекты, связанные с более широким полем интересов, но это не значит, что узкие исторические или проблематические исследования не могут быть фундаментальными» (Там же. С.18). Критерии экспертов кажутся гуманитариям подозрительными, потому что они игнорируют специфику гуманитарного знания. Эти критерии интерпретируются как «желание 'навязать' гуманитариям методики, применяемые в естественных науках» (Там же. С.17). Тогда как «литовская политика в отношении науки может достичь национального и государственного характера только <...> при построении связей между различными областями, ветвями и разделами науки на основе диалога и партнерства. Нельзя проталкивать логики одной области знаний в другую, но следует признавать и уважать характерные особенности разных областей, ветвей или разделов науки» (Kuolys, 1998. С.20). И наконец, А. Самалавичиус раскрывает ряд существенных моментов, которые необходимо учитывать при обсуждении специфических особенностей гуманитарного знания: это, «во-первых, историческое развитие областей исследования, во-вторых, их текущее состояние как в локальном, так и в международном контексте, <...> в-третьих, применимость западных методологий исследований к

литовским гуманитарным исследованиям» (Samalavičius 1998. С.18). Других позитивных предложений относительно оценки текущего состояния дел в гуманитарных науках не предлагается. Представители второй точки зрения больше говорят о возможностях улучшения, а не о критериях оценки гуманитарных наук.

После представления аргументов обеих сторон становится очевидным факт взаимного непонимания. С одной стороны, эксперты пытались обсудить и обосновать применимость (действительную или по крайней мере возможную) критериев развития естественнонаучных дисциплин для оценки гуманитарных исследований. С другой стороны, их оппоненты стремились представить исключительное положение гуманитарных наук - положение, которое не позволяет применять к ним упомянутые критерии. И Д. Куолис, и А. Самалавичиус подчеркивают неадекватность и даже некорректность критериев экспертов: принимающие эти принципы игнорируют специфику гуманитарного знания и приписывают ему критерии, применимые только к техническим и естественным наукам. И неважно, верны или нет аргументы последних. Гораздо важнее тот факт, что исследователи, представляющие гуманитарные науки, не отвечают на вопрос: как же все-таки следует оценивать практику гуманитарных наук? Обсуждение того тезиса, что гуманитарные науки являются инаучной формой знания, а также перспектив их дальнейшего развития, не поддерживается какими-либо попытками способствовать работе экспертов по поиску критериев оценки гуманитарных наук. Единственное позитивное предложение можно найти в статье Д. Куолиса – это созыв «серьезного культурного форума», способного решить вышеизложенные проблемы (Kuolys, 1998. С.17).

Участвуя в данной дискуссии, я предложил определенные критерии, которые могли бы решить проблему оценки гуманитарных исследований. Были выбраны параметры, которые учитывали аргументы обеих сторон (и не допускали взаимного непонимания). Таким образом, из-за избытка информации и отсутствия финансовой поддержки необходимы критерии экспертов для оценки. Одним из самых важных критериев все-таки являются публикации. Уделяя особое внимание локальному характеру некоторых гуманитарных исследований, нет необходимости учитывать международные публикации. Скорее, важно число местных изданий и частота цитирования локальных авторов данной области. Очевидно, ничего позитивного нельзя сказать о науке, внутри которой не происходит общения. Например, совсем не лучшее состояние литовской филологии описывает Б. Савукина: «Однажды Альгирдас Греймас во время посещения Литвы был очень удивлен, что на факультете литературы в университете не имели представления, чем занимаются лингвисты, фольклористы института не знают, чем занимаются лингвисты в том же самом институте, а лингвисты не представляют, что делают фольклористы или исследователи мифологии. Это старый комплекс изоляции» (Kulturos Varai. 1998. № 4. С.13). Если взаимодействие отсутствует даже внутри одной дисциплины, как оно может пересечь границы и стать глобальным?

Следующий критерий можно сформулировать таким образом: оценка важна для того, чтобы понять, как та или иная дисциплина преодолевает свои узкие границы и взаимодействует хотя бы с другими гуманитарными науками. В этом случае междисциплинарное общение вкупе с влиянием на другие дисциплины могло бы иметь очевидное преимущество. Чтобы показать, что преодоление замкнутости вполне возможно, достаточно указать на такие дис-

циплины, как социология культуры, социология философии, история идей, история менталитетов и т. п., появившиеся в других странах.

При оценке также важно обращать особое внимание на более широкий, т. е. глобальный контекст. Даже Д. Куолис, отрицающий глобализацию, говорит о профессорах, «которые способны участвовать в диалоге гуманитариев всего мира» и «развивать международные контексты» (Kuolys, 1998. С.19-20). По этой причине сравнительные и международные исследования могут рассматриваться как дополнительные критерии оценки. Это позволило бы избежать отделения/изоляции и поддержки бесплодных проектов, с одной стороны, и стимулировало бы поиски контактов и альтернативных источников финансирования, с другой стороны.

Увы, этот комбинированный подход не получил никакого отклика в лагере гуманитариев. Наиболее типичная реакция была предложена философом Арвидасом Шлиогерисом (Arvydas Sliogeris): «Я уверен, что невозможно найти точную матрицу, набор критериев, похожих на математическую формулу или таблицу умножения. До сих пор придерживаются мнения, что наука – полностью механический процесс. Мы хотим отнять у нее жизнь. <...> Мне не нужно таблиц. Эти критерии – ужасная вещь (Kulturos Barai. 1999. № 2. С.14).

Это походит еще на один пример различия, несоизмеримости или взаимного непонимания, не так ли?

Заключение

Рассмотрение двух вышеописанных случаев позволяет заключить, что в существующих условиях *междисциплинарная коммуникация невозможна* (по крайней мере в «деле Сокала» и дискуссии относительно оценки гуманитарных и социальных наук в Литве). Невозможность междисциплинарной коммуникации определяется определенным воспитанием, интересами и точками зрения представителей двух противоположных сторон: в обоих случаях наличие конфликта между представителями точных и гуманитарных наук. Различные дискурсивные практики ограничивают интерпретацию определенных проблем требованием следовать только своим дискурсивным правилам. Сравнивая аргументы обеих сторон, получаем: «1) невозможность избежать конфликтов (невозможность индифферентности), и 2) отсутствие универсального жанра дискурса для их регулирования (или, если хотите, неизбежность судьбы)» (Lyotard, 1988. XII).

Литература

- Ar valstybe turi mokslo pletros vizija? Humanitariniu mokslu bukle. In: Kulturos Barai. 1998. Nos. 3/4 (399-400).
- Asmontas S. Lietuvos mokslo sistemos reforma ir valstybiniai mokslo institutai. In: Mokslo Lietuva. 1998. Nos. 4 and 5 (February 25 - March 11).
- Dadachanji D.K. The Cultural Challenge to Scientific Knowledge (1998). URL <http://members.tripod.com/~ScienceWars/cult.html>.
- Fuller S. Science Studies Through the Looking Glass: An Intellectual Itinerary. URL <http://members.tripod.com/~ScienceWars/ullica1.html>.

- Gedutis A. Humanitariniu mokslu vertinimo problema. In: Kultūros Barai. 1999. No. 2 (410).
- Humanitariniu ir socialiniu mokslu vertinimo kriterijai. Diskusija. In: Kultūros Barai. 1999. No. 2 (410).
- Kant I. The Conflict of the Faculties. New York: Arabis Books Inc., 1979.
- Kuolys D. Apie kitamokslius ir ju politika. In: Kultūros Barai. 1998. No. 4 (400).
- Lyotard J.-F. The Differend: Phrases in Dispute. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988.
- McKenzie W. Physicist Opens Fire in the Science Wars (1996). URL <http://www.mcs.mq.edu.au/Staff/mwa...australian-HES/cs-science-wars.html>.
- Nekrasas E. Socialiniu mokslu Lietuvoje bukle ir perspektyvos. In: Kultūros Barai. 1995. Nos. 8/9 (368-369).
- Ricoeur P. The Conflict of Interpretations. Evanston, Ill: Northwestern University Press, 1974.
- Samalavicius A. Humanitariniai tyrimai ir ju vaizdiniai. In: Kultūros Barai. 1998. No. 5 (401).
- Robbins B. and Ross A. Mystery Science Theater Forum. In: Lingua Franca. 1996. July/August; URL <http://www.larecherche.cie.fr/FOR/C9701/SOKAL/WW52.html>
- Sokal A. Transgressing the Boundaries: Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity. In: Social Text. 1996. 46/47. Spring/Summer; URL <http://www.larecherche.cie.fr/FOR/C9701/SOKAL/WW1.html>
- Sokal A. A Physicist Experiments with Cultural Studies. In: Lingua Franca. 1996. May/June; URL <http://www.larecherche.cie.fr/FOR/C9701/SOKAL/WW6.html>
- Sokal A. Transgressing the Boundaries: An Afterword. In: Philosophy and Literature. 1996, 20(2). October; URL <http://www.larecherche.cie.fr/FOR/C9701/SOKAL/WW9.html>
- Snow C.P. The Two Cultures and the Scientific Revolution. Cambridge: Cambridge University Press, 1959.

«Карфаген должен быть разрушен!» или теория коммуникации и текстуальность

Андрей Щербенок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Борьба с постструктурализмом – дело весьма двусмысленное. С одной стороны, пора бы уж, кажется, постструктурализму смениться чем-нибудь новым. Раньше, бывало, двадцати лет не пройдет, а глядишь – уже новая теоретическая парадигма. А тут уже больше тридцати – и все одно и то же. Сколько можно! Караул устал. С другой стороны, лозунг «Карфаген должен быть разрушен!» воспринимается в отечественных условиях несколько странно, учитывая, что, по большому счету, никто его здесь и не строил, потому и защищать, в сущности, некому. Однако война с этим виртуальным и не слишком изученным Карфагеном архиполезна. В связи с непрявляемостью противника она не грозит серьезными потерями в живой силе и аналитической технике, но при этом способна выполнить функцию "нуль-транспортировки" отечественной гуманитарной мысли от марксизма и московско-тартуской семиотики к... К чему, правда, пока еще не ясно. Но уж явно не к морально устаревшему Жаку Деррида. Народу этого не нужно. Мы пойдем другим путем.

Впрочем, вышеприведенный абзац – это, конечно, обнажение приема. Потому что риторика борьбы только тогда становится действенной, когда выдает себя за идеологию свободного сотрудничества. За риторику диалога. Вадим Линецкий как-то обратил внимание на термины насилия, которыми инкрустирован диалогизм Михаила Михайловича Бахтина¹. Но и терминологию можно причесать. Тогда мы получим энкратический язык по Ролану Барту. Как известно, Барт постепенно менял свое отношение к нечетким, расплывча-

Статья написана при поддержке the Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation, grant No. 1670/1999.

E-mail автора: *andrey.chtcherbenok@pobox.spbu.ru*

¹ В. Линецкий. «Анти-Бахтин» – лучшая книга о Владимире Набокове. СПб., 1994. С. 64.

тым и трудноуловимым формам «природного» языка миролюбивых бесед и в итоге счел их более тоталитарными, чем тот же марксистский или психоаналитический дискурс². Потому что, скажем мы в духе предпоследнего, ползуя гидра контрреволюции гораздо опаснее открытого классового противостояния.

Однако тут же попадемся в капкан дискурса акратического. Ведь никакой революции-то и не было. Назвать постструктурализм революцией не то чтобы совсем неверно, но не вполне корректно. Ибо сама идея резкого, катастрофического изменения есть необходимая принадлежность структурализма, который, в свою очередь, наследует... Ну, и так далее, можно отослать читателя к соответствующей литературе³. Нас же волнует не столько то, что произошло в Европе и Америке в конце 60-х годов, сколько то, что происходит сейчас в отечественном гуманитарном пространстве, причем в том виде, как оно было представлено в шести лекционных курсах, прочитанных на 2-й Новосибирской летней школе «Коммуникативные стратегии культуры». Объединял эти курсы в единое пространство как раз вышеупомянутый лозунг про разрушение Карфагена, чья тесная связь с их внутренним содержанием подчеркивалась его имплицитностью.

Здесь мы позволим себе методологически не вполне оправданную вещь. Мы четко разведем парадигматику и синтагматику, а именно структуру курсов и динамику работы самой школы. И рассматривать будем только первую. Потому что летом 1999 года динамика была склонна структуру преодолевать. Возможно, с расчетом на это (на провокацию бурного междисциплинарного диалога) курсы и строились. Но мы проанализируем только исходную структуру. Потому что именно структура гуманитарных курсов, которые читаются преподавателями перед молчащей аудиторией, и задает парадигму гуманитарной мысли. Тоталитаризм дискурсивной власти состоит не в том, что ей нельзя противостоять, а в том, что нельзя противостоять не ей.

Никуда не денешься. Вежливость обязывает, насколько это возможно, отвечать на предыдущую реплику, а не на собственные фантазматические мечтания. Таково одно из прагматических условий эффективного диалога (прагматика, кстати, также входила в набор высказываний, составивших общую 'реплику' школьных курсов). И все же, выйти из заколдованного круга можно, по крайней мере иногда. Бывает это в том случае, когда в месте стыка происходит небольшое скручивание, и герменевтический круг оказывается, в результате, лентой Мебиуса. Если внимательно присмотреться к тому участку, где внешняя поверхность неожиданно становится внутренней, то окажется, что герменевтическая лента обеспечивает свою замкнутость лишь ценой некоторой уловки, обманного присвоения чего-то ей потустороннего.

Есть два пути обоснования недостаточности структуры. Первый – показать, что поле слишком велико, чтобы структура закрыла его целиком. Путь это внешний и, значит, 1) не слишком вежливый: «Посмотрите-ка, а вот это вы описать-то и не можете!» и 2) не слишком эффективный: «Мы не опишем – опишут другие!» Но есть и другой путь: показать, что поле слишком мало, чтобы включить в себя структурообразующий центр. Что центр вроде бы замкнутой структуры всегда расположен вне, трансцендентен ей, добавлен к ней⁴. В этом случае мы предельно вежливы. Мы говорим с оппонентом на его

² Р. Барт. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 537.

³ См., напр.: J. Derrida. *Writing and Difference*. London and Henley, 1978.

⁴ J. Derrida. *Structure, Sign and Play // The Structuralist Controversy*. L., 1972.

языке, мы находимся внутри его системы. Просто относимся к ее основаниям чуть более внимательно. Собственно, это и есть путь деконструкции.

Во всех прочитанных на школе курсах возникала литература. Причем, как правило, в качестве области применения предлагаемых моделей. Литература выступала как объект приложения языков описания, выработанных на другом (нелитературном или более абстрактном и широком, чем литература) текстовом материале. Затем на литературный текст предлагалось взглянуть с точки зрения реализации в нем, например, прагматических отношений. Или диалогии культур. Или агональной риторики. Или теории коммуникативных событий. Или практической логики. Или эго-истории.

Происходило, иными словами, систематическое присвоение литературного дискурса. Никто не пробовал *прочитать* какой-либо текст. Предполагалось, что все и так его уже успешно прочитали. Оставалось продемонстрировать, как в нем работает та или иная схема. После этого текст становился «нашим»: конечно, в нем сохранялось еще много не покрываемого структурой, но какую-то часть его мы все же структурировали в собственных терминах. И теперь мы знаем, что эта структура там *присутствует*.

Подобная логика действовала не только по отношению к литературе. Готовый инструментарий предполагалось применить к любому гуманитарному полю. Например, к психологии. Но именно в случае с литературой, этим максимально субверсивным из возможных дискурсов, становится особенно очевидно, какой ценой достигается эффективная трансляция гуманитарного знания. Цена этого, как мы постараемся продемонстрировать – редукция чтения и репрессия текстуальности. Потому что самый надежный способ разрушить Карфаген – это стереть его с карты и проложить все дороги на значительном расстоянии.

Именно в систематическом игнорировании текстуальности и расположен, на наш взгляд, центр, извне структурирующий каждую из представленных на школе теорий коммуникации. Такова гипотеза, и для ее проверки мы сделаем следующее: мы постараемся освободить текст из-под власти заранее готовых теоретических схем, а уже потом артикулируем его через инструментарий представленных дисциплин и посмотрим, что именно структурирует каждую из них. Вместо того, чтобы смотреть с одной точки зрения на разные тексты, мы посмотрим 'из' одного текста на разные точки зрения. Иными словами, мы рискнем *прочитать* один короткий рассказ Антона Павловича Чехова на предмет того, что он может сообщить нам о лингвистической прагматике или, скажем, теории диалогии культуры. Возможно, литературе найдется что сказать по этому поводу. Будучи самым критическим из модусов письма, она часто оказывалась в состоянии пролить свет на те области гуманитарного знания, которые заранее исключались из сферы действия текстуальности.

Рассказ «Студент» (1894) занимает две с половиной страницы. В нем рассказывается, как студент духовной семинарии Иван Великопольский, возвращаясь с охоты домой в Страстную Пятницу, встречает у костра двух вдов, мать и дочь – Василису и Лукерью. Студент пересказывает им евангельский эпизод отречения апостола Петра, совершенно явно отождествляя себя с Петром, который, также как Иван, когда-то стоял и грелся у костра во дворе первосвященника. При этом студент существенно искажает исходный евангельский текст. Обе вдовы переживают после рассказа сильное нравственное потрясение. Затем герой идет дальше. Однако настроение его существенно ме-

няется. Если до встречи с вдовами его одолевали тяжелые мысли о бессмысленности истории, о вечности нищеты, холода и голода (все эти чувства он испытывает сам), то после разговора его настроение резко улучшается. Размышляя о реакции вдов на его рассказ, студент приходит к выводу, что «правда и красота <...> всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле». Заканчивается рассказ описанием «невыразимо сладкого ожидания счастья», охватившего героя, которому жизнь теперь «казалась восхитительной, чудесной и полной высокого смысла».

Всего на школе было представлено шесть теорий коммуникации, каждая из которых по-своему стремилась преодолеть постструктурализм. К их последовательному рассмотрению мы и приступаем.

Фронтальная атака:

В.И. Тюпа. Теория коммуникативных событий

Данная теория коммуникации эксплицитно заявляет себя как онтология. Вырастая из бахтинского «события взаимодействия сознаний», она отнюдь не игнорирует те сложности, которые возникают с онтологией в связи с отсутствием единого языка. Совсем нет: В.И. Тюпа прямо признает, что «креативная версия текста» (версия адресата) не совпадает с его «рецептивной версией» (версией адресанта). Более того, совпадение это объявляется принципиально недостижимым⁵. Казалось бы, отсюда один шаг до постструктурализма. Однако из этого, согласно Тюпе, вытекала бы полная невозможность общения, что противоречит «реальности коммуникативных процессов». «Человеческая культура, – пишет автор, – есть, прежде всего, коммуникативное пространство общения, где человек обретает себя». Стремясь выйти из этого противоречия, В.И. Тюпа, ссылаясь на Романа Ингардена, постулирует существование «коммуникативного произведения», природа которого онтологически не сводима ни к креативной, ни к рецептивной версиям текста. Иными словами, ни адресат, ни адресант не способны адекватно понять текст, но не способны они понять *один и тот же* текст, чья «парадигмальная реальность» обеспечивается только одним – «эйдосом коммуникативного события».

Таково ядро достаточно разветвленной концепции Тюпы. Спроецировав ее на чеховский, например, текст, мы сразу получим (в зависимости от уровня рассмотрения) две действительно существующие, и, более того, широко распространенные интерпретации. Если мы рассмотрим в качестве коммуникативного события диалог студента со вдовами, то вывод будет следующим. Хотя студент и обе вдовы по-разному понимают евангельский текст, налицо состоявшееся «событие взаимодействия сознаний», каждое из которых было устремлено к единому эйдетическому смыслу Евангелия. Устремленность к единому центру означает и родственность (хотя и нетождественность) тех прозрений, которые испытывает каждый из героев рассказа. Василиса, вероятно, раскаивается в том, что и она когда-то, подобно апостолу Петру, предала свою дочь⁶, студенту открывается надисторическое единство добра и кра-

⁵ В.И. Тюпа. Онтология коммуникации // Дискурс. № 5/6. Новосибирск, 1998.

⁶ Намеки на это есть в тексте, что отмечает Вольф Шмид; см.: В. Шмид. Про-за как поэзия. М., 1994.

соты, что открывается Лукерье – сказать трудно, но, по-видимому, тоже что-то доброе и прекрасное.

Вторая (внешняя) интерпретация возникает, если мы рассмотрим коммуникативное событие, происходящее между автором и читателем «Студента». Хотя сформулировать эйдос рассказа в целом нельзя, мы знаем, что он существует. Поэтому как бы мы ни интерпретировали рассказ, можно быть уверенным, что, вместе с автором, его читатель делает шаг к постижению некоторой выраженной в нем эйдетической истины о мире.

Обратим внимание на такой факт. Вторая интерпретация, сама по себе, не опирается решительно ни на что, кроме наших априорных представлений об эйдетике текста. В этом смысле она, казалось бы, недоказуема и непроверяема. Однако сам текст, включающий в себя рассказ в рассказе, создает модель акта коммуникации, а именно коммуникации между рассказывающим историю героем и слушающими его вдовами. Текст, иными словами, сам рассказывает о том, что такое коммуникативное событие. И потому, прежде чем мы сможем подойти ко второй интерпретации, мы должны оценить адекватность первой.

В случае разговора студента со вдовами нельзя не обратить внимание на ряд смещений, существенно усложняющих исходную схему. Во-первых, если студент духовной семинарии наверняка помнит текст Евангелия, то его слушатели интерпретируют уже другой текст – вольный пересказ Ивана Великопольского. Во-вторых, по крайней мере в случае с Василисой, ситуация дополнительно усложняется тем, что она накануне была в церкви и слышала исходный текст. Уже то, что нравственное потрясение она испытывает от риторизированного пересказа, а не от оригинального текста, сильно подрывает концепцию единого эйдоса. Пересказывая евангельский эпизод, Иван создает версию Евангелия 'от Петра', которая, по-видимому, должна быть близка Василисе, но совсем не близка Лукерье, которая, в противоположность Василисе, соотносится в рассказе с Христом⁷. Становится не вполне ясно, чем, в таком случае, обеспечивается трансцендентальное единство 'сверхтекста', который воспринимают мать, дочь и сам студент.

Кроме того, трудно не обратить внимания на то, что Иван, собственно, испытывает нравственное потрясение вовсе не от текста евангельской истории, в каком бы то ни было варианте, а в результате рассуждений, в которых он интерпретировал реакцию на этот текст обеих вдов. Единый эйдос, таким образом, должен выдержать не только принципиально противоположные интенции интерпретаторов, но и связать воедино интерпретацию текста и интерпретацию чисто внешней реакции на этот текст. Трудно представить себе феноменологию, которая рискнула бы утверждать столь далеко заходящее эйдетическое единство. Однако чеховский текст уничтожает даже эту возможность.

Дело в том, что сам механизм постижения трансцендентальной истины подробно артикулирован в чеховском тексте. В своем изначальном варианте – прозрении апостола Петра – прозрение, согласно своей этимологии, действительно связывается с непосредственным, невербальным пониманием (ср., например, обилие глаголов зрения в этом фрагменте, а также крик петуха, после которого Петр, «взглянув на Иисуса», вспоминает его предсказание). Однако затем чеховский текст переворачивает это соотношение, когда на вдов у костра производит впечатление не канонический (т.е., по определению, нери-

⁷ Отмечено там же.

торический) евангельский текст, а риторически организованный пересказ студента. Нетрудно показать, что дальнейшее повествование окончательно дестабилизирует оппозицию 'непосредственное/опосредованное', на которой основывается метафора прозрения как непосредственного соприкосновения с истиной. Система связанных с этой оппозицией противопоставлений превращается в чеховском тексте в постоянно движущуюся систему различений, поскольку каждый последующий значимый элемент возникает там в результате смещения предыдущего⁸. В результате ни одна бинарная оппозиция не может быть онтологизирована. Чеховский текст не просто ставит под сомнение понятие единого текста, служащего объектом «креативной» или «рецептивной» интерпретации. Он еще и демонстрирует зависимость трансцендентального смысла от определенной риторики 'непосредственности', а затем дискредитирует претензию этой риторики на естественность и универсальность.

Такова модель коммуникативного события, которая создается внутри самого текста. Коммуникативные процессы, описанные там, безусловно, «реальны» и создают «коммуникативное пространство общения» (В.И. Тюпа). Нельзя сказать также, что сама идея «парадигмальной суперструктуры» совершенно чужда этому пространству. Напротив, она подробно артикулируется в рассказе. Но в 'живом' тексте она демонстрирует свою текстуальную обусловленность, что лишает нас каких бы то ни было оснований для второй (внешней) эйдетической интерпретации «коммуникативного события» между автором и читателем. Последняя становится возможным только после того, как В.И. Тюпа нагружает риторический эффект 'прозрения' целым рядом внешних метафизических концептов. Все это и означает репрессию текстуальности через редукцию чтения, которое неизбежно дестабилизировало бы жесткую эйдетическую онтологию.

Захват стратегических ресурсов: Д. Деянов. Практическая логика

Курс практической логики, прочитанный на школе Деяном Деяновым, имеет довольно сложную структуру и, в полном соответствии с темой, не сводится к дедуктивному построению. Впрочем, его эксплицированная интенция состоит в реабилитации той «практической» логики, которая с традиционно-формальной точки зрения представляет собой набор логических ошибок. Собственно говоря, предлагается распространить логический анализ на те сферы 'неправильного', неформализованного языка, которые до сих пор оставались на откуп риторике.

Основная возникающая здесь проблема состоит в том, как сохранить «логику» при соприкосновении с «практикой», не признав последнюю за чистой ошибочностью. Согласно Д. Деянову, возможность исследования практической логики как альтернативы логике формальной открывают взаимосвязанные тезисы «о существенной имплицитности логической формы», «о существенной эллиптичности суждений» и «о существенной энтимематичности логического вывода». Практическая логика, в результате, не едина, а пред-

⁸ Ср., например, такие ряды, как слезы Петра – слезы Василисы – отсутствие слез у Лукерьи – радость Ивана; крик петуха в Евангелии – гудение «чего-то живого в лесу» и др.

ставляет собой совокупность многих логик, несоизмеримых между собой. В целом, проблематика практической логики становится на данном этапе неотличима от проблематики неклассических трансцендентальных логик.

Несоизмеримость между разными логиками соответствует, по Д. Деянову, различию в допредикативных очевидностях, лежащих в основе каждой из них. Однако, никогда не артикулируя собственные допредикативные очевидности, люди, тем не менее, способны понять друг друга. Несколько неожиданным образом Д. Деянов предлагает объяснить этот факт через мимесис: имитируя мыслительные ходы другого, мы понимаем то, что для него само собой разумеется, постигаем его допредикативные очевидности.

Мы не собираемся критиковать эту концепцию извне. Мы лишь проследим, с помощью каких действий она могла бы быть сформирована, если бы Д. Деянов взял в качестве примера практической логики логику героя «Студента», который рассуждает сам с собой, расставшись с вдовами и направляясь к дому.

Рассуждения героя проходят через четыре этапа.

1) *Теперь студент думал о Василисе: если она заплакала, то, значит, все, происшедшее в ту страшную ночь с Петром, имеет к ней какое-то отношение...*

2) *<То, о чем он только что рассказывал> имеет отношение к настоящему – к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. <...> <Василиса> всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра.*

3) *Прошлое, - думал он, - связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.*

4) *<...> правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле <...> и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.*

Формально-логический анализ, безусловно, нашел бы в этой последовательности целый спектр классических ошибок. Практическая логика Деянова, отметив явную эллиптичность и энтимематичность логического вывода, постаралась бы, тем не менее, описать ход рассуждений героя как особого рода неклассическую логику. Для этого было бы необходимо предположить существование у студента некоего набора допредикативных очевидностей, которые не совпадают с нашими, но сами по себе образуют некоторую систему. Система эта локализована внутри мыслительного пространства субъекта, и, как таковая, составляет неотъемлемую часть его личности. После этого можно было бы поставить вопрос о соизмеримости, переводимости и путях понимания этой системы.

Основным моментом этой теоретической стратегии является введение понятия допредикативной очевидности. Без него концепция сливается с формально-логическим анализом и ограничивается констатацией логических ошибок. Существование допредикативной очевидности необходимо предполагает внутреннюю внеязыковую структуру, организующую все суждения субъекта. Если внимательно посмотреть на процитированные фрагменты, то

становится очевидно, что в них действительно присутствует структурирующее начало. Однако, вопреки гипотезе Д. Деянова, начало это выражено вербально. Речь идет об образе цепи.

Обратим внимание на то, что в третьем фрагменте, в двух соседних предложениях, метафора цепи имеет два существенно различных значения. Если в первом предложении активизируется метафорическое значение 'цепи времен', предполагающее опосредованную причинно-следственную связь, то во втором предложении активизируется ее буквальное, вещественно-предметное значение, предполагающее непосредственность физического контакта («дотронулся»). Именно метонимическое соединение фигурального и буквального значений обеспечивает тот эффект подчиненности истории человеческому смыслу, который приводит студента к финальному выводу о правде и красоте. Рассуждения героя, таким образом, направляются не допредикативными очевидностями, а чисто языковой игрой, независимой от какого бы то ни было внутреннего мыслительного пространства личности. Вводя такое пространство, Д. Деянов спасает гуманистического субъекта, но достигается это лишь насильственным внедрением в текст собственных метафизических представлений исследователя.

Троянский конь: Ю.В. Шатин. Агональная риторика

Агональная риторика в версии, предлагаемой Ю.В. Шатиным, с самого начала отмежевывается от всяческих метафизически нагруженных концептов, связанных с трансцендентальным субъектом, истиной и абсолютным смыслом. Агональная риторика возводится к софистике, и представляет собой «искусство управления человеческим поведением посредством устного или письменного слова». Пространство культуры предстает здесь как пространство столкновений противоположенных интенций, непрерывной языковой войны. «Воздействие на чужое сознание» – часто повторяемое Ю.В. Шатиным словосочетание – осуществляется не путем логических доказательств, а с помощью различных риторических приемов, что выводит агональное высказывание за пределы оппозиции «истинное/ложное».

Каким предстает в этой системе координат чеховский рассказ? Здесь, как и в первом случае (В.И. Тюпа), возможно выделение двух уровней: персонажного и текста в целом. На первом уровне «агональным коммуникантом» станет Иван Великопольский, на втором – автор, осуществляющий с помощью текста рассказа «Студент» воздействие на сознание читателей.

Своим риторически выстроенным рассказом Иван Великопольский действительно воздействует на сознание вдов. Нетрудно описать те риторические приемы, которые он для этого использует. Перед нами речь опытного оратора (напомним, что герой учится в духовной семинарии), совершенно явно нацеленная на такое воздействие. Описывая этот процесс в духе подхода Ю.В. Шатина, мы не задаем вопросов об истинности рассказа студента, о правомерности такого толкования Евангелия, об адекватности понимания его слушателями. Как агональный коммуникант, герой имеет перед собой цель и он ее достигает.

Возникает, правда, один вопрос: в чем состоит эта цель? Любой ответ на него, даже самый общий (цель – просто 'произвести впечатление') неизбежно

заставит нас обратить внимание на то, что речь студента влияет, в первую очередь, на него самого. Влияние это состоит в освобождении героя из-под власти внешних условий. До встречи с вдовами студент был пассивным актантом, испытывающим воздействия внешних сил, холода, голода и т.п., которые управляли и его мыслями. Речь – первое активное действие героя, не обусловленное внешними обстоятельствами. Включившись в агональную коммуникацию, он и обретает, собственно, статус субъекта действия, обладающего собственной волей. Однако, если мы прочитаем текст чуть дальше, мы с удивлением обнаружим, что освобождение из-под власти непосредственных физиологических реакций оборачивается для студента не менее тотальной зависимостью от языка – точнее, от чувств, вызванных, как мы видели в предыдущем анализе, чисто риторическими эффектами. В финале рассказа студент точно так же лишен собственной воли, как и в начале: продуцируемые языковой игрой чувства «овладевали им мало-помалу», в результате чего жизнь и казалась ему «полной высокого смысла».

В тексте, таким образом, проблематизируется тот концепт трансцендентной по отношению к конкретной риторической ситуации воли, который и основывает теорию агональной коммуникации. Агональное пространство возможно лишь как пространство, в котором действуют субъекты, обладающие независимой от языка интенциональностью. Только в таком случае можно говорить о целенаправленном риторическом «воздействии на чужое сознание». Чеховский текст не в коей мере не отрицает само воздействие, но он демонстрирует иллюзорность возникающего при этом эффекта независимости интенций говорящего от собственной риторики, иллюзорность разделения на активных говорящих и пассивных слушателей.

Ту же функцию на уровне текста как отдельного высказывания выполняет несобственно-прямая речь. Ее тотальное господство в тексте полностью элиминирует интенцию говорящего (повествователя), деконструируемую на персонажном уровне. В целом можно сказать, что, включая в себя характерный пример агональной коммуникации, чеховский текст демонстрирует неадекватность введения в ее описание трансцендентной языку интенциональности. Внимательное чтение обнаруживает, что агональная риторика Ю.В. Шатина представляет собой своего рода троянского коня, внутри которого, под оболочкой подчеркнутого релятивизма, в Карфаген стремятся внести мощное взрывное устройство – все того же трансцендентального субъекта.

Деморализация противника:

А. В. Ахутин. Диалогика культуры

В этом курсе лекций А.В. Ахутин выступил как последователь библеровских культурологических идей. Каждая культура рассматривается в этой системе не как этап становления единственной – естественнонаучной – формы разума, а как «особая форма универсального разумения», как «одно целостное произведение». Соответственно, философия перестает пониматься как наукоучение и становится диалогикой культуры. Ее задачей является обоснование необходимости «всегда особой культурной формы всеобщности». В современной ситуации кризиса традиционных культурных форм будущее предстает как диалог культур, в котором «каждая культура обретает свой собственный смысл в качестве особого, но бесконечного растущего, неисчерпаемого ис-

точника смысла». Постмодернизм оказывается в этой перспективе временным этапом на пути к всеобщему смыслопорождающему диалогу.

Трансгисторический диалог культур – одна из основных тем и в чеховском рассказе. Финальное ощущение счастья, охватывающее Ивана Великопольского, напрямую связано с ощущением осмысленности культуры, гарантированной именно ее непрекращающимся диалогом с культурными формами прошлого. Евангельский текст, репрезентирующий существенно иную культурную ситуацию, обретает новый смысл в конце XIX века; более того, сама культурная целостность конца XIX века осмысливается через диалогическое общение с культурой двухтысячелетней давности.

Таково мнение героя в финале рассказа. Однако, как мы уже неоднократно имели возможность убедиться, прочтение, приписывающее герою осмысление своей культуры через диалогическое взаимодействие с древним текстом, не выдерживает критики. Вопреки ощущениям студента, эффект осмысленности, гарантом которого является метафора цепи, возникает не как результат диалога двух культур, а вследствие риторического эффекта, который не может быть отнесен ни к одной из них. Чеховский текст демонстрирует не раскрытие сколь угодно диалогического смысла, а невозможность отделить саму категорию 'смысла' от дезонтологизированной системы текстовых различий. Как следствие, смысл не может быть отождествлен с некоторой культурой как «особой формой универсального разума». Культура не является, вопреки А.В. Ахутину, «целостным (неделимым) смысловым персонажем». Хотя смысл, действительно, рождается на разрыве, но не на разрыве между двумя целостными культурами, а на разрыве между фигуральным и буквальным значениями высказывания. Смысл не принадлежит языку, который мог бы быть инвентарно причислен к той или иной культуре в качестве ее кода, он неразрывно связан с риторикой конкретного текста и не может быть трансцендирован за его пределы.

В свете чеховского рассказа то будущее, которое рисует нам теория А.В. Ахутина, предстает как утопия, как принципиально невоплотимая мечта, в случае с Иваном Великопольским объяснимая тем, что «ему было только 22 года». Возможно, что то, что А.В. Ахутин называет «постмодернизмом», и является в каком-то смысле преходящим культурным этапом, но чтение текста конца XIX века, во-первых, ставит под вопрос его исторические рамки, а, во-вторых, показывает, что прорыв А.В. Ахутина к будущему 'без Карфагена' означает одновременно репрессию текстуальности во всех ее формах, сознательное самоослепление.

Призыв к капитуляции во имя гуманизма:

Ю.Л. Троицкий. Историзм и коммуникативность

Концепция эго-истории (self-history) Ю.Л. Троицкого тесно связана с кризисом традиционной историографии, начавшемся в 70-е годы под влиянием постструктурализма. Эгоисторический проект представляет собой попытку учесть ту критику единой и универсальной истории, которая осуществляется

в рамках «Новой интеллектуальной истории» и «Новой философии истории»⁹ и создать новую концепцию историографии, которая, не претендуя на универсальность, могла бы заменить старую в современном образовательном пространстве. Как ясно из самого названия, эго-история ставит в центр субъекта, создающего свою собственную уникальную историю, в идеале свободную от догм традиционной историографии.

Вместе с тем, цели проекта отнюдь не исчерпываются релятивизацией истории. Его сверхзадача формулируется Ю.Л. Троицким следующим образом. «Благодаря эго-истории, может быть, удастся снять примат сиюминутного, внешнего и вернуть людям ощущение исторического времени», «преодолеть отчуждение человека от собственной истории».

Историческая концепция, сформулированная в финале чеховского рассказа, представляет собой ни что иное, как вариант эго-истории. Налицо «переворачивание привычного порядка: не глобальная история и «я», но «Я» и глобальная история». Студент, в конце рассказа, действительно отвлекается от сиюминутных внешних условий и ощущает свою непосредственную связь с историей. Но что такое «я», «эго», «self», субъект, который создает здесь «свою собственную» историю? Прочитав чеховский текст, мы вынуждены будем признать, что Иван Великопольский максимально далек от гуманистического субъекта, чье отчуждение от собственной истории эго-история призвана преодолевать.

Как мы видели, переход от начальной исторической концепции к прямо противоположной ей финальной не может быть интерпретирован как обретение героем своей собственной позиции в мире. Поскольку дискурсивная зависимость в финале оказывается ничуть не менее «сиюминутной», чем зависимость от погоды в начале, чеховский текст демонстрирует нередуцируемое присутствие случайности, «сиюминутности» в эго-истории. Последняя не может быть названа «собственной» историей субъекта в его гуманистическом понимании еще и потому, что, как показывает нам чеховский текст, «внутреннее пространство» субъекта эго-истории неотделимо от внешней для него языковой игры.

Война на истребление:

Дж. Вершуерен. Прагматика языка и коммуникации

Начиная, по крайней мере, с 30-х годов, прагматика определяется как дисциплина, изучающая отношение знаков к их интерпретаторам. Дж. Вершуерен предлагает понимать ее как «общую когнитивную, социальную и культурную перспективу рассмотрения лингвистических феноменов относительно их использования в различных формах человеческого поведения». Поскольку вся культура может быть рассмотрена как то или иное использование языка, прагматика охватывает все случаи языкового употребления, от бытового диалога до научного трактата и литературы.

Современная лингвистическая прагматика, возникнув на основе целого ряда лингвистических дисциплин, выгодно отличается от них умением посто-

⁹ Обзор этой критики см. в: Г.И. Зверева. Реальность и исторический нарратив: проблемы саморефлексии новой интеллектуальной истории // Одиссей. Человек в истории. М., 1996.

янно оговаривать собственные идеализации как таковые и не настаивать на возможности их практической реализации. Вместе с тем, без этих идеализаций не было бы и самой прагматики. Несколько парадоксальным образом, дисциплина, сосредотачивающая свое внимание на *практическом* использовании языка, зависит в своих процедурах от идеализаций, которые никогда не могут быть полностью воплощены *на практике*.

Речь идет, в первую очередь, о понятии контекста. Поскольку прагматику интересует отношение знаков к их интерпретаторам, понятие контекста, в котором происходит то или иное использование языка, становится для нее центральным. Только в условиях полностью заданного контекста возможна полная экспликация значения высказывания. Дж. Вершуерен подчеркивает, что реально контекст никогда не бывает задан полностью, а значение полностью эксплицировано. Тем не менее, именно исходя из этого воображаемого идеального случая и строится классификация различного рода отклонений, которые постоянно нарушают идеальное функционирование языка.

В свое время данная проблема интенсивно обсуждалась в связи с теорией речевых актов, включаемой Дж. Вершуереном в прагматику в качестве одной из областей¹⁰. Вопрос, в конечном счете, принял тогда следующую форму: если речевой акт никогда не бывает «чистым», но всегда отклоняется от идеальной модели, не следует ли считать это отклонение принадлежностью самой его структуры? Ответ Дж. Вершуерена, безусловно, был бы отрицательным.

Употребление языка в литературном тексте, согласно ученому, отличается от бытового лишь большей неопределенностью контекста, который в случае бытового общения, как правило, задан практической ситуацией. В случае более сложных текстов эта ситуация может становиться сколь угодно размытой, что влечет за собой увеличение разного рода неопределенностей в значениях высказываний. Тем не менее, предполагается, что *в принципе* полный контекст восстановим и здесь. Это означает, что несколько альтернативных значений могут сосуществовать на равных основаниях, но каждое из них в отдельности подразумевает тот или иной полный контекст, который в идеале мог бы быть восстановлен, если бы текст содержал больше информации. Иными словами, смысловая неопределенность сводится здесь к проблеме полисемии, и в этом смысле прагматика представляет собой воплощение лингвистического подхода *par excellence*.

Лингвопрагматика представляет собой максимально тоталитарную теорию. Не настаивая на метафизической реальности своих идеализаций, принимая их лишь как инструмент, служащий ограниченным целям описания конкретных языковых явлений, она претендует на независимость от каких-либо философских положений, на то, что допускает априорность только тех посылок, которые необходимы для функционирования науки как таковой. С другой стороны, воспроизведенная нами техника рассуждений позволяет описать любое языковое явление, поскольку такое описание строится как описание отклонений от идеальной схемы, то есть, по сути, как описание того, чем тот или иной феномен не является. Любой случай языкового употребления структурируется прагматикой в собственных терминах. Оспорить прагматическую

¹⁰ Имеется в виду известная полемика между Ж. Деррида и Дж. Серлем. См.: J. Derrida. Signature Event Context // *Glyph*, I (1977) (см. также русский перевод в: *Дискурс*. №1. Новосибирск, 1996); J. Searl. Reiterating the difference // *Glyph*, I (1977); J. Derrida. Limited Inc abc // *Glyph*, II (1977).

теорию невозможно – до тех пор, пока мы не включим в наш анализ конкретный текст.

Что, собственно, может быть названо «контекстом» применительно к употреблению языка в чеховском рассказе? «Студент» отнюдь не относится к экспериментальной прозе, и поэтому сказать, что контекст там совершенно не определен, конечно, нельзя. По-видимому, контекстом каждый раз будет та ситуация, которая воссоздается (с той или иной степенью определенности) в каждом конкретном случае. Однако здесь возникает вопрос о критерии, на основании которого мы могли бы выделить некоторую 'реальную' ситуацию, которая была бы так или иначе аналогична невербальному практическому контексту излюбленных прагматикой диалогов с официантами.

Выделение 'реальности' как самостоятельной сферы совершенно необходимо для прагматического анализа. Костер, у которого греется Иван Великопольский, должен быть воспринят как 'реальный' костер, чтобы стать элементом контекста, который может предполагать та или иная реплика героев. Если мы откажемся от выделения самостоятельного слоя 'реальности', а воспользуемся костером, например, как отсылку к костру в Евангелии, то никакого прагматического контекста мы воссоздать не сможем.

Конституирование 'реального' плана, который не подвергся бы тотальной внутритекстовой семантизации, возможно лишь через отсылку к подразумеваемому внетекстовому пространству. Первый возможный путь создания такой отсылки лежит через включение в текст элементов, выпадающих из его структуры и воспринимаемых как принадлежность внетекстовой реальности. Однако отсутствие в чеховском тексте жесткой бинарной структуры приводит к тому, что каждый из его элементов одновременно и принадлежит, и не принадлежит тексту как целому. Другой путь состоит в установлении непосредственной связи между знаком и референтом через отношение подобия формы означающего и формы означаемого – через кратилизм знака. Можно показать, однако, что и этот механизм систематически деконструируется в чеховском тексте. Так, например, возрастание звуковой гармонии в финальном абзаце не может быть понято как свидетельство истинности утверждаемого в нем единства правды, добра и красоты, поскольку само это единство и служит основанием для подобного понимания.

В целом, чеховский текст деконструирует саму оппозицию внешнего и внутреннего, на которой основывается выделение контекста в лингвистической прагматике. Это не означает, конечно, что все употребления языка в рассказе лишены контекста. Если бы это было так, то прагматический анализ легко свел бы эту ситуацию к простому предельному случаю. Напротив, именно благодаря своей 'реалистичности' чеховский текст может продемонстрировать отсутствие оснований для выделения какой-либо 'реальности' из сферы действия текстуальных механизмов, превращающих любую жесткую структуру в систему бесконечных отсылок. Смысловые неопределенности в тексте не могут быть, поэтому, сведены к полисемии, к набору альтернативных друг другу конкретных значений, потенциально восстанавливаемых в рамках идеального 'полного' контекста. Напротив, в саму структуру речевого употребления должна быть вписана возможность бесконечной диссеминации, которая может быть подавлена в случае бытового диалога с официантом, но никогда не элиминирована до конца.

Итак, независимо от того, устали ли мы от постструктурализма как доминирующей теоретической парадигмы, приходится признать, что лозунг «Карфаген должен быть разрушен» пока остается лозунгом. Попытки выйти в некое неведомое пространство 'после постструктурализма' через теорию коммуникации неизбежно сопровождаются редукцией операции чтения и репрессией текстуальности, в результате чего неведомое пространство оказывается хорошо знакомым структуралистским и даже доструктуралистским гуманитарным пространством, нагруженным рядом уязвимых метафизических предпосылок. При столкновении каждой из рассмотренных нами коммуникативных теорий с конкретным текстом выходит на поверхность то внешнее насилие, которое только и позволяет структурировать ее как замкнутую в себе систему. По-видимому, такая ситуация будет неизбежна до тех пор, пока мы не откажемся от идеи построения умозрительной теоретической модели *до* анализа конкретных текстов. Если теория коммуникации и возможна, то только на основании риторически осведомленного чтения текстов, которые, как мы видели на примере чеховского рассказа, оказываются подчас гораздо более строгими, чем самые изощренные теоретические построения.